БАБЕЛЬ

ИСААК БАБЕЛЬ

Сочинения
в двух томах


Опишу вам
только за то
что мои глаза,
собственноручно
видели

ИСААК БАБЕЛЬ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Рассказы
1913—1924 гг.

Публицистика

Письма



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
Б 12

Вступительная статья
Г. А. Белой

Составление и подготовка текста
А. Н. Пирожковой

Комментарии
С. Н. Поварцова

Художник
В. А. Векслер

Б $\frac{4702010206-458}{028(01)-91}$ без. объявл.

ISBN 5-280-02451-1 (Т. 1)
ISBN 5-280-02452-8



ТРАГЕДИЯ ИСААКА БАБЕЛЯ

Литературный взлет И. Бабеля пришелся на 20-е годы. Он был стремительным и предвещал неуклонное восхождение. Хотя честь открытия писателя выпала на долю его родного города (Одесса), слава пришла к нему в Москве. В 1923 году его рассказы опубликовали самые известные журналы: «Леф» и «Красная новь». Не прошло и года, а лучшие критики тех лет предсказывали: «в текущем литературном году художественная проза пройдет под знаком Бабеля»[1]. Едва «Конармия» вышла отдельной книгой, а новеллы Бабеля, «острые, как спирт, и цветистые, как драгоценные камни»[2], уже сравнивались с лучшими произведениями европейской литературы.

Однако уникальный художественный мир Бабеля долгое время оставался неразгаданным. В его социальном зрении современники не заметили предвидения надвигающихся трагедий. Его напряженная борьба с самим собой была истолкована превратно.

В 1939 году Бабель был репрессирован и вскоре погиб. Обстоятельства насильственной смерти закрыли ему путь к читателю. Редкие попытки критиков прорваться к правде или хотя бы полуправде наталкивались на открытое сопротивление. Последние двадцать лет Бабель вообще не переиздавался, и несколько поколений читателей не знает его книг.

Между тем без творчества Бабеля немыслима сегодня ни советская, ни мировая культура. Именно поэтому так важно понять образ мира, созданный писателем.

1

Один из лучших критиков 20-х годов А. Воронский, рано оценивший незаурядность Бабеля, предположил: «Бабель не на глазах читателя, а где-то в стороне от него уже прошел большой художественный путь учебы

---

[1] Воронский А. Литературные силуэты.— Красная новь, 1924, № 5, с. 277.

[2] Полонский Вяч. Критические заметки о Бабеле.— Новый мир, 1927, № 1, с. 197.

и потому покоряет читателя не только «нутром» и необычностью жизненного материала, но и ...культурностью, умом и зрелой твердостью таланта...»[1]. Он был прав.

Исаак Эммануилович Бабель родился в 1894 году в Одессе на Молдаванке. В ту пору Одесса была одним из самых развитых городов Российской Империи и как морской порт открыта всем национальным ветрам, всем культурам. В начале XX века в ней насчитывалось 30 типографий, которые выпускали около 600 оригинальных сочинений в год: 79% составляли русские книги, 21% — книги на других языках, 5% из них печатались на еврейском. В городе было 20 православных церквей, 3 старообрядческих, 8 синагог, 26 молитвенных домов.

Одесса была и крупнейшим центром черты еврейской оседлости. Большой популярностью в ней пользовалось учение хасидизма — одно из течений в иудаизме. Мрачному аскетизму ортодоксального еврейского учения о боге хасидизм пытался противопоставить религию, где чувство поставлено выше рассудка, эмоция веры — выше обряда, а восторженная и горячая молитва — выше суровой дисциплины ортодоксальной религии. Хасидизм призывал евреев к ассимиляции, ратовал за их приобщение к коренному языку страны и духовному преодолению ограниченности, неизбежно возникающей в черте оседлости.

Все это было известно в состоятельной и образованной семье, где рос, развивался и впитывал в себя традиции культур будущий писатель.

Позднее в «Автобиографии» Бабель признавался, что дома ему «жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук», до шестнадцати лет он «по настоянию отца» изучал еврейский язык, Библию, Талмуд. «Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных биллиардистов... Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге»[2].

Одесское коммерческое училище было серьезным заведением: оно готовило квалифицированных работников для банков и коммерческих предприятий. Программа его практически равнялась курсу гимназии: она исключала латинский язык, но зато обучала «химии, товароведению, бухгалтерии, законоведению, политической экономии и др. Много часов уделялось языкам — французскому, немецкому и английскому»[3]. Как рассказывает школьный товарищ писателя М. Н. Берков, в 13—14 лет Бабель прочел все 11 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Его часто можно было «видеть с книгами Расина, Корнеля, Мольера, а на уроках, когда это было возможно, он писал что-то по-французски,

---

[1] Воронский А. Искусство видеть мир. М., 1987, с. 148.

[2] См. автобиографию Бабеля в наст. томе.

[3] Берков М. Н. Мы были знакомы с детства. Архив А. Н. Пирожковой.

выполняя задания своего домашнего учителя...»[1]. Бабель и сам начал сочинять рассказы на французском языке, но вскоре бросил.

По окончании училища он поступил в Коммерческий институт в Киеве и, получив диплом в 1915 году, оказался в Петербурге. Не имея прав на жительство за пределами черты оседлости, он, автор нескольких рассказов, оставшихся незамеченными[2], безуспешно разносил свои сочинения по всем редакциям, пока в 1916 году не попал к М. Горькому в «Летопись», где вскоре и были опубликованы его рассказы «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна», «Мама, Римма и Алла». Из «Автобиографии» известно, что за них Бабеля собирались привлечь к уголовной ответственности не только по 1001 статье (порнография), но и за «попытку ниспровергнуть существующий строй». Суд должен был состояться в марте 1917 года, «но,— писал Бабель,— вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда». Горький же был потом недоволен его новыми рассказами и отправил его «в люди...». «Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено, и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...» («Начало»).

Уже в ранних рассказах Бабеля обращало на себя внимание то, что для него не существовало границ между «низким» и «высоким». В сочувствии проститутки Маргариты Прокофьевны к преследуемому полицией старику еврею, укрывшемуся у нее на ночь, также как в любовном томлении Риммы и Аллы, готовых любой ценой выйти на «свободу», не было ничего криминального. Шок вызвали не темы, а ровный голос автора, спокойствие которого не подвергало сомнению эти запретные для обывателя темы. И когда потом В. Шкловский писал, что Бабель «одним голосом говорит о звездах и о триппере», он, вероятно, имел в виду прежде всего равноправие явлений жизни в художественном мире писателя: низкое и высокое, духовное и физиологически-плотское — все это было ценностью в жизни и все это имело право стать эстетической ценностью.

В юности открыто выявилось и другое свойство Бабеля: его художническое любопытство, его стремление заглянуть «за край». Не без юмора повествовал он (рассказ «В щелочку») о своем герое, снимавшем комнату у мадам Кебчик, содержательницы «меблирашек» с двумя «девушками», и купившем за пять рублей право подглядывать «в щелочку» за их интимной жизнью. Для самого Бабеля в этом не было ничего ни смешного, ни стыдного. Писателя интересовала скрытая жизнь, «тайна бытия». Он всегда считал: «Человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно»[3].

---

[1] Воспоминания о Бабеле. М., 1989 с. 204.

[2] См., например, рассказ «Старый Шлойме» (1913).— Огни. Одесса, 1913, № 6.

[3] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 181.

Всему этому Бабель искал опору в традициях мировой литературы. В 1917 году он напечатал рассказ "Doudou" («Дуду»), где в самом начертании имени героини по-французски, в ее характере, родственном мопассановской Пышке, в фабуле рассказа — медсестра госпиталя одаряет своей любовью умирающего, за что ее выгоняют с работы,— писатель открыто обозначил свою связь с французской литературой. Он тогда же сформулировал это впрямую. В эссе «Одесса» он писал, что русской литературе необходим «наш национальный Мопассан», который, как и его великий французский предшественник, будет понимать, какая красота есть в солнце и в «сожженной светлым зноем дороге», и в «толстом и лукавом парне», и в «здоровой крестьянской топорной девке».

Ссылка на Мопассана была не только метафорой: ракурс изображения человека — вот чем питала Бабеля традиция французской литературы. В ней издавна господствовал, как писал Флобер, взгляд «на бедную человеческую природу с добродушной и проницательной полуусмешкой». «Бессмертные и добрые гении» французской культуры, будь то Рабле, Мольер или Лафонтен, «откровенные, свободные, непринужденные, истинно люди в полном смысле слова», которым «дела нет до философов, сект, религий,— они принадлежат к религии человека, а уж человека-то они знают. Они вертели его так и этак, анализировали, анатомировали...»[1]. Человек в рождении, смерти, страсти, любви, явной и скрытой жизни — об этом Бабель тоже хотел знать все.

2

В октябре 1917 года в ряд феноменов бытия встала революция. Писатель отнесся к ней с глубоким интересом. В декабре того же года он пошел работать в Чека — факт, которому долго удивлялись его знакомые. В марте 1918-го он начал сотрудничать в петербургской газете «Новая жизнь», корреспондентом которой был по 2 июля 1918 года, а 6 июля газета была закрыта как оппозиционное издание, находящееся под влиянием меньшевиков. В ней Бабель печатал свои очерки — не без влияния, вероятно, М. Горького, активного автора газеты, публиковавшего там свои «несвоевременные мысли».

По сюжетам газетных очерков Бабеля можно судить о том, как он прожил первые годы революции. Его маршруты были необычны: он шел на панихиду в больничную мертвецкую (там «каждое утро подводят итоги»); в родильный дом, где истощенные матери кормили «недоносков»; в «комиссариат по призрению», где занимались эвакуацией слепых; на собрание безработных Петроградской стороны; на бойню, где закалывали животных; в зоопарк, где они погибали от голода. Его потрясали «обре-

[1] Флобер Г. Этюд о Рабле.— В кн.: О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2-х томах. Т. 2. М., 1984, с. 284.

ченное» лицо арестованного паренька, которого били за то, что он хотел «улизнуть», и дикая злоба людей, распаляющихся «от нелепого и горячего своего крика» («Вечер»). «Я хожу и читаю о расстрелах,— пишет он с отчаянием,— о том, как город наш провел еще одну свою ночь...» («Битые»). Петербург предстал перед ним как «трехмиллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улицах и в домах» («Первая помощь»). «Я видел все это,— подчеркивал он,— и босых угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наши поистине ни с чем не сравнимы» («Заведеньице»).

Критика долго не могла справиться с необычным ракурсом художественного видения писателя. Очерки Бабеля с тех пор не перепечатывались никогда. Обреченные на полуправду, даже доброжелательные к Бабелю литераторы договаривались до заведомой неправды: «Идейный тупик,— писал об этих днях жизни писателя Л. Лившиц,— стал для Бабеля и тупиком художественным. После закрытия «Новой жизни» Бабель не пишет о революции (хотя служит ей искренне и самоотверженно), ибо не в силах понять ее»[1]. Между строк читалось, что сотрудничество в «Новой жизни» пошатнуло позиции молодого прозаика.

Но без «новожизненских» публикаций не было бы зрелого Бабеля. Одним из первых он описал то, что видел, и описал точно. А видел он перед собою разлом жизни, разлом истории. Он осознавал это как разлом бытия и спрашивал себя: «Останется ли вообще что-нибудь?» В очерке «Дворец Материнства» Бабель писал: «Надо же когда-нибудь делать революцию. Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — настоящая революция».

Было ясно, что писатель ориентируется на традиционные общечеловеческие нравственные ценности. Он еще не знал, как их деформирует революция. В ней он видел и ценил прежде всего энергию, силу. Эта сила заражала.

...Много позже, размышляя о Л. Толстом, Бабель написал, в сущности, о самом себе: «Перечитывая «Хаджи-Мурата», я думал: вот где надо учиться. Там ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды...»

Это испытующее чувство правды и вывело Бабеля на дороги войны. В мае 1920 года он добровольно ушел на фронт.

К 1920 году конец гражданской войны казался очевидным. Но он был отсрочен начавшимся весной 1920 года неожиданным наступлением белопольских войск на Правобережную Украину. Вступление в войну Пер-

---

[1] Вопросы литературы, 1964, № 4, с. 113.

вой Конной явилось «переломным в ходе всей кампании на Украине», писали в 1925 году одни из ее первых историков Н. Какурин и В. Меликов[1]. Но оно не спасло ход кампании. На IX Всероссийской конференции РКП(б) В. И. Ленин говорил 22 сентября 1920 года: «Польша сперва захватила Киев, затем наши войска контрударом подошли к Варшаве; далее наступил перелом, и мы откатились более чем на сотню верст назад». В результате создалось «безусловно тяжелое положение...»[2].

Положение было и субъективно тяжелым — как для конармейцев, так и для неожиданно попавшего в их среду Бабеля.

Казаки, составлявшие основную массу в 1-й Конной, искони были в России привилегированным сословием. Их образ жизни и психология специфичны: они традиционно несли долгую, почти двадцатилетнюю военную службу, часто использовались царским правительством для колонизации окраин, потом — для подавления революционных восстаний. Когда после отмены крепостного права в 1861 году на Дон и Кубань хлынули «иногородние», между ними и казаками возник острый антагонизм.

К началу XX века казачество уже было неоднородно по составу. Казацкая беднота приветствовала революцию и вместе с «иногородними» создавала советы казацких депутатов. Верхушка казачества стала наряду с частью офицерства ударной силой белого движения, активно участвовала в создании белоказачьих армий (Донской и др.). Середняки же, составлявшие около 40% всего казачества, колебались между революцией и белым движением. Пребывание на фронте толкало их в сторону революции.

24 января 1919 года была принята директива Оргбюро ЦК РКП(б), которая ориентировала местные органы на доверие преимущественно к «иногородним» и требовала применения репрессивных мер ко всем казакам, участвовавшим в антисоветских выступлениях. Политика «расказачивания», в свою очередь, привела не только к отходу от революции значительной части среднего казачества, но и к возникновению в тылу Красной Армии казачьих мятежей (например, вешенское — весна 1919 г. и многие другие). Пересмотр советской властью своей политики по отношению к казачеству положил начало отходу среднего казачества от белого движения[3]. Часть их летом 1920 года влилась в ряды Первой Конной.

В период, когда Бабель попал на фронт, казаки шли по местам, где воевали в первую мировую войну: их раздражали чужой язык, чужой быт, попытки евреев, поляков, украинцев сохранить стабильным уклад жизни.

Казачество исконно было иррегулярным войском. Оно являлось на

---

[1] Какурин Н., Меликов В. Война с белополяками. 1920. М., 1925, с. 145.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41. М., 1963, с. 281.

[3] См. документы VIII съезда РКП(б), обращение ВЦИК и СНК от 14 августа 1919 года к казакам и «Тезисы ЦК РКП(б) о работе на Дону».— Известия ЦК РКП(б) от 30 сентября 1919 года.

службу со своим снаряжением, своими конями и холодным оружием. Во время походов казаки вынуждены были кормиться сами и сами же обеспечивать себя лошадьми за счет местного населения. В конармейском походе, когда тылы были оторваны, прежние привычки давали о себе знать. Жители смотрели на конармейцев как на грабителей. Это способствовало возникновению расправ и кровавых инцидентов. Содержать и кормить большое количество пленных в условиях рейда было трудно, пленные к тому же сковывали маневренность кавалеристов. Привычка к чужой смерти за долгое время войны притупила в казаках страх перед ней. Насилие встало в ряд обыденных явлений. И казаки давали выход своей давней усталости, своему анархизму, своему гонору, хладнокровному отношению к своей и тем более к чужой смерти, пренебрежению к личиому достоинству другого человека.

Бабель приехал в Первую Конную как корреспондент газеты «Красный кавалерист» — Кирилл Васильевич Лютов, русский. Двигаясь с частями, он должен был писать агитационные статьи, вести дневник военных действий. На ходу, в лесу, в отбитом у неприятеля городе Бабель вел и свой личный дневник.

На первый взгляд кажется, что он делал всего лишь заметки, зарисовки к будущим рассказам: «Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка» (24.7.20); «Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галнчане» (1.8.20); «Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных» (17.8.20);« Великолепное товарищество... любовь к лошадям, лошадь занимает 1/4 дня, бесконечные мены и разговоры. Роль н жизнь лошади» (18.7.20).

Но суровые события, но непонятные люди, но жестокость и насилие — все это взывало к размышлениям. Погибали конармейцы, не щадившие себя ни в жизни, ни в смерти; погибали поляки — в боях, в плену; погибали украинцы — мирные жители отбитых деревень; погибали евреи — бои шли на территории еврейской оседлости, и военным плацдармом она стала давно, еще в 1914 году фронт первой мировой войны проходил здесь. Новые впечатлення ошеломляли Бабеля. Они приходили в резкое противоречие с его жизненным и культурным опытом. Чувствуя, что в глубинах людских душ бушевали тяжелые страсти, жнли смутные инстинктивные чувства, что свобода была накрепко переплетена со смертью, Бабель остро ощущал незрелость, отсутствие культуры, грубость в солдатской массе. Ему трудно было представить себе, как будут прорастать в этом сознании идеи революции.

Судя по его словам, Бабель непрерывно «думал, тосковал» о судьбах революции. Все, что не совпадало с ее гипотетическим образом, заставляло писателя перепроверять свои и чужие априорные представления. Происходящее отзывалось в нем серьезными «внутренними переменами»: «все перевернуто»,— записывал он 5 августа 1920 года.

«Что такое наш казак?» — вновь и вновь задавал он себе вопрос. И отвечал: «Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жестокость» (21.7.20).

«Пласты», как мы видим, еще не слились в единство. Хаос представлений захлестывал Бабеля-художника, Бабеля-гражданина.

Но Бабель был принципиально, как сказали бы мы сегодня, анормативен: он не предписывал действительности законов — он искал их; он не торопился с ответами — он ставил вопросы.

Сравнение нескольких записей об одном и том же человеке показывает, как упорно зондировал Бабель «душу бойца».

14 июля он писал: «Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому ⟨...⟩ не пускают, молчит». Через несколько дней: «Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает. Знает, что такое начальство, немцы научили». 21 июля опять заметка: «...Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня, клевер. Отчего Грищук не убегает?» 23 июля: «...Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает...» 26-го: «Таинственный Грищук...»

Впоследствии критики не раз упрекали Бабеля в подходе к своим героям извне, следствием чего явилась якобы их декоративность. Но сама жизнь давала природной восприимчивости Бабеля мощные художественные импульсы: «Вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль» (12.7.20). «Едем тропинками с двумя штабными эскадронами,— пишет он (18.7.20),— они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах». «Живописная фигура» — часто мелькает в дневнике. Вид «голубоватых сосков на земле» — «зарезанная теля», лежащая на земле,— вызывает у него вскрик: «Неописуемая жалость! Убитая молодая мать» (17.7.20).

Подойдя к революции как к экстремальной ситуации, которая обнажает человека, писатель приходил к неутешительным выводам. Наблюдая и казаков, и «раздерганных, измученных людей» в местах, переходящих из рук в руки, он с болью записывал: «Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали его некрасивым...»

Нельзя не заметить, как изменился взгляд Бабеля «на бедную человеческую природу». Добродушная и проницательная полуусмешка, с которой он раньше писал о людях, сменилась более тяжелым и сложным чувством от ощущения сопричастности к насилию и разрушениям.

Пребывание Бабеля в Первой Конной в качестве русского корреспондента ставило его в особую позицию. Еврейское происхождение писателя было, по мнению некоторых зарубежных критиков, непреодолимым барь-

ером между Бабелем и конармейцами, Бабелем и Россией[1]. «Еврей среди казаков», он был, казалось, обречен на одиночество. Интеллигент, сердце которого содрогалось при виде жестокости и разрушения культуры,— он был обречен на одиночество вдвойне. Еврейские погромы, разрушение традиций — все это обостряло в Бабеле национальное чувство.

Но свести ностальгию Бабеля по гибнущей культуре лишь к его сожалению об уходящей еврейской культуре — неправомерно. Это можно позволить себе только сознательно закрыв глаза на все, что он писал в дневнике о стародавней борьбе «хлопа против пана», об исторических разделах переходившей из рук в руки Польши, о разрушении гуманистических идеалов в гражданской войне. Чувство ужаса при виде жестокости и разрушения — вот что обрекало его на отчуждение от среды. «Я — чужой»,— записывает он с болью рядом с дружескими заметками о людях, которые его окружают. «Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде» (6.8.20).

Бабель воспринимал человечество как всеземное сообщество. В ярости мести и разрушения он видел хаос самоистребления. Человек против человека, кровь против крови, разрыв в связи времен, утрата чувства самоценности человеческой личности — в этом он видел угрозу жизни.

Судя по дневнику, в душе Бабеля рождался клубок сложных мыслей и чувств. В его отношениях с революцией, говоря словами Блока, возникла трагическая «нераздельность и неслиянность».

Эта трагедия «нераздельности и неслиянности» наложила особую печать на художественный мир писателя.

3

Уже в дневнике Бабеля Первая Конная предстала в разительном несовпадении с той хрестоматийной, олеографической легендой, которую чем дальше от событий 1920 года, тем усиленнее создавали о ней С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов и многие официальные историки.

Еще меньше походили на олеографию его новеллы, составившие книгу «Конармия».

Конармейский походный дневник Бабеля сохранился лишь частично. По словам писателя, он работал над «Конармией» в основном по воспоминаниям. Теперь его воодушевляло стремление не столько описать, сколько осмыслить то, что он видел, осмыслить художественно.

Действительно: мир, который открылся читателю, был преображен воображением и творческой фантазией Бабеля до неузнаваемости.

---

[1] См.: Триллинг Л. Судьба Исаака Бабеля. Предисловие к кн.: «Collected Stories», Harmondsworth, 1974.

Отдельные рассказы из цикла «Конармия» начали публиковаться в 1923 году. Разные по материалу, они открывали мир новый и неожиданный. Многие современники писателя терялись в догадках, потому что «знакомые незнакомцы» «Конармии» были явно из их времени и в то же время разительно с ним не совпадали. Их сбивало с толку ее название. Им казались грубыми страсти ее героев. Они были глухи к ее напевному ритму, похожему скорее на поэзию, чем на прозу; сложный сплав патетики, иронии и скорби резал ухо. Персонажи «Конармии» явно не укладывались в стереотипы гражданской войны, уже сложившиеся к тому времени. Конармейцы отдаленно походили на блоковскую «голытьбу», что «без имени святого», «ко всему готова» («ничего не жаль») — шла «в даль». Отчасти они напоминали героев «Партизанских повестей» Вс. Иванова с их наивно-простодушным и наивно-жестоким взглядом на мир. И все.

Блюстители «казарменного порядка» в литературе увидели в «Конармии» «поэзию бандитизма»[1], намеренную дегероизацию истории[2]. Бабель пытался защищаться, объясняя, что создание героической истории Первой Конной не входило в его намерения[3]. Но споры не утихали.

В 1928 году «Конармия» вновь была обстреляна с позиций «унтерофицерского марксизма»[4]: после похвального отзыва М. Горького о Бабеле[5] «Правда» напечатала открытое письмо С. Буденного М. Горькому, где Бабель снова был обвинен в том, что искажает образ Первой Конной. Горький не отрекся от своих слов[6]. Он увидел в «Конармии» Бабеля героев, похожих на «запорожцев»: «Бабель,— писал он,— украсил их «изнутри» — он украсил их даже «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев»[7].

Вероятно, Горький пытался внушить современникам мысль, что Бабеля надо читать по-особому, отнюдь не бытовому коду.

Но подсказка не помогла. Лишь немногие из современников заметили, что Бабель наделен особым даром, который в наши дни называют фантастическим реализмом. Сам он жаловался на отсутствие воображения, но именно оно диктовало экстремальные ситуации, в которые он ставил своих героев; живописный колорит, ничего общего не имеющий с бытовым материалом Первой Конной; и стиль, аналога которому мы не найдем ни в жизни, ни в литературе. Глубоко ошибается тот, кто принимает рассказы «История моей голубятни» (1925), «В подвале» (1930) за воспоминания писателя о своем детстве, «Мой первый гонорар» (1922—1928) — за описание профессионального дебюта Бабеля, а Лютова отождествляет с самим пи-

---

[1] Вешнев В. Поэзия бандитизма (И. Бабель).— Молодая гвардия, 1924, № 8.

[2] Буденный С. Бабизм Бабеля из «Красной нови».— Октябрь, 1924, № 3.

[3] Октябрь, 1924, № 4.

[4] См. письмо — А. Г. Слоним 29 ноября 1928 г. в наст. изд.

[5] Горький М. О том, как я учился писать.— Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953, с. 473.

[6] Горький М. Ответ Буденному.— Правда, 1928, 27 октября.

[7] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953, с. 473.

сателем. Бебель великий мистификатор. Художественный мир его не допускал и не допускает поверки плоскостным зрением, «здравым смыслом» натурализма.

Бабель не кривил душой, говоря К. Г. Паустовскому: «На моем щите вырезан девиз: «Подлииность!» Поэтому я так медленно и мало пишу...»[1] И он не шутил, когда, смеясь, продолжал: «Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать, как проза Юлия Цезаря»[2].

И еще более серьезен он был, утверждая, что стиль «держится сцеплением отдельных частиц»[3], что он диктуется образом мира, который безотчетно зреет в душе художника. В этом убеждает сравнение дневниковых записей Бабеля с рассказами «Конармии», наглядно демонстрирующими трансформацию реального материала при переходе его в реальность художественную.

В дневнике мы читаем: «Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел... сколько графов и хлопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть, Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента» (7.8.1920).

В рассказе «Пан Аполек» все иное. И костел святого Валента украшен другой живописью, и смысл в эту картину вложен иной. Характер этого сдвига и интересен.

Пан Аполек украсил местный костел и убогие сельские жилища иконами, где в лике святых изобразил окрестных крестьян. Он придал их лицам горделивость и величие. Наивный экспрессионист, он своей страстной кистью разрушил иерархию святости. Даже Иоанна Крестителя нарисовал он так, будто его трагической судьбой предвосхищает позднейший трагизм Польши. Пан Аполек воспел ее рыцарей и проклял ее предателей: «Прямо на меня из сней глубины ниши,— описывает рассказчик картину «Смерть Крестителя», висевшую в доме сбежавшего ксендза,— спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана

---

[1] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 27, 28.
[2] Там же.
[3] Там же.

Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке».

«...я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека»,— говорит рассказчик. Он клятвенно произносит: «И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету».

«Величественный же пример пана Аполека,— считал один из первых интерпретаторов Бабеля А. Воронский,— состоял в том, что он, будучи художником-иконописцем, отвернулся от традиционной церковности и начал писать «святотатственные» иконы по польским деревням и местечкам, где натурщиками и натурщицами были окрестные крестьяне, бедняки, голь, проститутки. Их он награждал семейными иконами; в Иисусах и Мариях они узнавали себя и поклонялись естеству своему. За право писать так иконы Аполек вел отважную войну с иезуитами и католической церковью...

Обет следовать примеру Аполека Бабель выполняет пока в точности...»[1].

Эта мысль в критике прочно утвердилась.

Но нельзя не заметить, что смысл притчи о пане Аполеке у Бабеля несколько иной.

Если верить Воронскому, то Бабель обожествлял любого человека. Но писатель не был народопоклонником «вообще», о чем свидетельствует разнообразный, далекий от святости ряд его героев-конармейцев. Если верить Воронскому, то окажется, что, преклоняясь перед мудростью пана Аполека, Бабель убил в себе всякую оценку, кроме восхищения; что он решил кистью художника освятить то, что у обычного человека вызвало бы чувство «горького презрения к псам и свиньям человечества»; что он навеки зарекся от стремления к возмездию.

Но Воронский не заметил, что рассказчик и автор не одно и то же лицо. «Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино»,— говорит не автор, а рассказчик. Говоря словами М. М. Бахтина, слово в рассказе имеет «противослово»: «выдумка» пана Аполека названа «мрачной»; ксендз из расписанного Аполеком костела бежал, бросив своих прихожан; за дверьми костела бушует «казацкий разлив», сеющий смерть и разрушение; за окном ночь стоит «как черная колонна»; «запах лилий чист и крепок, как спирт», но он сравнивается автором со «свежим ядом», который «вливается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне». И когда рассказчик идет «ночевать к себе домой», он идет к обворованным казаками евреям, «отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни».

---

[1] Воронский А. Литературные типы. М., 1927, с. 70.

Отношение Бабеля к реальности, конечно, было много сложнее, чем у пана Аполека. Оно не было равно ни голосу кого-либо из героев, ни голосу Лютова. Оно не было равно ни вздоху, вырвавшемуся откуда-то из глубин души автора, ни прорвавшемуся откуда-то лирическому отступлению, ни даже иронии «автора без кавычек», как бы постоянно стоящего за повествованием»[1].

Бабель хотел, как говорил он позднее, найти форму, в которую можно было бы вместить не только «что», но и «как и почему». Он нашел ее в многосложности притчи с ее иносказательным смыслом, скрытым в глубине повествования, с ее философствованием, которое на первый взгляд кажется непритязательным и наивным. Чем были бы без этого не только рассказ «Пан Аполек», но и «Гедали», и «Путь в Броды», и «Мой первый гусь»? Не в посещении же лавки старьевщика, не в разорении пчелиных ульев и не в угодничестве Лютова перед казаками их смысл. При внимательном чтении становится ясно, что «Мой первый гусь» — это еще и рассказ о насилии, совести и революции, в «Гедали» за сомнениями старьевщика стоит философия добра и зла в революции, а «Путь в Броды» — анафема, осуждение варварства и скверны разрушения. Перед нами Бабель-моралист, Бабель-философ, скорее вопрошающий, чем отвечающий, скорее содрогающийся, чем ликующий. Но ни в коем случае не только содрогающийся и не только ликующий.

4

Обогатившись опытом реальной жизни, увидев в революции не только силу, но и «слезы и кровь», Бабель «вертел» человека так и этак, анализировал, анатомировал. Он хотел ответить на вопрос, который в дни польского похода записал в своем дневнике: «что такое наш казак?» Давая, казалось, те же, что и раньше, ответы, находя в казаке и «барахольство», и «звериную жестокость», он в «Конармии» все переплавил в одном тягле, и «казаки» предстали как исторические типы, как художественные характеры с нерасторжимостью их внутренне сцепленных, часто противоречивых свойств. В интересе Бабеля к человеку и теперь не было деления на «высокое» и «низкое». Его безусловно завораживало только одно: сила (не случайно он так любил повторять изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца»[2]). Интерес к силе шел из глубин его мировосприятия и был всеохватывающим. В годы, когда шла работа над «Конармией», с интересом Бабеля к раскрепощенным, вольным, первозданным силам жизни читатель встречался в самых неожиданных вариантах.

Так, в 1922—1923 годах Бабелем были написаны рассказы «Иисусов грех» и «Сказка про бабу», повторявшие одни и те же мотивы, один и тот

---

[1] И. Бабель. Статьи и материалы. М., 1928, с. 19.
[2] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 12.

же сюжет, разительно похожий, с одной стороны, на «историю о браке Иисуса и Деборы» в новелле «Пан Аполек», и, с другой, близкий тому апофеозу животворящей плоти, земных радостей, бурных страстей, которые создал Бабель в «Одесских рассказах». С восхищением писал он о своих плодородных, пышущих здоровьем героинях, глаза у которых — «синие, с горьковатою слезой», «грудь толстая, плечи круглые...» («Сказка про бабу»). Напротив, их кавалеры всегда худосочны, маломощны, физически снижены автором — «забавы в них много, а серьезности нет» («Иисусов грех»).

В этих сказках-притчах Бабель поляризует не дух и плоть, как может показаться, а естественность и выморочность. То, что идет от жизни, не может быть грубо: оно теплое, веселое, синеглазое. Выморочное же безрадостно, в нем нет доброты; отсутствие страсти оскорбительно для жизни.

Интерес Бабеля к силе жизни наложил отпечаток и на интерпретацию им социальных процессов, происходивших в России.

В рассказе «Линия и цвет» (тот же 1923 год) близорукий Керенский не видит и не хочет увидеть ни линию «зрелой ноги» молодеинькой девушки, ни «обледенелых и розовых краев водопада», ни «красных стволов деревьев», ни «японской резьбы плакучей ивы»... От куражливого возлюбленного бабы Ксении до умозрительного, социально-близорукого Керенского — рукой подать. И конец у них один: как дурашливого кавалера баба выбросила в подворотню, так на митинге в июне 1917 года «толпа удушила» Керенского «овчинами своих страстей»...

Конармейцы — плоть от плоти революции,— напротив, были наделены Бабелем здоровьем, жизнерадостностью, чувственной полнотой. Горькому, как мы помним, даже показалось, что они похожи на гоголевских запорожцев. Но конармейцы не были запорожцами. Самая пышность их одеяний была доведена автором до апогея и тем настораживала.

...Было что-то неистребимо карнавальное в самом виде героев Бабеля, таких, как Савицкий, например: «Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты» («Мой первый гусь»). Как и многим другим писателям в эпоху революции, Бабелю виделось в ней пересечение «миллионной первобытности» и «могучего, мощного потока жизни».

«Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар», эффектно подскакал к крыльцу, где скопились местные жители, «на огненном англо-арабе...» («Начальник конзапаса»). Но по-цирковому красиво подъезжает он к жалким крестьянам, у которых конармейцы отбирают рабочую скотину, отдавая за нее износившихся армейских лошадей. Пытаясь доказать крестьянину, что «издыхаю-

щее животное» — это еще «справная кобылка», он самим своим видом внушил ей «невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги». И тогда Дьяков, потрепав грязную гриву, ударил доверчивую доходягу хлыстом...

Крайне просто было бы сказать об игре контрастов в стиле Бабеля и умозаключить, что за ярким оперением писатель разглядел убогую душу. Но важно другое: ка́к переворачивается ситуация, ка́к меняются местами «высокое» и «низкое», какое значение получают вариации и оттенки во время этой, казалось бы, игры, как внутренне взаимосвязаны элементы этого конкретно-чувственного, зрелищного языка и что обнаруживается на глубине характеров.

Перед нами, в сущности, образная система карнавального искусства: «жизнь, выведенная из своей о б ы ч н о й колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку», «мир наоборот»...[1]

Карнавал как миросозерцание, писал М. Бахтин, «сближает, объединяет, обручает и сочетает священное с профанным, высокое с низким, великое с ничтожным, мудрое с глупым и т. п.»[2]. Существовала «целая система карнавальных снижений и приземлений, карнавальные непристойности, связанные с производительной силой земли и тела...»[3], «профанирующие снижения»[4], намеренный натурализм и откровенный физиологизм. Все это есть в «Конармии».

Освобождение из-под власти законов обычной, официальной жизни делает людей «эксцентричными, неуместными с точки зрения логики обычной внекарнавальной жизни». Но именно эта эксцентричность и позволяет «раскрыться и выразиться — в конкретно-чувственной форме — подспудным сторонам человеческой природы»[5].

С этой точки зрения вполне объяснима вдруг открывшаяся в Дьякове личность духовно неразвитого победителя, властительный деспотизм.

Бабель понял, и понял рано, что сила жаждет не только состязаться с силой, но и агрессивно самоутверждаться в соприкосновении с заведомой безответностью. То, что стало дозволенным в экстремальной ситуации революции, опасно, ибо накладывает печать на будущих людей, во многом предопределяя их перевернутую и укладывающуюся в нечто новое психику (см. например, рассказ «Комбриг 2»).

Именно этим предостережением отличался Бабель от писателей, зараженных коленопреклонением, народническим отношением к «простому человеку».

---

[1] Б а х т и н М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 207.
[2] Т а м ж е, с. 209.
[3] Т а м ж е.
[4] Т а м ж е, с. 210.
[5] Т а м ж е, с. 208.

В 20-е годы, да и позже Бабелю нередко вменяли в вину чрезмерное спокойствие перед духовно и физиологически некрасивыми явлениями жизни. В то время «жестокий» реализм еще не был осознан как расширение границ изображаемого мира. Но с его появлением встал вопрос об ответственности автора за этическую оценку изображаемого.

Бабель это понимал.

В новелле «Письмо» рассказ о том, как «кончали» сначала брата Федю, а потом «папашу», на иерархической шкале жизненных ценностей героя занимает то же место, что и просьба «заколоть рябого кабанчика» и прислать его в посылке или расспросы о «чесотке в передних ногах» оставшегося в домашнем хлеву любимого жеребчика Степы. Однако в конце повествования автор рассказывает о фотографии, где сняты сыновья — убитый «папашей» и убивший «папашу»: оба «чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье...». И это — оценка.

Бесстрастно, казалось бы, описана сцена убийства старика еврея казаком Кудрей: «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой,— читаем мы строчки из рассказа «Берестечко».— Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму: — Если кто интересуется,— сказал он,— нехай приберет».

Но бесстрастие писателя — мнимое. Холодное отношение к убийству на фоне вековечной гуманистической традиции — это минусовый этический знак. Отсутствие любви и симпатии к герою выступает как отчужденность автора от его поведения.

Споры в критике вызывали не только конармейцы, но и Лютов: кто он? Действительно, много новелл было написано от его лица. Он носил фамилию, под которой жил, действовал, писал и печатался сам Бабель в газете «Красный кавалерист». Кирилла Васильевича Лютова хорошо помнили бойцы Первой Конной, с которыми писатель и после похода сохранял самые дружеские отношения. Может быть, он — двойник автора, его alter ego?

Многие склонны были так и думать. Обвиняя Лютова в индивидуализме и приверженности к этическим нормам общечеловеческого гуманизма, презрительно говоря о его надклассовом мироощущении и желании сохранить интеллигентную добропорядочность[1], они, в сущности, отождествляли автора с его героем.

На деле все было сложнее.

...Когда «начдив шесть» Савицкий узнает, что Лютов — «грамотный» («кандидат прав Петербургского университета»), когда он кричит ему:

---

[1] См., например: Макаров А. Серьезная жизнь. М., 1962, с. 515—521.

«Ты из киндербальзамов... и очки на носу», когда, смеясь, восклицает: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки»,— он ведет себя так, как только и может вести себя человек, за которым стоит веками копившаяся классовая ненависть.

И Бабель был точен, рисуя Лютова, покорно склонившегося перед казаками. Но когда победа была, казалось, одержана, когда казаки говорят: «Парень нам подходящий», и Лютов, торжествуя, читает им ленинскую речь, его победа ощущается все-таки как странная, как относительная победа:

«Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга,— заканчивает Бабель свой рассказ,— с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло».

Автор наблюдает Лютова не только извне, но и изнутри. Дуэт их «голосов» организован так, что читатель всегда чувствует призвук непосредственного голоса реального автора. Исповедальная интонация в высказывании от первого лица усиливает иллюзию интимности отношений с читателем, а интимность способствует отождествлению рассказчика с автором. И уже непонятно, кто же — Лютов или Бабель — говорит о себе: «Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека...»

Но художественно Бабель всячески обыгрывает вненаходимость Лютова и создает дистанцию между ним и автором. Лютов — это как бы Бабель дневников 1920 года. Одиночество Лютова, его отчужденность, его содрогающееся при виде жестокости сердце, его стремление слиться с массой, которая грубее, чем он, но и победительнее, его любопытство, его внешний вид — все это биографически напоминает Бабеля 1920 года. Автор ему сочувствует, как может сочувствовать себе прежнему. Но к себе прежнему он уже относится отчужденно-иронически.

Важно услышать еще один голос в его прозе. «У Бабеля,— еще в 20-е годы заметил Н. Степанов,— «сказ» усложнен тем, что часто «рассказчиком» является сам автор, вернее, «авторская маска», создающаяся тут же, в рассказе»[1]. Вспомним новеллу «Кладбище в Козине», этот скорбный реквием: «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?» «Авторская маска» — это не реальный, не биографический автор, но это самое глубокое отражение его духа, его экзистенции, ядро его личности. Поэтому-то горькая фраза «Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца» и воспринималась читателями Бабеля как стон, вырвавшийся из глубины души самого писателя. Говоря словами Шагала, он был тем великим актером, который, играя, смеялся и плакал одновременно.

В рассказе «Смерть Долгушова» автор сам себе кажется гуманным человеком — не может он добить умирающего. «Афоня,— сказал я с жал-

[1] И. Бабель. Статьи и материалы. М., 1928, с. 19.

кой улыбкой и подъехал к казаку,— а я вот не смог», и эта «жалкая улыбка» в сцене, где вот-вот «наскочит шляхта — насмешку сделает», выглядит как слабодушие. И кажется, ответная реплика только это и фиксирует: «Уйди,— ответил он, бледнея,— убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок».

...Но через несколько минут другой конармеец протянул Лютову сморщенное яблочко. «Кушай,— сказал он мне,— кушай, пожалуйста».

В первых вариантах «Конармии» рассказ имел продолжение: «И я принял милостыню от Грищука и съел его яблоко с грустью и благоговением». Бабель снял его, снял потому, что спрашивал: кто прав? кто виноват? кто выше? кто слаб? кто велик?

Он оставлял эти вопросы открытыми — на суд истории. «Нераздельность и неслиянность» — с годами это усиливалось в отношениях Бабеля с революцией. Не только «нераздельность» — тогда все было бы просто; и не жестко: «неслиянность» — это тоже не соответствовало истинным чувствам Бабеля. А именно вместе — «нераздельность и неслиянность».

В этом была его трагедия.

Бабель не канонизировал это чувство, не считал такое отношение к реальности завершенным и окончательным. В многоголосности его прозы — нерасторжимое единство патетики и скорби, лирики и иронии, любви и ненависти. Такое «взаимодействие комического с трагическим, возвышенного с обыденным»[1], пишет Л. Гинзбург, присуще особому сознанию — романтической иронии: «Это сознание не отрицает высших ценностей, но подвергает мучительному сомнению самую возможность их реализации»[2]. Склонный к метафоричности мышления, уверенный в том, что стиль держится «сцеплением отдельных частиц», Бабель написал в одном из рассказов: «И мы услышали великое безмолвие рубки». Он сознательно пренебрег привычными представлениями, где «рубка» не могла быть «великой», и реальностью, где «рубка» не могла быть «безмолвной». Родившийся художественный образ и был его метафорой революции.

...И все-таки самой высокой ценностью для Бабеля была жизнь. Отнюдь не иронизировал автор над мечтой старика Гедали об «Интернационале добрых людей», но сам тосковал по нему. Потому-то и говорит «автор без кавычек»: «Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды»; потому-то подчеркнвает он ее неверный свет: «Она мигает и гаснет — робкая звезда»; потому-то и описывает лавку старьевщика как «коробочку любознательного и важного мальчика, из которого выйдет...» — кто? Не герой и не мученик, а — «профессор ботаники». И когда Гедали говорит: «...я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали ей паек по первой категории»,— ответ не случайно пахнет дымом и горечью: «Его кушают с поро-

---

[1] Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л., 1987, с. 69.
[2] Там же, с. 68.

хом»,— говорит рассказчик об Интернационале,— «и приправляют лучшей кровью...».

О празднике жизни Бабель хотел бы сказать впрямую — до сих пор это оставалось как бы за скобками. Так рядом с «Конармией» встали «Одесские рассказы», написанные в те же годы.

5

Бабель всегда романтизировал Одессу. Он видел и социальное неравенство, и «очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто», и «очень самодовольную буржуазию», и «очень черносотенную городскую думу». Но ему нравилось, признавался он, как «...в купальнях блестят на солнце мускулистые, бронзовые фигуры юношей, заннмающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тонкие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс» («Одесса»).

Одесса была для Бабеля символом раскрепощенного чувства жизни. Он видел ее непохожей на другие города, населенной людьми, «предвещающими грядущее»: в них были радость, «задор, легкость и очаровательное — то грустное, то трогательное — чувство жизни». Жизнь могла быть «хорошей, скверной»,— но в любом случае «необыкновенно... интересной».

Именно такое отношение к жизни Бабель хотел внушить человеку, пережившему революцию и вступившему в мир, полный новых и непредвиденных трудностей. Поэтому в «Одесских рассказах» он строил образ мира, где человек был распахнут навстречу жизни.

В реальной Одессе Молдаванкой, вспоминал К. Г. Паустовский, «называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи налетчиков и воров»[1]. В бабелевской Одессе этот мир перевернут. Окраина города превращена в сцену, театр, где разыгрываются драмы страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и семейные ссоры, и смерти, и похороны; все участвуют в действии, смеются, дерутся, едят, готовят, меняются местами, сходятся и расходятся, но — участвуют в общей жизни. Если это свадьба, то столы выставлены «во всю длину двора», и их «так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу» («Король»). Если это похороны, то «такие похороны, каких Одесса еще не видала, а мир не увидит».

Грандиозность зрелища контрастирует с ритмом стиля, имитирующим точное репортерское описание: «Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были

[1] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 11.

мальчиками, но они пели женскими голосами» и т. д. В это массовое действие писатель вовлекает весь город, одних только служащих богача Рувима Тартаковского, пишет он, было «сто человек, или двести, или две тысячи» — главное: много.

В этом мире «государь император» поставлен ниже уличного «короля» Бени Крика, а официальная жизнь, ее нормы, ее сухие выморочные законы высмеяны, снижены, уничтожены смехом. Язык героев свободен, он насыщен смыслами, лежащими в подтексте, герои с полуслова, полунамека понимают друг друга, стиль замешан на русско-еврейском, одесском жаргоне, который еще до Бабеля был введен в литературу, в частности, С. С. Юшкевичем в начале XX века. Но во владении им, как верно заметил А. Лежнев, «Бабель проявил несравненно больше вкуса и меры, чем Юшкевич, у которого жаргон этот обладал этнографической и анекдотической, но не художественной ценностью»[1].

Живая разговорная структура фразы была зна́ком раскрепощенного сознания героя, проекцией живого и насмешливого иронического ума автора. Вскоре афоризмы Бабеля разошлись на пословицы и поговорки, они оторвались от своего создателя, обрели самостоятельную жизнь, и уже не одно поколение повторяет: «...еще не вечер», «холоднокровней, Маня, вы не на работе...» или «у вас... в душе осень».

Но одесский же материал помогает сегодня понять эволюцию Бабеля.

Еще до выхода «Конармии» отдельной книгой началась работа над сценариями: «Беня Крик», «Блуждающие звезды» (оба — 1925 г.) и др. Но самооценки его строги и бескомпромиссны: «бездарно, пошло, ужасно»[2]— так в те годы о нем не позволял себе писать никто. В 1926 году он пишет пьесу «Закат». Умение видеть мир как зрелище, как сцену теперь показалось дорогой к новому повороту жизни и работы.

Бабель потом считал, что короткая театральная жизнь пьесы связана с неудачными постановками, из которых уходила «легкость комедии».

Истоки же недоразумения оказались заложены в изменившемся времени. Смысл пьесы обнажен в названии — «Закат»,— это было символическим предощущением перемен. Жажда жизни, воплощенная в Менделе Крике, ненасытна и безоглядна; такой же агрессивной, ненасытной и жестокой была и сила его сыновей.

Критики постарались не заметить мрачных прогнозов писателя. Прочитанная буквально пьеса трактовалась как тема разрушения старых патриархально-семейных связей и отношений — и только. Но в таком виде она мало кого интересовала. И Бабель был серьезно огорчен. Ему попрежнему нравились люди, которые живут «грубо и страстно, простые люди...»[3].

В 1927 году критик А. Лежнев писал: «Бабель не был похож ни на кого

---

[1] Л е ж н е в А. О литературе. М., 1987, с. 254.
[2] См. письмо А. Г. Слоним от 9 января 1927 г. в наст. изд.
[3] Воспоминания современников. М., 1972, с. 162.

из современников. Но прошел недолгий срок — современники начинают понемногу походить на Бабеля. Его влияние на литературу становится все более явным»[1].

К сожалению, это длилось недолго. Советская литература развивалась иначе.

И Бабель — тоже.

...Менялась эпоха, менялось время. Бабелю было трудно смириться с этим. Что-то происходило в его душе. Писать становилось все труднее. Сохранять веру в «жизнь, распахнутую настежь», становилось все сложнее.

В его душе назревал кризис.

6

В 1927—1928 годах семейные обстоятельства побудили Бабеля совершить поездку во Францию. Там жила его первая семья. Где он бывал? «У Бабеля был свой Париж, как была и своя Одесса,— вспоминал его тогдашний друг А. Нюренберг.— Он любил блуждать по этому удивительному городу и жадно наблюдать его неповторимую жизнь...»[2] «Его тянуло в старые, покрытые пылью и копотью переулочки, где ютились ночные кафе, дансинги, обжорки, пахнущие жареным картофелем и мидиями, обжорки, где кормится веселая и гордая нищета»[3].

Но смена впечатлений и даже готовность писать на парижском материале не снимали душевной тоски. И, вернувшись в Россию, он писал матери 20 октября 1928 года: «Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно,— но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь».

Но к своей судьбе писатель относился с осознанным стоицизмом. Жизнь становилась все круче — он не менял ни позиций, ни взглядов, ни поступков. Еще в 1927 году — в период глубокого отчаяния — он утешал себя в письме А. Г. Слоним: «...мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности». В 1929 году, отменив личную поездку в Кисловодск, Бабель едет в Липецк к сосланному туда по обвинению в троцкизме А. К. Воронскому. Это был гражданский поступок. Это был выбор. Это была попытка противостоять времени.

Восхищенные статьи В. Шкловского, В. Новицкого, Н. Степанова и

---

[1] Л е ж н е в А. О литературе. М., 1987, с. 254.
[2] И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972, с. 196.
[3] Т а м ж е.

других — не радовали. Он писал о них: «Читаю, как будто речь идет о мертвом, настолько далеко то, что я пишу сейчас, от того, что я писал прежде». Ему казалось, что молчание дискредитирует его. Он пытался пересилить себя — то принимал участие в работе над коллективным романом «Большие пожары» (1927), то публиковал в альманахе «Перевал» (№ 6) свои старые рассказы («Ходя», «Старательная женщина», «В щелочку»).

Новая жизнь была ему интересна: в 1929—1930 годах он принимал «более или менее близкое,— как сам говорил,— участие... в коллективизации»[1]. В 1931 году Бабель жил в Молоденове, под Москвой, работая там секретарем сельсовета. В мае того же года в километре от Молоденово на даче поселился М. Горький: так возобновилась старая дружба, о которой Бабель много думал, говорил и писал (в письмах к друзьям и родным, в мемуарных очерках «Начало», «Горький» и др.). В 1933 году по приглашению Горького Бабель прожил какое-то время в Неаполе, работая там над пьесой «Мария».

В 1933 году вместе с Беталом Калмыковым, первым секретарем Кабардино-Балкарии, Бабель много ездит по Кабардино-Балкарии, радуясь природной мощи и изобилию этого края. «Какой народ! — восхищался он.— Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе!»[2]

Но бесчисленные поездки по стране, ставшие модой на рубеже 20—30-х годов, будь то Донбасс, Кабардино-Балкария, Днепрострой, совхоз «Гигант» или Киевщина, куда Бабель ездил для сбора материала и подготовки номера журнала «СССР на стройке» на тему «Свекла», или Польша и Германия, где писатель останавливался по пути из Франции — все это, наряду, конечно, с врожденным любопытством к жизни, было и фрейдистским замещением, компенсацией подавленных творческих импульсов.

Критика по-прежнему ждала от Бабеля пряного материала о революции. Но хотя «Конармия» еще переиздавалась, у Бабеля, по-видимому, не оставалось сомнений в том, что неприкрашенное изображение революции уже было не ко времени. Лишенный проницательности Бабеля Вяч. Полонский, пребывавший последние дни в должности ответственного редактора «Нового мира», записывал в личном дневнике: «Бабель работал не только в Конной — он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садистическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь,— это, вероятно, про Чека. Он и в Конармию пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать боится. Репутация у него попутническая»[3].

---

[1] См.: «О творческом пути писателя» в наст. томе.
[2] И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972, с. 314.
[3] Архив А. Н. Пирожковой.

Однако для того, чтобы писать о расстрелах, Бабелю не надо было пробираться в подвалы ЧК: «слезы и кровь» были вокруг него.

В 1930 году он написал рассказ «Колывушка», дав ему подзаголовок из книги «Великая Старица». Бабель опять столкнул лбами «высокое» и «низкое», силу могучего и духовного здоровья и агрессивность уродства, изначальную справедливость трудолюбивого человека и ненасытную жажду «темной силы» к самоутверждению. Как прежде, он дошел до физиологических истоков жизни и их истребление изобразил как разрушение естественных начал жизни.

В рассказе о раскулачивании Колывушки и его семьи центральным Бабель сделал эпизод, где Колывушка убивает топором любимую жеребую кобылу. Родная для него, она в списках, которые составляются для раскулачивания, будет значиться животным под безликим словом «жданка».

Глаз Бабеля по-прежнему зорок, слово по-прежнему точно, и стиль, как и раньше, рождается из «столкновения слов», а не из страсти к пряному, острому впечатлению и слову. Фразы «Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии», «в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок», в доме «все отражало мучительную чистоту» так же выразительны, как и фраза «женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы». Ставшая за ночь белой голова поседевшего Колывушки так же красноречива, как глумление горбуна Житняка, похваляющегося тем, что «баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамкались с нею, аж газ пущали...». Смешное переходит в страшное. Бабель сталкивает ярость и рабство, протест Колывушки и покорность «мира», к которому он взывает. Все это звучит как один удар смычка, и общая тональность — обреченность.

Об убыли революции Бабель писал и в новелле «Фроим Грач», в свое время, так же как и «Колывушка», не напечатанной. Это был мрачный рассказ о попытке налетчиков с Молдаванки подружиться с революцией, о прямоте короля налетчиков, предложившего этот необычный альянс, и о коварном и безжалостном его убийстве. С ним ушла в прошлое «вся Одесса», как говорит один из героев рассказа, который вспоминает «о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...».

Но это, замечает рассказчик, уже никого не интересует.

Шло время, имя Бабеля встречалось в печати все реже. Внутренние причины кризиса он связывал не только со своим максимализмом, но и с «ограниченными возможностями выполнения...»[1],— как осторожно писал он в частном письме из Парижа в июле 1928 года. «Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным»[2],— проговаривался он, далекий от жалости к себе. Переписка с издателями выдавала его отчаяние.

Параллельно рождалась легенда о «прославленном молчальнике»[3], хра-

---

[1] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 130.
[2] *Там же*, с. 124.
[3] *Там же*, с. 83.

нящем свои рукописи в наглухо запертых сундуках. Писатель ее не опровергал — он и сам время от времени говорил о своей немоте, о стремлении преодолеть «цветистость» стиля, о попытках писать по-новому и о мучительности этих усилий. Вряд ли все это шло ему на пользу: «Так сильна его склонность к сказочному, нереальному! — восхищался он талантом С. Эйзенштейна, работая с ним над картиной «Бежин луг».— Но нереальность у нас не реальна»[1],— с горечью добавлял он, сам склонный к «нереальному» изображению реальности. Суетливая критика подстегивала писателя, заверяя, что, как только он окончательно отречется от себя «прежнего», перестанет тратить «годы на завоевание армии слов»[2], преодолеет свои «детские ошибки»[3] и прильнет к «новой действительности»[4],— все пойдет на лад. Бабель старался, но не раз сетовал на невозможность «заразиться литературной горячкой» (см. письмо Е. Зозуле от 23 декабря 1927 г. в наст. томе).

К I съезду писателей молчание Бабеля на фоне общего восторга перед действительностью стало казаться настолько странным, что стало ясно: он нуждается в защите. Тогда-то и родилось знаменитое изречение И. Эренбурга, что он «лично плодовит, как крольчиха», но отстаивает право слоних беременеть раз в несколько лет. Сам же Бабель говорил о том, что читателю дают «стандарт» вместо «хлеба искусства», что в жизнь вошли и плотно ее заселили «казенные слова», что это — «пошлость», «преступление», «контрреволюция».

Стремление писать на выстраданном материале привело Бабеля к последней из его мистификаций: он начал писать как бы автобиографические рассказы. К новеллам «История моей голубятни» и «Первая любовь» (обе — 1925 г.) теперь прибавились «В подвале» (1930), «Пробуждение» (1930), «Ди Грассо» (1937). Но именно документальной достоверности в этих рассказах не было. Из детства были взяты сюжеты, детали. Опорой стал внутренний опыт, осмысленный психологически и исторически. Материал был организован под особым — личным — углом зрения. Так было написано «Пробуждение» — овеянный поэзией рассказ о домашности еврейского образа жизни, о «чудовищной лотерее» отцов, не видящих иного выхода за черту оседлости иначе чем через превращение своих детей в вундеркиндов, о «голосе предков», вдруг проснувшемся в мальчике и звавшем на волю, и о «побеге» в жизнь, который он сумел осуществить.

Бабель хорошо понимал, что его разногласия с эпохой — отнюдь не стилистического порядка. В письмах к родным он жаловался на страх, который вызывает у редакторов чрезмерная злободневность его рассказов.

---

[1] Воспоминания о Бабеле. М., 1972, с. 280.

[2] Мунблит Г. О новых рассказах И. Бабеля.— Литературная газета, 1932, 11 октября.

[3] Шкловский В. О людях, которые идут по одной и той же дороге и об этом не знают. Конец барокко.— Литературная газета, 1932, 17 июля.

[4] Гоффеншефер В. Судьба новеллы.— Литературный критик, 1930, № 11.

Однако его художественный потенциал был неисчерпаем. Едва ли не в самые трагические для страны дни — в 1937 году — Бабель создает великую притчу «Ди Грассо». Он опять изображает смещенный страстью мир. Только теперь эта страсть — искусство. Бабель, как всегда, возьмет обычную ситуацию и скажет о ней несколько сухих, информативных слов («играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи»). Потом он перевернет ситуацию и сделает из нее необыкновенное происшествие: трагически тяжелой, гнетущей атмосфере жизни тех лет он противопоставит изображение почти площадной страсти, смех возвысит над нормой казармы, и балаганная комика одержит у него верх над страшной скукой несвободы. Он вынесет свой морализм наверх, и не только изобразит, как влюбленный пастух в порыве ревности «поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра», опустился на плечи соперника и, «перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь», но и доскажет за Ди Грассо, что «в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира».

Меньше всего Бабель хотел жить в отрыве от времени. И в конце 30-х годов сила по-прежнему завораживала его, порой побуждая к самообману.

Как он относился к Сталину, к сталинскому режиму? Через третьи руки до нас доходят свидетельства, что, например, в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и был уверен, что скоро все кончится[1]. М. Н. Берков вспоминает, что и в 1938 году Бабель говорил ему, что все случайно и странно.

Верил ли он сам в это?

Сомнительно.

Как бы то ни было, но в 1937 году в хоре голосов, осуждающих невинно убиваемых, современники неожиданно услышали и его голос. Он написал статью «Ложь, предательство и смердяковщина»: «Язык судебного отчета неопровержим и точен»; «...люди, сидящие на скамье подсудимых... хотели продать первое в мире рабочее государство фашизму, военщине, банкирам, самым отвратительным и несправедливым проявлениям материальной силы на земле»[2]. Это был вымученный, чужой, ненатуральный, перенасыщенный газетными штампами язык. В нем не было ни призвука голоса писателя. Ритуальное слово в трагическом действе — это выдавало отчужденность Бабеля от всего происходящего.

За полгода до ареста он писал своей близкой знакомой А. Г. Слоним: «Entre nous soit dit»[3],— очень плохо живется: и душевно, и физически — не с чем показаться к хорошим людям». Ему хотелось верить, что «рассудок пока не затемнен», что «все причины в себе самом и что главная победа — над самим собой...».

---

[1] В этом он уверял Гудакова, близкого знакомого О. Мандельштама, отбывавшего ссылку тоже в Воронеже.— *Г. Б.*

[2] Литературная газета, 1937, 1 февраля.

[3] Между нами говоря *(фр.)*.

Но беда была уже рядом.

15 мая 1939 года Бабеля арестовали на даче в Переделкине, под Москвой. При аресте конфисковали все его рукописи — пять папок. Как полагает вдова писателя А. Н. Пирожкова, это были наброски и планы рассказов, два начатых романа, переводы, дневники, записные книжки, личные письма к жене. Писателя обвиняли в «антисоветской заговорщической террористической деятельности и подготовке террористических актов... в отношении руководителей ВКП (б) и Советского правительства»[1].

27 января 1940 года Бабеля расстреляли.

Через 14 лет в заключении военного прокурора подполковника юстицнн Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 года, то есть через 35 дней после ареста Бабеля»[2].

Бабель по-своему понимал человеческую удачу. «Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ,— говорил он К. Г. Паустовскому,— и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче... Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда»[3].

Бабель говорил о жажде очарованной дали тогда, когда его имя еще в 20-е годы уже произносилось в одном ряду с нменами Г. Флобера и Гюи де Мопассана, А. Франса и Г. Гейне, Н. Лескова и М. Горького. С годами к ним прибавились имена М. Шагала и К. Малевича, великих итальянских живописцев и художников-экспрессионистов, классиков французской, русской, польской и других литератур.

Но самому ему не суждено было до этого дожить.

И все-таки, все-таки: читая впервые полного Бабеля, восхищаясь и ликуя, мы счастливы его человеческой удачей. Это значит: смертью смерть поправ, Бабель стал своим на празднике богов.

Г. Белая

---

[1] См.: Ваксберг А. Процессы.— Литературная газета, 1988, 4 мая, с. 12.

[2] Там же.

[3] Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 28—29.



АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уго-

ловной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо,— Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Леф» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

РАССКАЗЫ

1913—1924 гг.



СТАРЫЙ ШЛОЙМЕ

Хотя наш городок и невелик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыездно, но все-таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, не попадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме. Ему было 86 лет. Глаза его слезились; лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло; сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый; жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его; старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным, беззубым ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу — ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось,

давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме начал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие — он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет; он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро... Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему некуда идти, совсем некуда». Шлойме забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь, прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но... он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съежившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорит сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика, и пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися шагами, грязный и всклокоченный, он мед-

ленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой, и впервые за много-много лет слезы выкатились из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка... Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего бога, бога униженного и страдающего народа — этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж? Шлойме расскажет богу, как его обидели, бог ведь есть, бог примет его». В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно... Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис...

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.

ДЕТСТВО. У БАБУШКИ

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами.

Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас,— это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое — я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], Peysson[1], учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы — какая тоска! Сначала

[1] Пейссон *(фр.)*.

я принялся за уроки. Разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист — только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к не-

му безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час — урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор — глубокую клетку — ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня бога».— «Иди с миром,— сказал ему цадик.— Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она была голодна.

— В старину люди верили,— промолвила бабушка.— Было проще жить на свете. Когда я была девушкой — взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь.

Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал: «пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару.

— Твой дед,— заговорила она,— знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом.

И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет.

— Учись,— вдруг говорит она с силой,— учись, ты добьешься всего — богатства и славы. Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко — навеки — ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую ⟨голову?⟩.

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка,— гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью.— Я здесь хозяйка. Ты добро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди»,— сказала бабушка. Сделалось

тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят — я не знаю. После ужина она...[1]

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

---

[1] Фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке. *(Примеч. составителя.)*

ЭЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь,— ответил Гершкович,— к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два,— сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

. . . .

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э,— поморщился Гершкович,— какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко,— сказал Гершкович,— пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

. . . .

— Э,— снова поморщился Гершкович,— я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка,— медленно промолвила проститутка,— это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку,— сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне,— устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить.— Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля...— неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

. . . .

— Нивроко,— сказал Гершкович.— Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле,— сказал он.— Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы,— ответил Гершкович.— Первый город, хороший город.— И он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо,— сказала Маргарита.

— И правда,— ответил Гершкович.— Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак,— промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати.— Люди злые.

— Нет,— сказал Гершкович,— люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.


Широко открылась

— Ты занятный,— медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься,— говорила Маргарита.— Занятия такая, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе,— подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части,— за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности,— промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пана.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу,— сказала она,— привет...

— Спасибо,— ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

МАМА, РИММА И АЛЛА

С самого утра день выдался хлопотливый.

Накануне раскапризничалась и ушла прислуга. Варваре Степановне пришлось все делать самой. Во-вторых, рано утром прислали счет на электричество. В-третьих, квартиранты, братья Растохины, студенты, предъявили совершенно неожиданную претензию. Ночью ими была якобы получена из Калуги телеграмма о том, что отец их болен и необходимо к нему выехать. Поэтому они освобождают комнату и просят возвратить им 60 рублей, выданные Варваре Степановне заимообразно.

Варвара Степановна на это ответила, что странно освобождать комнату в апреле, когда никто ее снимать не станет, и что деньги она затрудняется возвратить, потому что они были даны ей не заимообразно, а в виде платы за помещение, платы, выданной, правда, вперед.

Растохины с Варварой Степановной не согласились. Разговор принял замедленный и недружелюбный характер. Студенты были упрямые и недоумевающие остолопы в длиннополых и чистеньких сюртуках. Им показалось, что плакали их денежки. Старший предложил тогда, чтобы Варвара Степановна заложила у них свой буфет из столовой и трюмо.

Варвара Степановна побагровела и возразила, что она не позволит разговаривать с собой в таком тоне, что предложение растохинское совершеннейшая дичь, что законы она знает, муж ее членом окружного суда на Камчатке и прочее. Младший Растохин, вспылив, ответил, что наплевать им с высокого дерева на то, что муж ее членом окружного суда на Камчатке, что если попадет к ней копейка, то ее уж когтями не выдерешь, что пребывание свое у Варвары Степановны — весь этот сумбур, грязь, бестолковщину — они никогда не забудут и что окружной суд на Камчатке далеко, а мировой судья на Москве близко...

Так эта беседа и окончилась. Растохины ушли надутые, злобно-тупые, а Варвара Степановна направилась в кухню варить кофе другому своему квартиранту, студенту Станиславу Мархоцкому. Из комнаты его уж несколько минут доносились резкие и длительные звонки.

Варвара Степановна стояла в кухне перед спиртовой машинкой, на толстом носу ее было разъехавшееся от старости никелевое пенсне, седоватые волосы растрепались, утренняя розовая кофта была в пятнах. Она варила кофе и думала, что никогда эти мальчишки не разговаривали бы с ней в таком тоне, если бы не вечный недостаток в деньгах, если бы не эта несчастная необходимость перехватывать, прятаться и хитрить.

Когда кофе и яичница Мархоцкого были готовы, она отнесла завтрак ему в комнату.

Мархоцкий был поляк — высокий, костлявый, беловолосый, с холеными ногтями и длинными ногами. В то утро на нем была домашняя щегольская серая куртка с брандебурами.

Встречена была Варвара Степановна с неудовольствием.

— Мне надоело,— сказал он,— то, что никогда нет прислуги, приходится звонить по часу и опаздывать на лекции...

Прислуги действительно часто не бывало, и звонил Мархоцкий подолгу, но на этот раз причина его неудовольствия была в другом.

Накануне вечером он сидел с Риммой, старшей дочерью Варвары Степановны, на диване в гостиной. Варвара Степановна видела, как они поцеловались раза три и в темноте обнимались. Сидели они до одиннадцати, затем до двенадцати, потом Станислав положил голову на грудь Риммы и заснул. Кто в молодости не дремал в углу дивана на груди случайно встретившейся на жизненном пути гимназисточки? Худа в этом большого нет, последствий часто тоже не бывает, но все же надо считаться с окружающими, с тем, что девочке, может быть, в гимназию на следующее утро надо.

Только в половине второго Варвара Степановна довольно кисло заявила, что пора бы и честь знать. Мархоцкий, исполненный польского гонора, поджал губы и обиделся. Римма метнула на мать негодующий взгляд.

Тем дело и обошлось. Но Станислав, очевидно, и на следующее утро помнил об этом. Варвара Степановна подала ему завтрак, посолила яичницу и вышла.

Было 11 часов утра. Варвара Степановна открыла в комнате дочерей шторы. Легкие, блестящие лучи нежаркого солнца легли на грязноватый пол, на разбросанную повсюду одежду, на запыленную этажерку.

Девушки уже проснулись. Старшая, Римма, была худенькая, маленькая, быстроглазая, черноволосая. Алла была моложе на год — всего семнадцать лет — крупнее сестры, белая, медлительная в движениях, с нежной, рыхловатой кожей, с сладостно-задумчивым выражением голубых глаз.

Когда мать вышла, она заговорила. Полная голая рука ее лежала на одеяле, белые пальчики едва шевелились.

— Я видела сон, Римма,— сказала она.— Представь себе — странный городок, маленький, русский, непонятный... Светло-серое небо стоит очень низко и горизонт совсем близко. Пыль на уличках тоже серая, гладкая, покойная. Все мертво, Римма. Ниоткуда ни звука, нигде ни одного человека. И вот мне кажется, что я иду по незнакомым мне переулочкам, вдоль маленьких, тихих деревянных домиков. То упираюсь в тупички, то выхожу на дорогу, из которой мне видны только десять шагов пути, и все же я иду по ней бесконечно. Впереди меня где-то вьется легкая пыль. Я подхожу ближе и вижу свадебные кареты. В одной из них Михаил с невестой. Невеста в фате, и лицо у нее счастливое. Я иду рядом с каретами, мне кажется, что я выше всех, и сердце у меня побаливает. Потом все замечают меня. Кареты останавливаются. Михаил подходит ко мне, берет меня за руку и медленно уводит в переулок. «Мой друг Алла,— говорит он монотонно,— все грустно, я знаю. Ничего нельзя сделать, потому что я не люблю вас». Я иду рядом с ним, сердце у меня все вздрагивает, и новые серые дорожки открываются перед нами.

Алла замолкла.

— Дурной сон,— прибавила она.— Кто знает? Может быть, потому что худо — все пойдет к лучшему и получится письмо.

— Черта с два,— ответила Римма,— раньше надо было умнее быть и не бегать на свидания. А у меня, знаешь, с мамой сегодня разговор будет...— неожиданно сказала она.

Римма встала, оделась, пошла к окну.

Весна была на Москве. Теплой сыростью блестел длинный, мрачный забор, тянувшийся на противоположной стороне почти во всю длину переулка.

У церкви, в палисаднике, трава была влажная, зеленая. Солнце мягко золотило потускневшие ризы, мелькало по

темному лику иконы, поставленной на покосившемся столбике у входа в церковную ограду.

Девушки перешли в столовую. Там сидела Варвара Степановна и много и внимательно ела, поочередно пристально вглядываясь через очки в бисквитики, в кофе, в ветчину. Кофе она пила громкими и короткими глотками, а бисквиты съедала быстро, жадно, точно украдкой.

— Мама,— сурово сказала ей Римма и гордо подняла маленькое личико,— я хочу поговорить с тобой. Не надо вспыхивать. Все будет спокойно и раз навсегда. Я не могу жить с тобой больше. Дай мне свободу.

— Пожалуйста,— спокойно ответила Варвара Степановна, поднимая на Римму бесцветные глаза.— Это за вчерашнее?

— Не за вчерашнее, а по поводу него. Я задыхаюсь здесь.

— Что же ты делать будешь?

— На курсы пойду, изучу стенографию, теперь спрос...

— Теперь стенографистками хоть пруд пруди. Ухватятся за тебя...

— Я не прибегну к тебе, мама,— визгливо проговорила Римма,— я не прибегну к тебе. Дай мне свободу.

— Пожалуйста,— еще раз сказала Варвара Степановна,— я не задерживаю.

— И паспорт дай мне.

— Паспорта я не дам.

Разговор был неожиданно тихий. Теперь Римма почувствовала, что из-за паспорта можно раскричаться.

— Это мне нравится,— саркастически захохотала она,— где же меня пропишут без паспорта?

— Паспорта я не дам.

— Я на содержание пойду,— истерически закричала Римма,— я жандарму отдамся...

— Кто тебя возьмет? — Варвара Степановна критически осмотрела дрожащую фигурку и пылающее лицо дочери.— Не найдет жандарм получше...

— Я на Тверскую пойду,— кричала Римма,— я к старику пойду. Я не хочу жить с ней, с этой дурой, дурой, дурой...

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь,— с достоинством поднялась Варвара Степановна,— в доме нужда, все разваливается, недостаток, я хочу забыться, а ты... Папа это будет знать...

— Я сама напишу на Камчатку,— в исступлении прокричала Римма,— я получу у папки паспорт...

Варвара Степановна вышла. Маленькая и взъерошенная

Римма возбужденно шагала по комнате. Отдельные гневные фразы из будущего письма к отцу носились в ее мозгу.

«Милый папка! — напишет она,— у тебя свои дела, я знаю, но я должна все сказать тебе... Оставим на маминой совести утверждение, будто Стасик спал на моей груди. Он спал на вышитой подушечке, но центр тяжести в другом. Мама твоя жена, ты будешь пристрастен, но дома я не могу оставаться, она тяжелый человек... Если хочешь, я приеду к тебе на Камчатку, но паспорт мне нужен, папка...»

Римма шагала, а Алла сидела на диване и смотрела на сестру. Тихие и грустные мысли ложились ей на душу.

«Римма суетится,— думала она,— а я несчастна. Все тяжело, все непонятно...»

Она пошла к себе в комнату и легла. Мимо нее прошла Варвара Степановна в корсете, густо и наивно напудренная, красная, растерянная и жалкая.

— Я вспомнила,— сказала она,— Растохины съезжают сегодня. Надо отдать 60 рублей. Грозятся в суд подать. На шкапчике яйца лежат. Завари себе, а я схожу в ломбард.

Когда часов в шесть вечера Мархоцкий пришел с лекций домой, он застал в передней упакованные чемоданы. Из комнаты Растохиных доносился шум: очевидно, ссорились. Там же, в передней, Варвара Степановна как-то молниеносно и с отчаянной решимостью одолжила у него 10 рублей. Только очутившись в своей комнате, Мархоцкий рассудил, что сделал глупость.

Комната Мархоцкого отличалась от прочих помещений в квартире Варвары Степановны. Она была чисто убрана, уставлена безделушками и увешана коврами. На столах в порядке были разложены принадлежности для черчения, щегольские трубки, английский табак, костяные белые ножи для разрезывания бумаги.

Станислав не успел еще переодеться в свой домашний костюм, когда в комнату тихо вошла Римма. Прием она встретила сухой.

— Ты сердишься, Стасик? — спросила девушка.

— Я не сержусь,— ответил поляк,— я попросил бы только избавить меня от необходимости быть свидетелем эксцессов вашей матери.

— Скоро все кончится,— сказала Римма,— скоро я буду свободна, Стасик...

Она села рядом с ним на диванчик и обняла его.

— Я мужчина,— начал тогда Стасик,— это платоническое прозябание не для меня, у меня карьера впереди...

Он раздраженно говорил те слова, с которыми обычно, в конце концов, обращаются к некоторым женщинам. Говорить с ними не о чем, нежничать с ними скучно, а переходить к существенному они не хотят.

Стасик говорил, что его снедает желание; это мешает ему работать, вселяет беспокойство; надо кончить в ту или иную сторону; каково будет решение — ему почти все равно, лишь бы решение.

— Отчего сейчас же эти слова? — задумчиво промолвила Римма,— отчего сейчас же «я мужчина» и что-то «надо кончить», отчего такое злое и холодное лицо? Неужели нельзя говорить ни о чем другом? Ведь это тяжело, Стасик. На улице весна, так красиво, а мы злимся...

Стасик не ответил. Оба молчали.

У горизонта потухал пламенный закат, заливая алым блеском далекое небо. С другого конца его нависала легкая, медленно густевшая тьма. Комната была озарена последним румяным светом. На диване Римма все нежнее склонялась к студенту. Происходило то, что случалось у них обычно в этот прекраснейший час дня.

Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, с запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуям свои губы и с искривленной, скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.

Они открыли дверь не скоро. Оказалось, что к Станиславу пришел товарищ. Он проводил плохо скрытым насмешливым взглядом проскользнувшую мимо него Римму. Украдкой она пробралась к себе, переменила кофточку и постояла у холодного оконного стекла, чтобы остыть.

В ломбарде за фамильное серебро Варваре Степановне выдали всего сорок рублей. Десять рублей она одолжила у Мархоцкого, за остальными деньгами пешком бегала к Тихоновым, от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать в трамвае.

Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу

помощник присяжного поверенного Мирлиц, высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами.

Несколько времени тому назад Варвара Степановна из-за недостатка денег затеяла заложить по доверенности домик мужа на Коломне. Мирлиц принес текст закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обстоит не совсем ладно, что следовало бы посоветоваться с кем-нибудь прежде, чем кончать дело, но слишком много всяких тревог, сказала она себе, выпало на ее долю... Бог с ними со всеми, с квартирантами, с дочерьми, с грубостями.

После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского Мускат-Люнеля — он знал слабость Варвары Степановны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче, мясистый нос Варвары Степановны покраснел, кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Римма в новой, перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке.

После того как выпили Мускат-Люнель, Варвара Степановна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степановна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела, ей было стыдно этого и в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни, Бог с ней совсем.

Вернулась Варвара Степановна раньше, чем предполагала, потому что не застала Бойко, к которым ходила в гости. Вернувшись, была поражена тишиной, господствовавшей в квартире. Обыкновенно в это время дурачились со студентами, хохотали, бегали. Только из ванной комнаты доносилась возня. Варвара Степановна пошла в кухню, через оконце которой можно было видеть, что делается в ванной...

Она подошла к окошку и увидела необыкновенную, странную картину, увидела вот что:

Печка, в которой нагревают воду, была накалена докрасна. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки на коленях стояла Римма. В руках ее были щипцы для завивания волос. Она накаливала их на огне. У ванны стояла Алла, нагая. Длинные косы ее были распущены. Из глаз катились слезы.

— Подойди сюда,— сказала она Римме.— Послушай, может быть, бьется...

Римма приложила голову к ее чуть вздутому, нежному животу.

— Не бьется,— ответила она.— Все равно. Сомневаться нельзя.

— Я умру,— прошептала Алла.— Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается.

— Все так делают,— проговорила Римма.— Не хнычь, Алла. Не рожать же тебе.

Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий хрипловатый голос матери:

— Что вы делаете, дети?

Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степановны. Она рассказала все. Ей было легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой было смешное детское горе.

Римма бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой.

Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странно и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала.

Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу:

«Милый Николай! Сегодня приходил Мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю, как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя.

Я знаю — у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует — курсы, стенографию,— девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать, может быть, нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка — твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный, там очень светлая квартирка сдается.

Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив, сливки, дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя *Варя*».



ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей.

Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так — нечто среднее.

Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, неприметен и завуалированно-сумрачен.

Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Сергеевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я произошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».

Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать — читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.

Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том — вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь,— может обидеться: художник; не дать — тоже может обидеться: все-таки служитель.

В читальном зале — служащие повыше: библиотекари. Одни из них — «замечательные» — обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала набок голова и так и осталась.

Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная.

Хорошо бы их описал Гоголь!

У библиотекарей «незамечательных» — начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще, испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.

Публика теперь, во время войны, изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это — «белобилетник». Он в пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник — это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель: что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а в общем, зачем торопиться? Успеется.

Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье раненого офицера, с черной повязкой. Рана его заживает. Он молод и румян. Пообедал, прошелся по Невскому. На Невском уже огни. Совершает победное шествие Вечерняя Биржевка. У Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в Публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождения она приблизительно калужского — широколица, ширококостна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее разрешение вопроса — добротный материал для любви.

Возле нее живописное tableau[1] — неизменная принадлежность каждой Публичной Библиотеки в Российской Империи — спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен. Щеки впали. Лоб в шишках; рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он — неизвестно. Есть ли право на жительство — неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский, неугасимый мученик.

Вблизи стойки библиотекарей с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой

[1] Картина *(фр.)*.

грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется книжным словесам и, исполненная восхищения, заговаривает с соседями. Читает она вот почему — ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно 45. Нормальна ли она? Этим вопросом задаются многие.

Есть еще один постоянный посетитель — жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и в очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие. Усы — цвета пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. Во дни оны был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73-х лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка.

Пишет. Обложен тремя пудами материалов. Любим библиотекарями. Здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска.

Много еще бывает в Публичке всяческого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему под стать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия — трагическое издание лица Гауптмана, корпус — незначителен.

Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды «Русского Инвалида» и «Правительственного Вестника». Есть провинциальные юноши, во время чтения пламенеющие.

Вечер. В зале полумрак. У столов неподвижные фигуры — собрание усталости, любознательности, честолюбия...

За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко — на Невском — кипит жизнь. Далеко — на Карпатах — льется кровь.

C'est la vie[1].

---

[1] Такова жизнь *(фр.)*.

ДЕВЯТЬ

Их девять человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его — Сардаров. Профессия — куплетист. Просьба — издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно — может быть и послесловие.

Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некудà. Номер составлен. Просматривает куплеты:

Ах, жалобно стонет Франц —
Иосиф ив в Вене —
Ах, у мене уже совсем нету
терпенья...

Редактор отвечает, что, к сожалению, и прочее. Журнал нуждается в статьях по кооперации, в заграничных корреспондентах...

Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бонтонно извивается и с шумом уходит.

Вторым номером идет барышня — худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать — только этого она хочет,— стоит ли ей писать? Редактор говорит с ней ласково. Он видит ее иногда на Невском с высоким господином, изредка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность эта опасна. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни.

«Ты хочешь тела,— пишет девушка,— возьми его, мой враг, мой друг, но где душе найти мечту?»

Редактор думает. Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна.

В стихах девушка описывает жизнь «безумно-отпугивающую» или «безумно-прекрасную», прочие маленькие не-

приятности, и еще «звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие, звуки без конца»...

Есть уверенность, что по удачном завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам.

После девушки к редактору входит литератор Лунев, маленький и нервный человек. История здесь сложная. Лунев когда-то разругал редактора. Человек он растерянный, семейный, талантливый и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем — не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом неожиданно для самого себя принес рукописи, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет, ах, как не везет. В приемной у него было небольшое сердцебиение, в кабинете ему заявили, что «вещица» недурна, но, au fond[1], это же не литература, это же... Лунев лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что «вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то — к вам нехорошо,— все это можно разно понять, вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже, честь имею»... У Лунева выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи, и хочет он сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а впрочем, бог его знает, чего он хочет...

Лунева сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж — дама, розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов. Глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок — девяти лет, и вот этот сынок — «вы знаете,— он пишет по целым дням, мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге, уж на что мой муж, он служит в мелиоративном отделе, уж на что положительный человек, совсем не признает новой литературы, ни, знаете, Андреева, ни Нагродскую, но и он искренно смеялся, я принесла вам три тетради»...

Второй персонаж — Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается, дела у него к редактору, в сущности, нет, говорить ему, собственно, не о чем, но он подписчик, приехал он так — побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах,— Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны.

---

[1] По существу *(фр.)*.

Самый печальный посетитель — это Корб. Он еврей, истинный Агасфер. Родился в Литве, был ранен во время погрома в одном из южных городов. С тех пор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке. Во время войны очутился почему-то в Антверпене и 44-х лет от роду поступил в иностранный легион. У Мобежа его контузили в голову. Она у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то пособие, снимает на Песках угол в смрадном подвале и пишет драму: «Царь Израильский». У Корба очень болит голова, по ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. Хозяин его, упитанный и снисходительный человек, курящий черные сигары по 4 коп. штука, сначала сердился, но потом, побежденный кротостью и трудолюбием Корба, исписывавшего сотни листов, полюбил его. На Корбе старый, выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах — и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так: «Звони в колокола, погибла Иудея»...

После Корба остаются трое. Один из них молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающийся в кресло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, вырезки на столе, портреты сотрудников... Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно... Он работал в прессе... В какой прессе? В провинциальной... А вот интересно, в скольких зкземплярах расходится ваш журнал, какая оценка труда?.. Молодому человеку объясняют, что на такие вопросы не всегда отвечают и что если он пишет, то — пожалуйста, а если не пишет, то... Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например... редактором.

Выходит «редактор», входит Смурский... Тоже с биографией человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома, кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитке и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало.

А девятый посетитель вот кто — Степан Драко, «путешественник пешком вокруг света, король жизни и лектор».



ОДЕССА

Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями — создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит — противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще — одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влия-

ние русского юга, русской Одессы, может быть (qui sait?[1]), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее,— одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно — quand meme et màlgrè tout[2] — интересной.

Я видел Уточкина, одессита pur sang[3], беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешечком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но

---

[1] Кто знает? *(фр.)*

[2] Все же и несмотря ни на что *(фр.)*.

[3] Чистокровный *(фр.)*.

заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса,— в конце концов скажет читатель,— такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur[1], в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно,— но все же, quand meme et màlgrè tout[2] необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно,— был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

---

[1] Честное слово *(фр.)*.

[2] Все же и несмотря ни на что *(фр.)*.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает — почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает; громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все.

В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м[ожет] б[ыть] «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем.

ВДОХНОВЕНИЕ

Мне хотелось спать, и я был зол. В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь»,— сказал он и вытащил из кармана бутылку вина.

«Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется — это настоящее. Выпьем, друг».

Лицо у Мишки было бледное и потное.

«Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле,— сказал он.— Счастье — это вдохновение. Я писал вчера всю ночь и не заметил, как рассвело. Потом гулял по городу. Рано утром город удивителен: роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно, и движется день — холодно-голубой, призрачный и нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую — эта повесть «перелом в моей жизни». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука — тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в конце пальцами.

«Понимаешь — эту повесть надо пристроить,— продолжал он.— Везде примут. Теперь гадость печатают. Главное — протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает...»

«Мишка,— сказал я,— ты бы просмотрел свою повесть, она у тебя совсем без помарок»...

«Пустяки, потом... Дома, понимаешь, смеются. Rira bien, qui rira le dernier[1]. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут»... Бутылка подходила к концу.

«Брось пить, Мишка»...

«Возбудиться нужно,— ответил он,— вот за вчерашнюю ночь я 40 папирос выкурил»... Он вынул тетрадь. Она была очень толстая, очень. Я подумал — не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухла жила, на криво и жалко болтавшийся галстучек и сказал:

---

[1] Смеется тот, кто смеется последним *(фр.)*.

«Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь — не забудь»...

Мишка улыбнулся.

«Мерзавец,— ответил он,— ты совсем не ценишь моего знакомства».

Я удобно уселся. Мишка склонился над тетрадью. В комнате были тишина и сумрак.

«В этой повести,— сказал Мишка,— я хотел дать новое произведение, окутанное дымкой мечты, нежность, полутени и намек... Мне противна, противна грубость нашей жизни»...

«Довольно предисловий,— ответил я,— читай»... Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута.

Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно — каков человек конторщик, какова она.

Я посмотрел на Мишку. Глаза его разгорались. Пальцы комкали потухавшие папиросы. Лицо его — тупое и узкое, тягостно обрубленное ненужным мастером, толстый, торчащий и желтый нос, бледно-розовые, вспухшие губы, все светлело, медлительно, с неотвратимо внедрявшейся силой исполнялось творческого и радостно-уверенного восторга.

Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня...

«Видишь ли, Мишка,— медленно сказал я,— видишь ли, об этом надо подумать... Идея у тебя очень оригинальная, есть нежность... Но, видишь ли, разработка... Надо, понимаешь, разгладить»...

«Я вынашивал эту вещь три года,— ответил Мишка,— конечно, есть шероховатости, но главное?..»

Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу.

«Мишка,— тогда сказал я,— ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но ca viendra[1]. Черт побери, много же у тебя в голове помещается»...

Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были как у ребенка — ласковые, сияющие и счастливые.

«Выйдем на улицу,— сказал он,— выйдем, мне душно»...

Улицы были темны и тихи.

---

[1] Это придет *(фр.)*.

Мишка крепко сжимал мою руку и говорил:

«Я неошибочно чувствую — у меня талант. Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью — в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заговорил тише: «Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю — я делаю, как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно три часа проваляться, чтоб заснуть. По утрам голова болит, тупо, ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина, когда душа горит. Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы... Знаешь, дым стоит под потолком»...

Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь. Порывистое, худое, желтое, счастливое лицо.

«Мы еще повоюем, черт возьми,— сказал он и сильнее сжал мою руку.— В Петрограде все выбиваются».

«Все-таки, Мишка,— сказал я,— работать надо»...

«Сашка, друг,— ответил он. И крепко, покровительственно усмехнулся.— Я хитер, что знаю — то знаю, не беспокойся, не почию на лаврах. Приходи завтра. Посмотрим еще разок».

«Ладно,— проговорил я,— приду».

Мы расстались. Я пошел домой. Мне было очень грустно.

DOUDOU

Я был тогда санитаром в Н-ском госпитале. Однажды утром генерал С.— попечитель госпиталя — привел с собой молодую девушку и порекомендовал ее в качестве сестры милосердия. Конечно, приняли.

Звалась новая сестра la petite Doudou[1], была содержанкой генерала и по вечерам танцевала в кафешантане.

У нее была гибкая, вязкая гармоничная походка, прелестная, но чуть угловатая походка танцовщицы. Для того чтобы увидеть ее, я пошел потом в шантан. Она удивительно танцевала tango acrobatique[2], с неясной нежной страстностью и целомудренно, сказал бы я.

В госпитале она благоговела перед всеми солдатами и ухаживала за ними, как прислуга. Однажды, когда старший врач, проходя по палате, увидел, как Doudou, стоя на коленях, тужится застегнуть кальсоны у корявого, апатичного мужичонки Дыбы, он сказал:

«Ты бы, брат Дыба, постыдился. Мужику поручил бы».

Doudou подняла тогда ласковое, тихое лицо и промолвила: «Oh mon docteur[3], разве я не видела мужчин в кальсонах?»

Помню, на третий день Пасхи привезли к нам разбившегося летчика-француза — m-r Drouot. У него были раздроблены обе ноги. Он был бретонец, сильный, черный и молчаливый. Твердые щеки чуть отливали синевой. Так странно было видеть — мощное туловище, точеная крутая шея и разбитые, беспомощные ноги.

Положили его в отдельной комнатке. Doudou часами просиживала у него. Они тихо и душевно разговаривали. Drouot рассказывал о полетах, о том, что он одинок: никого

---

[1] Крошка Дуду *(фр.)*.
[2] Акробатическое танго *(фр.)*.
[3] О, доктор *(фр.)*.

из близких, и все так грустно. Он влюбился в нее (это чувствовалось ясно), но смотрел на нее так, как нужно: нежно, страстно и задумчиво. А Doudou, прижимая руки к груди, с тихим удивлением говорила в коридоре сестре Кирдецовой:

«Il m'aime, ma soeur, il m'aime»[1].

В ночь на субботу она была дежурной и сидела у Drouot. Я находился в соседней комнате и видел их. Когда Doudou пришла, он сказал:

«Doudou, ma bien aimée[2]»,— склонил голову ей на грудь и медленно стал целовать темно-синюю шелковую ее кофточку. Doudou стояла недвижимо. Пальцы ее вздрагивали и теребили пуговицы кофточки.

«Чего Вы хотите?» — спросила Doudou.

Он ответил что-то.

Doudou задумчиво, внимательно оглядела его и медлительно отвернула кружево воротника. Показалась мягкая белая грудь. Drouot вздохнул, вздрогнул и припал к ней. У Doudou от боли призакрылись глаза. Все же она заметила, что ему неудобно, и расстегнула еще и лиф. Он притянул Doudou к себе, но сделал резкое движение и застонал.

«Вам больно! — сказала Doudou,— не надо больше, Вам нельзя...»

«Doudou,— ответил он,— я умру, если Вы уйдете».

Я отошел от окна. Все же я видел еще жалкое и бледное лицо Doudou, видел, как растерянно старалась она не сделать ему больно, слышал стон страсти и боли.

История получила огласку. Doudou уволили, проще — выгнали. В последнюю минуту она стояла в вестибюле и прощалась со мной. Из глаз ее выкатывались тяжелые и светлые слезы, но она улыбалась, чтобы не огорчить меня.

«Прощайте,— сказала Doudou и протянула мне тонкую руку в светлой перчатке,— adieu, mon ami...»[3]. Потом помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза: «Il géle, il meurt, il est seul, il me prie, dirai-je non?»[4]

В это время в глубине вестибюля проковылял Дыба — грязнейший мужичонка. «Клянусь Вам,— промолвила тогда Doudou тихим и вздрагивающим голосом,— клянусь Вам, попроси меня Дыба, я сделала бы то же».

---

[1] Он любит меня, сестра, любит *(фр.)*.

[2] Дуду, моя любимая *(фр.)*.

[3] Прощайте, мой друг... *(фр.)*

[4] Его знобит, он умирает, совсем один, он просит меня, неужели сказать «нет»? *(фр.)*

В ЩЕЛОЧКУ

Есть у меня знакомая — мадам Кебчик. В свое время, уверяет мадам Кебчик, она меньше пяти рублей «ни за какие благи» не брала.

Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире две девицы — Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару. Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое — отдушина под потолком — в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

— По вечерам Вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это пять рублей.

Фанни Осиповна сказала:

— Ах, какой балованный мужчина! — и согласилась.

По пяти рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости.

Все шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие. Я стоял на лестнице. Электричества Маруся, к счастью, не погасила. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и веселый малый с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно: снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует — нет ли в подошве изъяну.

Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался слезать. В это мгновенье я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мной. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком.

Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются — Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость.

Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо:

— Мерзавец, ах, какой мерзавец...

Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует отчего-то его руку и плачет.

Плачет и говорит, целуя:

— Милый, боже мой, милый...

Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанни Осиповне.

Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю: отчего девушка целовала долговязого?

— Мадам Кебчик,— говорю я,— приставьте лестницу в последний раз. Я дам десять рублей.

— Вы слетели с ума, как ваша лестница,— отвечает хозяйка и соглашается.

И вот я снова стою у отдушины, заглядываю снова и вижу — Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы.

— Милый мой,— шепчет она,— боже мой, милый мой,— и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — долговязый.

И долговязый деловито блаженствует.

ШАБОС-НАХАМУ

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки,— ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две,— съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь,— ответил он.— И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь,— ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле,— сказали ее глаза,— ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к рабби Борухл».

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять,— Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга

плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду.— Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге,— подумал Гершеле.— Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь,— все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка,— ответил Гершеле.— Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть шабос-нахаму,— подтвердил Гершеле.— Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи,— закричала женщина,— и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле.— Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут,— уныло промолвил Гершеле.— Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там,— продолжал Гершеле,— холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша...— прошептала пораженная хозяйка.

— На пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песя,— задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу,— склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде.— Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.


На свете много
живёт
дураков

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет,— папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем,— напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел.— Или погодите немного, скоро муж придет.

— Нет,— ответил Гершеле.— Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле,— сказал он себе,— что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света,— ответил Гершеле уныло.— Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил,— завопил корчмарь.— И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать, какой дорогой,— горько прошептал Гершеле.— Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.



НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Печатаемые здесь рассказы — начало моих заметок о войне. Содержание их заимствовано из книг, написанных французскими солдатами и офицерами, участниками боев. В некоторых отрывках изменена фабула и форма изложения, в других я старался ближе держаться к оригиналу.

НА ПОЛЕ ЧЕСТИ

Германские батареи бомбардировали деревни из тяжелых орудий. Крестьяне бежали к Парижу. Они тащили за собой калек, уродцев, рожениц, овец, собак, утварь. Небо, блиставшее синевой и зноем, медлительно багровело, распухало и обволакивалось дымом.

Сектор у N занимал 37 пехотный полк. Потери были огромны. Полк готовился к контратаке. Капитан Ratin[1] обходил траншеи. Солнце было в зените. Из соседнего участка сообщили, что в 4 роте пали все офицеры. 4 рота продолжает сопротивление.

В 300 метрах от траншеи Ratin увидел человеческую фигуру. Это был солдат Биду, дурачок Биду. Он сидел скорчившись на дне сырой ямы. Здесь когда-то разорвался снаряд. Солдат занимался тем, чем утешаются дрянные старикашки в деревнях и порочные мальчишки в общественных уборных. Не будем говорить об этом.

— Застегнись, Биду,— с омерзением сказал капитан.— Почему ты здесь?

---

[1] Ратэн *(фр.)*.

— Я... я не могу этого сказать вам... Я боюсь, капитан!..

— Ты нашел здесь жену, свинья! Ты осмелился сказать мне в лицо, что ты трус, Биду. Ты оставил товарищей в тот час, когда полк атакует. Bien, mon cochon[1].

— Клянусь вам, капитан!.. Я все испробовал... Биду, сказал я себе, будь рассудителен... Я выпил бутыль чистого спирту для храбрости. Je ne peux pas, capitaine[2]. Я боюсь, капитан!..

Дурачок положил голову на колени, обнял ее двумя руками и заплакал. Потом он взглянул на капитана, и в щелках его свиных глазок отразилась робкая и нежная надежда.

Ratin был вспыльчив. Он потерял двух братьев на войне, и у него не зажила рана на шее. На солдата обрушилась кощунственная брань, в него полетел сухой град тех отвратительных, яростных и бессмысленных слов, от которых кровь стучит в висках, после которых один человек убивает другого.

Вместо ответа Биду тихонько покачивал своей круглой рыжей лохматой головой, твердой головой деревенского идиота.

Никакими силами нельзя было заставить его подняться. Тогда капитан подошел к самому краю ямы и прошипел совершенно тихо:

— Встань, Биду, или я оболью тебя с головы до ног.

Он сделал, как сказал. С капитаном Ratin шутки были плохи. Зловонная струя с силой брызнула в лицо солдата. Биду был дурак, деревенский дурак, но он не перенес обиды. Он закричал нечеловеческим и протяжным криком; этот тоскливый, одинокий, затерявшийся вопль прошел по взбороненным полям; солдат рванулся, заломил руки и бросился бежать полем к немецким траншеям. Неприятельская пуля пробила ему грудь. Ratin двумя выстрелами прикончил его из револьвера. Тело солдата даже не дернулось. Оно осталось на полдороге, между вражескими линиями.

Так умер Селестин Биду, нормандский крестьянин, родом из Ори, 21 года — на обагренных кровью полях Франции.

То, что я рассказал здесь,— правда. Об этом написано в книге капитана Гастона Видаля «Figures et anecdotes de la grand Guerre»[3]. Он был этому свидетелем. Он тоже защищал Францию, капитан Видаль.

---

[1] Хорошо, мой поросенок *(фр.)*.

[2] Я не могу, капитан *(фр.)*.

[1] «Типы и анекдоты большой войны» *(фр.)*.

Капитан Жемье был превосходнейший человек, к тому же философ. На поле битвы он не знал колебаний, в частной жизни умел прощать маленькие обиды. Это немало для человека — прощать маленькие обиды. Он любил Францию с нежностью, пожиравшей его сердце, поэтому ненависть его к варварам, осквернившим древнюю ее землю, была неугасима, беспощадна, длительна, как жизнь.

Что еще сказать о Жемье? Он любил свою жену, сделал добрыми гражданами своих детей, был французом, патриотом, книжником, парижанином и любителем красивых вещей.

И вот — в одно весеннее сияющее розовое утро капитану Жемье доложили, что между французскими и неприятельскими линиями задержан безоружный солдат. Намерение дезертировать было очевидно, вина несомненна, солдата доставили под стражей.

— Это ты, Божи?

— Это я, капитан,— отдавая честь, ответил солдат.

— Ты воспользовался зарей, чтоб подышать чистым воздухом?

Молчание.

— C'est bien[1]. Оставьте нас.

Конвой удалился. Жемье запер дверь на ключ. Солдату было двадцать лет.

— Ты знаешь, что тебя ожидает? Voyons[2], объяснись.

Божи ничего не скрыл. Он сказал, что устал от войны.

— Я очень устал от войны, mon capitaine![3] Снаряды мешают спать шестую ночь...

Война ему отвратительна. Он не шел предавать, он шел сдаться.

Вообще говоря, он был неожиданно красноречив, этот маленький Божи. Он сказал, что ему всего двадцать лет, mon Dieu, c'est naturel[4], в двадцать лет можно совершить ошибку. У него есть мать, невеста, des bons amis[5]. Перед ним вся жизнь, перед этим двадцатилетним Божи, и он загладит свою вину перед Францией.

— Капитан, что скажет моя мать, когда узнает, что меня расстреляли, как последнего негодяя?

---

[1] Хорошо *(фр.)*.
[2] Посмотрим *(фр.)*.
[3] Мой капитан *(фр.)*.
[4] Мой бог, это естественно *(фр.)*.
[5] Хорошие друзья *(фр.)*.

Солдат упал на колени.

— Ты не разжалобишь меня, Божи! — ответил капитан.— Тебя видели солдаты. Пять таких солдат, как ты, и рота отравлена. C'est la defaite. Cela jamais[1]. Ты умрешь, Божи, но я спасаю тебя в твою последнюю минуту. В мэрии не будет известно о твоем позоре. Матери сообщат, что ты пал на поле чести. Идем.

Солдат последовал за начальником. Когда они достигли леса, капитан остановился, вынул револьвер и протянул его Божи.

— Вот способ избегнуть суда. Застрелись, Божи! Я вернусь через пять минут. Все должно быть кончено.

Жемье удалился. Ни единый звук не нарушил тишину леса. Офицер вернулся. Божи ждал его сгорбившись.

— Я не могу, капитан,— прошептал солдат.— У меня не хватает силы...

И началась та же канитель — мать, невеста, друзья, впереди жизнь...

— Я даю тебе еще пять минут, Божи! Не заставляй меня гулять без дела.

Когда капитан вернулся, солдат всхлипывал, лежа на земле. Пальцы его, лежавшие на револьвере, слабо шевелились.

Тогда Жемье поднял солдата и сказал, глядя ему в глаза, тихим и душевным голосом:

— Друг мой, Божи, может быть, ты не знаешь, как это делается?

Не торопясь, он вынул револьвер из мокрых рук юноши, отошел на три шага и прострелил ему череп.

* * *

И об этом происшествии рассказано в книге Гастона Видаля. И действительно, солдата звали Божи. Правильно ли данное мною капитану имя Жемье — этого я точно не знаю. Рассказ Видаля посвящен некоему Фирмену Жемье в знак глубокого благоговения. Я думаю, посвящения достаточно. Конечно, капитана звали Жемье. И потом, Видаль свидетельствует, что капитан действительно был патриот, солдат, добрый отец и человек, умевший прощать маленькие обиды. А это немало для человека — прощать маленькие обиды.

---

[1] Поражение. Ну никогда *(фр.)*.

Мы занимаем деревню, отбитую у неприятеля. Это маленькое пикардийское селеньице — прелестное и скромное. Нашей роте досталось кладбище. Вокруг нас сломанные распятия, куски надгробных памятников, плиты, развороченные молотом неведомого осквернителя. Истлевшие трупы вываливаются из гробов, разбитых снарядами. Картина достойна тебя, Микельанджело!

Солдату не до мистики. Поле черепов превращено в траншеи. На то война. Мы живы еще. Если нам суждено увеличить население этого прохладного уголка, что ж — мы сначала заставили гниющих стариков поплясать под марш наших пулеметов.

Снаряд приподнял одну из надгробных плит. Это сделано для того, чтобы предложить мне убежище, никакого сомнения. Я водворился в этой дыре, que voules vous, on loge, ou on peut[1].

И вот — весеннее, светлое ясное утро. Я лежу на покойниках, смотрю на жирную траву, думаю о Гамлете. Он был неплохой философ, этот бедный принц. Черепа отвечали ему человеческими словами. В наше время это искусство пригодилось бы лейтенанту французской армии.

Меня окликает капрал:

— Лейтенант, вас хочет видеть какой-то штатский.

Какого дьявола ищет штатский в этой преисподне?

Персонаж делает свой выход. Поношенное, выцветшее существо. Оно облачено в воскресный сюртук. Сюртук забрызган грязью. За робкими плечами болтается мешок, на половину пустой. В нем, должно быть, мороженый картофель; каждый раз, когда старик делает движение, что-то трещит в мешке.

— Eh bien[2], в чем дело?

— Моя фамилия, видите ли, монсье Мареско,— шепчет штатский и кланяется.— Потому я и пришел...

— Дальше?

— Я хотел бы похоронить мадам Мареско и все семейство, господин лейтенант!

— Как вы сказали?

— Моя фамилия, видите ли — папаша Мареско.— Старик приподнимает шляпу над серым лбом! — Может быть, слышали, господин лейтенант!

---

[1] Что вы хотите, живут где могут *(фр.)*.

[2] Хорошо *(фр.)*.

Папаша Мареско? Я слышал эти слова. Конечно, я их слышал. Вот она — вся история. Дня три тому назад, в начале нашей оккупации, всем мирным гражданам был отдан приказ эвакуироваться. Одни ушли, другие остались; оставшиеся засели в погребах. Бомбардировка победила мужество, защита камня оказалась ненадежной. Появились убитые. Целое семейство задохлось под развалинами подземелья. И это было семейство Мареско. Их фамилия осталась у меня в памяти—настоящая французская фамилия. Их было четверо — отец, мать и две дочери. Только отец спасся.

— Мой бедный друг, так это вы, Мареско? Все это очень грустно. Зачем вам понадобился это несчастный погреб, к чему?

Меня перебил капрал.

— Они, кажется, начинают, лейтенант...

Этого следовало ожидать. Немцы заметили движение в наших траншеях. Залп по правому флангу, потом левее. Я схватил папашу Мареско за ворот и стащил его вниз. Мои молодцы, втянув головы в плечи, тихонько сидели под прикрытием, никто носу не высунул.

Воскресный сюртук бледнел и ежился. Недалеко от нас промяукала кошечка в 12 сантиметров.

— Что вам нужно, папаша, говорите живее. Вы видите, здесь кусаются.

— Mon lieutenant[1], я все сказал вам, я хотел бы похоронить мое семейство.

— Отлично, я прикажу сходить за телами.

— Тела при мне, господин лейтенант!

— Что такое?

Он указал на мешок. В нем оказались скудные остатки семьи папаши Мареско.

Я вздрогнул от ужаса.

— Хорошо, старина, я прикажу их похоронить.

Он посмотрел на меня, как на человека, выпалившего совершенную глупость.

— Когда стихнет этот проклятый шум,— начал я снова,— мы выроем им превосходную могилу. Все будет сделано, perê Marescot[2], будьте спокойны...

— Но у меня фамильный склеп...

— Отлично, укажите его нам.

— Но, но...

— Что такое — но?

— Но, mon lieutenant, мы в нем сидим все время.

---

[1] Мой лейтенант *(фр.)*.

[2] Папаша Мареско *(фр.)*.

Заповедано — не убий. Вот почему Стон — квакер записался в колонну автомобилистов. Он помогал своему отечеству, не совершая страшного греха человекоубийства. Воспитание и богатство дозволяли ему занять более высокую должность, но, раб своей совести, он принимал со смирением невидную работу и общество людей, казавшихся ему грубыми.

Что был Стон? Лысый лоб у вершины палки. Господь даровал ему тело лишь для того, чтобы возвысить мысли над жалкими скорбями мира сего. Каждое его движение было не более как победа, одержанная духом над материей. У руля своего автомобиля, каковы бы ни были грозные обстоятельства, он держался с деревянной неподвижностью проповедника на кафедре. Никто не видел, как Стон смеется.

Однажды утром, будучи свободен от службы, он возымел мысль выйти на прогулку для того, чтобы преклониться перед Создателем в его творениях. С огромной Библией под мышкой Стон пересекал длинными своими ногами лужайки, возрожденные весной. Вид ясного неба, щебетание воробьев в траве — все заливало его радостью.

Стон сел, открыл свою Библию, но в ту минуту увидел у изгиба аллеи непривязанную лошадь, с торчащими от худобы боками. Тотчас же голос долга с силой заговорил в нем,— у себя на родине Стон был членом общества покровительства животным. Он приблизился к скотине, погладил ее мягкие губы и, забыв о прогулке, направился к конюшне. По дороге, не выпуская из рук своей Библии с застежками,— он напоил лошадь у колодца.

Конюшенным мальчиком состоял некий юноша по фамилии Бэккер. Нрав этого молодого человека издавна составлял причину справедливого гнева Стона: Бэккер оставлял на каждом привале безутешных невест.

— Я бы мог,— сказал ему квакер,— объявить о вас майору, но надеюсь, что на этот раз и моих слов будет достаточно. Бедная, больная лошадь, которую я привел и за которой вы будете ухаживать, достойна лучшей участи, чем вы.

И он удалился размеренным, торжественным шагом, не обращая внимания на гоготание, раздававшееся позади него. Четырехугольный, выдвинутый вперед подбородок юноши с убедительностью свидетельствовал о непобедимом упорстве.

Прошло несколько дней. Лошадь все время бродила без призору. На этот раз Стон сказал Бэккеру с твердостью:

— Исчадие сатаны,— так приблизительно начиналась эта речь.— Всевышним позволено нам, может быть, погубить свою душу, но грехи ваши не должны всею тяжестью пасть на невинную лошадь. Поглядите на нее, негодяй. Она расхаживает здесь в величайшем беспокойстве. Я уверен, что вы грубо обращаетесь с ней, как и пристало преступнику. Еще раз повторяю вам, сын греха: идите к гибели с той поспешностью, какая вам покажется наилучшей, но заботьтесь об этой лошади, иначе вы будете иметь дело со мной.

С этого дня Стон счел себя облеченным Провидением особой миссией — заботой о судьбе обиженного четвероногого. Люди, по грехам их, казались ему малодостойными уважения; к животным же он испытывал неописуемую жалость. Утомительные занятия не препятствовали ему держать нерушимым его обещание Богу.

Часто по ночам квакер выбирался из своего автомобиля — он спал в нем, скорчившись на сиденье — для того, чтобы убедиться, что лошадь находится в приличном отдалении от бэккеровского сапога, окованного гвоздями. В хорошую погоду он сам садился на своего любимца, и кляча, важно попрыгивая, рысцою носила по зеленеющим полям его тощее, длинное тело. С своим бесцветным желтым лицом, сжатыми бледными губами, Стон вызывал в памяти бессмертную и потешную фигуру рыцаря печального образа, трусящего на Росинанте среди цветов и возделанных полей.

Усердие Стона приносило плоды. Чувствуя себя под неусыпным наблюдением, грум всячески изловчался, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Но наедине с лошадью он вымещал на ней ярость своей низкой души. Испытывая необъяснимый страх перед молчаливым квакером — он ненавидел Стона за этот страх и презирал себя. У него не было другого средства поднять себя в собственных глазах, как издеваться над лошадью, которой покровительствовал Стон. Такова презренная гордость человека. Запираясь с лошадью в конюшне, грум колол ее отвислые волосатые губы раскаленными иголками, сек ее проволочным кнутом по спине и сыпал ей соль в глаза. Когда измученное, ослепленное едким порошком животное, оставленное наконец в покое, боязливо пробиралось к стойлу, качаясь как пьяный, мальчишка ложился на живот и хохотал во все горло, наслаждаясь местью.

На фронте произошла перемена. Дивизия, к составу которой принадлежал Стон, была переведена на более опасное место. Религиозные его верования не разрешали ему убивать, но дозволяли быть убитым. Германцы наступали на

Изер. Стон перевозил раненых. Вокруг него с поспешностью умирали люди разных стран. Старые генералы, чисто вымытые, с припухлостями на лице, стояли на холмиках и оглядывали окрестность в полевые бинокли. Гремела не переставая канонада. Земля издавала зловоние, солнце копалось в развороченных трупах.

Стон забыл свою лошадь. Через неделю совесть принялась за грызущую свою работу. Улучив время, квакер отправился на старое место. Он нашел лошадь в темном сарае, сбитом из дырявых досок. Животное еле держалось на ногах от слабости, глаза его были затянуты мутной пленкой. Лошадь слабо заржала, увидев своего верного друга, и положила ему на руки падавшую морду.

— Я ничем не виноват,— дерзко сказал Стону грум,— нам не выдают овса.

— Хорошо,— ответил Стон,— я добуду овес.

Он посмотрел на небо, сиявшее через дыру в потолке, и вышел.

Я встретил его через несколько часов и спросил — опасна ли дорога? Он казался более сосредоточенным, чем обыкновенно. Последние кровавые дни наложили на него тяжкую печать, он как будто носил траур по самом себе.

— Выехать было нетрудно,— глухо проговорил он,— в конце пути могут произойти неприятности.— И прибавил неожиданно: — Я выехал в фуражировку. Мне нужен овес.

На следующее утро солдаты, отправленные на поиски, нашли его убитым у руля автомобиля. Пуля пробила череп. Машина осталась во рву.

Так умер Стон — квакер из-за любви к лошади.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

...Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

...Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo»[1], к тому же специалисты по своей бранже[2]. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное слово, верное дело,

---

[1] Первые из первых *(лат.)*.

[2] Б р а н ж а *(угол.)* — дело.

спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня,— говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете,— отвечаю я королю,— так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка,— сказал ей тогда Беня,— я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу,— говорит он,— вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично,— подхватывает Беня Крик,— напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис,— обращается ко мне король,— в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности,— сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман,— сказал я ему,— вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum[1], как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом: Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя,— сказал он,— когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно,— ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция,— прошептал кто-то невоздержанный,— тикай, бо задавим...

— Молчать,— произнес Беня Крик, прыгая с антресолей.— Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

---

[1] И с этим покончено *(нем.)*.

Еще немного, и произошло бы несчастье, Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот,— прокричал тогда Колька.— Беня хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут,— начал он дельным голосом,— в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз,— ответил ему Штифт.— Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля,— торжественно и тихим голосом продолжал король,— веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они встали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля,— спросил наконец король,— кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня,— восклицает тогда Коля,— неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет,— обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах,— закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что,— ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз,— он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса,— кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением,— за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Бенчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король,— нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.



ВЕЧЕР У ИМПЕРАТРИЦЫ

В кармане кетовая икра и фунт хлеба. Приюта нет. Я стою на Аничковом мосту, прижавшись к Клодтовым коням. Разбухший вечер двигается с Морской. По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазией. Аничков дворец вплывает в мои глаза всей своей плоской громадой. Вот он — угол.

Проскользнуть через вестибюль незамеченным — это нетрудно. Дворец пуст. Неторопливая мышь царапается в боковой комнате. Я в библиотеке вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старый немец, стоя посредине комнаты, закладывает в уши вату. Он собирается уходить. Удача целует меня в губы. Немец мне знаком. Когда-то я напечатал бесплатно его заявление об утере паспорта. Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем — я буду ждать Луначарского в библиотеке, потому что, видите ли, мне надобен Луначарский.

Мелодически тикающие часы смыли немца из комнаты. Я один. Хрустальные шары пылают надо мной желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъяснимая теплота. Глубокие диваны облекают покоем мое иззябшее тело.

Поверхностный обыск дает результаты. Я обнаруживаю в камине картофельный пирог, кастрюлю, щепотку чая и сахар. И вот — спиртовая машинка высунула-таки свой голубоватый язычок. В этот вечер я поужинал по-человечески. Я разостлал на резном китайском столике, отсвечивавшем древним лаком, тончайшую салфетку. Каждый кусок этого сурового пайкового хлеба я запивал чаем слад-

ким, дымящимся, играющим коралловыми звездами на граненых стенках стакана. Бархат сидений поглаживал пухлыми ладонями мои худые бока. За окном на петербургский гранит, помертвевший от стужи, ложились пушистые кристаллы снега.

Свет — сияющими лимонными столбами струился по теплым стенам, трогал корешки книг, и они мерцали ему в ответ голубым золотом.

Книги — истлевшие и душистые страницы,— они отвели меня в далекую Данию. Больше полустолетия тому назад их дарили юной принцессе, отправлявшейся из своей маленькой и целомудренной страны в свирепую Россию. На строгих титулах, выцветшими чернилами, в трех косых строчках, прощались с принцессой воспитавшие ее придворные дамы и подруги из Копенгагена — дочери государственных советников, учителя—пергаментные профессора из лицея и отец-король и мать-королева, плачущая мать. Длинные полки маленьких пузатых книг с почерневшими золотыми обрезами, детские евангелия, перепачканные чернилами, робкими кляксами, неуклюжими самодельными обращениями к Господу Иисусу, сафьяновые томики Ламартина и Шенье с засохшими, рассыпающимися в пыль цветами. Я перебираю эти истончившиеся листки, пережившие забвение, образ неведомой страны, нить необычайных дней возникает передо мной — низкие ограды вокруг королевских садов, роса на подстриженных газонах, сонные изумруды каналов и длинный король с шоколадными баками, покойное гудение колокола над дворцовой церковью и, может быть, любовь, девическая любовь, короткий шепот в тяжелых залах. Маленькая женщина с притертым пудрой лицом, пронырливая интриганка с неутомимой страстью к властвованью, яростная самка среди преображенских гренадеров, безжалостная, но внимательная мать, раздавленная немкой,— императрица Мария Федоровна развивает передо мной свиток своей глухой и долгой жизни.

Только поздним вечером я оторвался от этой жалкой и трогательной летописи, от призраков с окровавленными черепами. У вычурного коричневого потолка по-прежнему спокойно пылали хрустальные шары, налитые роящейся пылью. Возле драных моих башмаков, на синих коврах застыли свинцовые ручейки. Утомленный работой мозга и этим жаром тишины, я заснул.

Ночью — по тускло блистающему паркету коридоров — я пробирался к выходу. Кабинет Александра III, высокая коробка с заколоченными окнами, выходящими на Невский.

Комнаты Михаила Александровича — веселенькая квартира просвещенного офицера, занимающегося гимнастикой, стены обтянуты светленькой материей в бледно-розовых разводах, на низких каминах фарфоровые безделушки, подделанные под наивность и ненужную мясистость семнадцатого века.

Я долго ждал, прижавшись к колонне, пока не заснул последний придворный лакей. Он свесил сморщенные, по давней привычке, выбритые щеки, фонарь слабо золотил его упавший высокий лоб.

В первом часу ночи я был на улице. Невский принял меня в свое бессонное чрево. Я пошел спать на Николаевский вокзал. Те, кто бежал отсюда, пусть знают, что в Петербурге есть где провести вечер бездомному поэту.

ХОДЯ

Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце. И сердце аптеки издохло.

Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. Два часа ночи. Конец. Неумолимая ночь.

Девка и личность сидят на перилах кафе «Бристоль». Две скулящие спины. Две иззябшие вороны на голом кусте.

— Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, то ведите за собой народные массы, матереубийцы... Но, шалишь... Они держатся на латышах, а латыши — это монголы, Глафира!..

У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты.

— Христом молю вас, Аристарх Терентьич, отойдите на Надеждинскую. Когда я с мужчиной — кто же познакомится?

Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта.

Тысяча пил стонет в окостенелом снегу переулков. Звезда блестит в чернильной тверди.

Китаец, остановившись, бормочет сквозь стиснутые зубы:

— Ты грязный, э?

— Я чистенькая, товарищ...

— Фунт.

На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха.

— Милый,— хрипло говорит девка,— со мной папаша крестный... Ты разрешишь ему поспать у стенки?..

Китаец медлительно кивает головой. О, мудрая важность Востока!

— Аристарх Терентьич,— прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличет девка небрежно,— мой знакомый просют вас до себе в компанию...

Личность полна оживления.

— По причинам, от дирекции не зависящим,— не у дел...— шепчет она, играя плечами,— а было прошлое с кое-какой начинкой. Именно. Весьма лестно познакомиться.— Шереметев.

В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег. Поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму.

— Куда? — просипела Глафира, суча ногами.

Под спиной у нее натекло пятно от пота.

Китаец подошел к Аристарху, всхрапывавшему на полу у рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру.

— Отчего же, Васюк,— пролепетал с полу Аристарх,— ты обязательный, право,— и мелким шажком побежал к кровати.

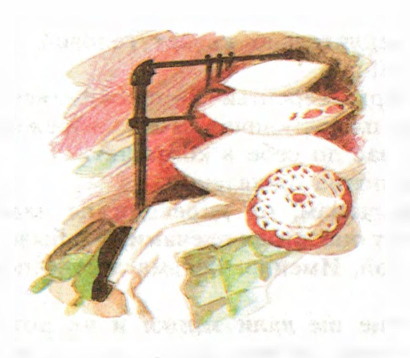
— Уйди, пес,— сказала Глафира,— убил меня твой китаец.

— Она не слушается, Васюк,— прокричал Аристарх поспешно,— ты приказал, а она не слушается.

— Ми друг,— сказал китаец.— Он — можна. Э, стерфь...

— Вы пожилые, Аристарх Терентьич,— прошептала девушка, укладывая к себе старика,— а какое у вас понятие?

Точка.



СКАЗКА ПРО БАБУ

Жила-была баба, Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами!

Мужа на войне убили. Три года без мужа прожила, у богатых господ служила. Господа на день три раза горячее требовали. Дровами не топили никак,— углем. От углей жар невыносимый, в углях огненные розы тлеют.

Три года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите же!

На четвертый год к доктору пошла, говорит:

— В голове у меня тяжко: то огнем полыхает, а то слабну...

А доктор возьми да ответь:

— Нешто у вас на дворе мало парней бегает? Ах ты, баба...

— Не осмелиться мне,— плачет Ксения,— нежная я...

И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие с горьковатою слезой.

Старуха Морозиха тут все дело спроворила.

Старуха Морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы паровать, а там хоть трава не расти.

— Я,— грит,— тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен, сырой, вонюченькой.

И привела. Валентин Иванович называется. Неказист, да затейлив — умел песни складывать. Тела никакого, волос длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли, нужен? Песни складывает и мужчина — лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со сто, пирог

с изюмом. На кровати у Ксении три перины положены, а подушек шесть, все пуховые,— катай, Валя!

Приспел вечер, сбилась компания в комнатенке за кухней, все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела, вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет:

— Ах, дружочек мой Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами,— разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости...

Слово по слово. Выпили, конечно, водки две бутылки полных, а вина и все три. Много не говорить, а пять рублей на угощение пошло,— не шутка!

Валентин мой румянец получил прямо коричневый и стихи сказывает таково зычно.

Морозиха со стола тогда отодвинулась.

— Я,— говорит,— Ксеньюшка, отнесусь, господь со мной,— промеж вас любовь будет. Как,— говорит,— вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины,— на них не настираешься...

А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их.

— У меня,— говорит,— виденья. Я как выпью — у меня виденья. Вот вижу я — ты, Ксения, мертвая, лицо у тебя омерзительное. А я поп — за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю.

И тут он, конечно, голос поднял.

Ну, не больше чем женщина, она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула.

— Не кричите, Валентин Иванович,— шепчет баба,— не кричите, хозяева услышат...

Ну, рази остановишь, когда ему горько сделалось?

— Ты меня вполне обидела,— плачет Валентин и качается,— ах, люди—змеи, чего захотели, душу купить захотели... Я,— грит,— хоть и незаконнорожденный, да дворянский сын... видала, кухарка?

— Я вам ласку окажу, Валентин Иванович...

— Пусти.

Встал и дверь распахнул.

— Пусти. В мир пойду.

Ну, куда ему идти, когда он, голубь, пьяненькой. Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб божий.

А Морозиха уж тут.

— Толку не будет,— говорит,— вынесем.

Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах; кухарке своей замечание сделала.

— Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь то же самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, говорит, дочь-девица в семье...

До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила:

— Бабушка Морозиха, ах, бабушка Морозиха, что ты со мной, с молодой бабой, исделала? Себя мне стыдно, и как я глаза на божий свет подыму, и что я в ем, в божьем свете, увижу?

Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидючи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся.

— Промашка,— отвечает ей Морозиха,— тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять...

А утро завело уже свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.

БАГРАТ-ОГЛЫ И ГЛАЗА ЕГО БЫКА

Я увидел у края дороги быка невиданной красоты. Склонившись над ним, плакал мальчик.

— Это Баграт-Оглы,— сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу.— Баграт-Оглы, сын Кязима.

Я сказал:

— Он прекрасен, как двенадцать лун.

Заклинатель змей сказал:

— Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, которому не было пары. Но Алла велик...

— Алла иль Алла,— сказал я.

— Алла велик,— повторил старик, отбрасывая от себя корзину со змеями.— Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскопил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-Оглы коров, ждущих зачатия. Никто не заплатит Баграт-Оглы ста пиастров за любовь его быка. Он нищ — Баграт-Оглы. Он рыдает у края дороги.

Безмолвие гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть и пал на землю в неизмеримых страданиях.

— Путник,— воскликнул тогда мальчик с лицом, розовым, как заря,— ты извиваешься, и пена клокочет в углах твоих губ. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог.

— Баграт-Оглы,— ответил я, изнемогая,— в глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших Мемед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены

соседей наших Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодно, увидел я в зрачках изувеченного быка и мою зрелость, пробивавшуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о, Баграт-Оглы, и их плоские пески не оставляют мне надежды. Ненависть всего мира вползает в отверстые глазницы твоего быка. Беги же от злобы соседей наших Мемед-ханов, о, Баграт-Оглы, и пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом...

И, огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысяча лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты фелюг. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали предо мной. Молодой горец встретился мне у поворота в город. На вытянутой руке его сидел кобчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами. И внезапный покой сошел на мою душу скитальца.



ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца. О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти,— сказал я,— как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес,— сказал я.— Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех,— ответил Керенский,— но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом,— вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас...

— Дитя,— ответил он,— не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Вечером я уехал в город. О Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главно-

командующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн,— сказали негры,— сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах,— ответил О'Нирн,— шторм имеет девять баллов, и он усиливается; возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов.— Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр,— ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом,— есть, сэр,— и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр,— ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

У БАТЬКИ НАШЕГО МАХНО

Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз. Я застал ее в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле может налить еврейку такими коровьими соками, навести такой сальный глянец на ее лицо. Ноги девушки, жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней ее девственности остались только щеки, воспламененные более обыкновенного, и глаза, устремленные книзу.

Кроме прислуги, в кухне сидел еще мальчонок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком, и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую минуту. Не раз случалось мне заставать его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал себя по голому мальчишескому пузу, пел боевые песни и корчил победоносные гримасы, от которых сам же помирал со смеху. В этом мальчике воображение работало с необыкновенной живостью. Сегодня я снова застал его за особенной работой — он наклеивал на германскую каску полосы золоченой бумаги.

— Ты скольких вчера отпустила, Рухля? — сказал он и, сощурив глаз, осмотрел свою разукрашенную каску.

Девушка молчала.

— Ты шестерых отпустила,— продолжал мальчик,— а есть которые бабы до двадцати человек могут отпустить. Братва наша одну хозяйку в Крапивном клепала, клепала, аж плюнули хлопцы, ну та толстее за тебя будет...

— Принеси воды,— сказала девушка.

Кикин принес со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошел потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел свое отражение. Вид зеркала увлек его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется под давлением изнутри форма его носа.

— Я с экспедицией уйду,— обернулся он к еврейке,— ты никому не сказывай, Рухля. Стеценко в эскадрон меня берет. Там по крайности обмундирование, в чести будешь, и товарищей найду бойцовских, не то что здесь, барахольная команда... Вчера, как тебя поймали, а я за голову держал, я Матвей Васильичу говорю,— что же, говорю, Матвей Васильич, вот уже четвертый переменяется, а я все держу да держу. Вы уже второй раз, Матвей Васильич, сходили, а когда я есть малолетний мальчик и не в вашей компании, так меня кажный может обижать... Ты, Рухля, сама небось слыхала евонные эти слова,— мы, говорит, Кикин, никак тебя не обидим, вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь... Так вот они меня и допустили, как же... Это когда они тебя уже в лесок тащили, Матвей Васильич мне и говорит,— сходи, Кикин, ежели желаешь. Нет, говорю, Матвей Васильич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться...

Кикин сердито засопел и умолк. Он лег на пол и уставился вдаль, босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос.

— Вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство,— произнес он угрюмо,— а мало-мало соли с ними поешь, так вот оно и видно, что каждый камень за пазухой держит...

Еврейка подняла от лохани свое налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после долгого перехода ставит на землю затекшие ноги. Оставшись один, мальчик обвел кухню скучающим взглядом, вздохнул, уперся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.



КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега; мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия,— младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти,— закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием.— Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту! — ответила мне баба и выступила вперед.— Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молча-

нии поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках: бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка; багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке,— все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно,— качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч, подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина,— да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем... Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты,— говорит ему баба,— до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая...

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе.— Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, млад-

ший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню...

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный небось потащит...

— Околоточный,— поник головою господь,— я об ём не подумал... Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба.— Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи...

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина,— возвестил тут господь во славе своей,— шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет...

— Это мне и надо,— взмолилась дева Арина,— я от их серьезности почитай три раза в два года помираю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой...

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом, обнявшись, по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки,— вон ведь

куда баба метнула,— купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное,— говорит,— мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мыю и прошу вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий,— эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным, возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной,— так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина...

— Что ж, господи,— отвечает ему женщина неслышным голосом,— я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую выдумала...

— Не желаю я с тобой вожжаться,— восклицает господь Иисус,— задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок,— говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я,— говорит,— не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой изделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос,— отвечает ему Арина,— нету.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ



КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король,— сказал молодой человек,— я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо,— ответил Беня Крик, по прозвищу Король,— что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера,— ответил Беня Крик.— Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет,— ответил Беня Крик.— Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика,— сказал он,— потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди,— ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум,— написал он,— *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17,— двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король»*.

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень

с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля,— тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов,— в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум,— сказал ему Король,— когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрач-

ные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури.

Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня,— сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном,— Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша,— ответил Король пьяному отцу,— пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник,— кричал он, полный отчаяния,— дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король,— сказал он,— я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори,— ответил Король,— ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король,— произнес неизвестный молодой человек и захихикал,— это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе,— заметил ей Беня,— холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок,— рассказывал он, двигая челюстями,— и пошли на облаву; так они отошли


пусть
вас не волнует
этих глупостей...

шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет,— стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие,— сказал он сочувственно.— Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб,— сказал я старику,— поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим,— ответил Беня,— и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу,— ответил Грач,— я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так,— воскликнул покойный Левка,— тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском,— решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встре-

Об чём думает такой папаша?

тил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам

Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь,— Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон,— заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других,— не имей эту привычку быть нервным на работе,— и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе,— ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь наконец за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина,— сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда,— говорил Беня о Тартаковском,— так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня,— пусть бы он сказал,— так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил. Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял,— сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го,— закричал еврей Савка,— прости меня, Бенчик, я опоздал,— и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке,— и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес,— сказал он,— чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция,— вопил он,— и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня,— отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда,— прокричал он, увидя гостя,— бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский,— ответил ему Беня Крик тихим голосом,— вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что


Нужны ли
тут слова?

вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский,— в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно,— заревел он,— десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя,— сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу,— если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти,— живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а

с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь,— ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы,— сказал Беня Крик,— господа и дамы,— сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем.— Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая

в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны,— это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король,— глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..



ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач,— сказал Иван Пятирубель,— какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша,— сказала женщина оглушительным басом,— меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями,— закричал он в отчаянии,— бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком

закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша,— сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу,— но я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша,— сказала она громовым голосом,— посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач,— прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,— я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову,— ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери,— жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор,— кричала она ему по вечерам,— рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка,— сказала она ему,— имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач,— сказал он и отодвинулся.— Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей,— сказал Фроим,— я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой,— кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика.— Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю,— прервал лавочника Грач,— я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас,— прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью,— я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи...


Да,
я не хочу вас

— Держитесь вашей бранжи,— ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор,— сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот,— отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська,— произнес Грач,— Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач,— сказал он,— если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый

турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот,— сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке,— вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш,— закричал Евзель умирающему и захохотал,— вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун,— пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори,— крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка,— ответил ей Фроим и усадил рядом с собой,— вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка,— сначала на бога, потом на вас.

— Говори,— закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях,— сказал он,— немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер,

мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик,— сказала тогда Любка,— ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления.— И он холостой, мне сдается?

— Он холостой,— сказала Любка,— окрути его с Баськой, дай ему денег,— выведи его в люди...

— Беня Крик,— повторил старик, как эхо, как дальнее эхо,— я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши,— сказала Любка Грачу,— подожди меня в коридоре,— и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать,— сказала хозяйка молодому человеку,— сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю,— ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги,— я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его,— сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре,— обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.


Это же
только солома,
катораяː горит
ни от чего

— Человек,— сказал он,— неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл наконец двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач,— сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней,— когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша,— сказал он будущему своему тестю,— бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже,— и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот,— сказал Евзель,— вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот,— сказал сторож,— ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин,— ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате,— ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине,— сказал Цудечкис Песе-Миндл,— вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску,— ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки,— если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да,— сказал тогда самому себе маленький маклер,— ты у фараона в руках, Цудечкис,— и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а,— запел он,— вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым

сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло,— ответила Любка старику и слезла с седла,— кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик,— ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства,— завизжал он и швырнул вниз ермолку,— какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист,— пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко,— закричала женщина и надавила грудь,— когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели

длинную песню, старый еврей,— отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка,— сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный,— сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну,— последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка.— Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка,— сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги,— много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка,— сказал он и взял ребенка из люльки,— но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис.— Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот,— сказал Цудечкис и засмеялся,— я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла

их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо,— сказала тогда Любка,— открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

ПУБЛИЦИСТИКА





ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Каждый день люди подкалывают друг друга, бросают друг друга с мостов в черную Неву, истекают кровью от неправильных или несчастных родов. Так было. Так есть.

Для того чтобы спасать маленьких людей, гранящих тротуары большого города, существуют станции скорой помощи.

Так и называется — скорая или первая помощь. Если вы хотите знать, как помогают в Петрограде, как быстро помогают в Петрограде — я могу вам рассказать.

В канцелярии станции царствует великое молчание. Есть длинные комнаты, блестящие пишущие машинки, стопочки бумаги, подметенные полы. Есть еще испуганная барышня, года три тому назад начавшая писать бумажонки и журналы и не могущая — в силу инерции — остановиться. А остановиться не мешало бы, потому что давно уже — ни бумажонки, ни журналы никому не нужны. Кроме барышни — людей нет. Барышня — это штат. Можно даже сказать — штат сверх комплекта. Если нет лошадей, нет бензина, нет работы, нет докторов, нет пекущихся, нет опекаемых — зачем же тогда комплекты?

Всего этого действительно нет. Когда-то было три автомобиля — «лежачих», как их называют служащие, и четыре «нележачих». Они и есть, но на вызовы не выезжают, потому что нет бензина. Бензина давно нет. Недавно кому-то надоело это тихое положение. Кто-то прикрепил значок к сюртуку и поехал в Смольный.

Начальство ответило: «общее количество бензина, числящегося на городских складах столицы, доходит до двух с половиной пудов». Начальство, может быть, ошиблось. Однако возражать нечего.

Было еще шесть кареток при пожарных частях. В настоящее время они отдыхают. Пожарные команды не дают лошадей — «для себя не хватает».

Итак, осталась одна каретка. Для нее нанимают двух лошадей у извозопромышленника и платят ему за это 1000 р. в месяц.

Из многочисленных вызовов — в день удовлетворяются два или три. Больше не успеть — концы большие, лошади тощие. На место происшествия, если оно, скажем, на Васильевском, приезжают через час-два. Человек уже помер, или человека вообще нет,— исчез. Если же пострадавший оказывается в наличности,— то он с прохладцей отвозится в больницу, а карета после роздыха отправляется дальше — на вызов, имевший место часов пять тому назад. Для регистрации деятельности учреждения существует специальная книга — книга отказов. В нее вносятся случаи, когда помощь не была оказана. Пухлая книга, самая важная, единственная книга. Других не надо.

Единственную шевелящуюся каретку обслуживают 22 человека персонала — из них 11 фельдшеров и 7 санитаров. Очень возможно, что все они получают жалованье и даже по сложной схеме — с прибавкой на дороговизну.

При станции нет никаких учреждений, иллюстрирующих ее дятельность, нет музеев, больниц. В Западной Европе, во многих городах такие музеи представляют исключительный интерес, живую и скорбную летопись городской жизни. В них собраны орудия убийства, самоубийства, письма самоубийц — молчащие и красноречивые свидетельства о человеческих тяготах, о гибельном влиянии города и камня.

У нас этого нет. У нас ничего нет — ни скорой, ни помощи. Есть только — трехмиллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улице и в домах.

Станция, находившаяся в ведении Красного Креста, перешла теперь к городу. Очевидно, что-то ему нужно предпринять.

О ЛОШАДЯХ

То, что называлось раньше Петроградскими скотобойнями, ныне не существует. Ни одного быка, ни одного теленка не доставляют на скотный двор. Быки есть только у входа замечательного, по величественной и ясной архитектуре, главного флигеля — бронзовые быки, символы мощи, обилия и богатства. Нынче они сиротливы — эти символы — и живут собственной отдельной жизнью. Я брожу по скотному двору. Он мертвенно пуст, пуст до странности. Белый снег блестит под светлым и холодным солнцем Петрополя. Слабо протоптанные дорожки ведут в разные стороны. Мощные приземистые строения чисто выметены и молчат. Ни одного человека вокруг, ни одного голоса, ни одной травинки на земле. Только воронье с криком носится над местами, где когда-то дымилась кровь и трепетали только что переставшие жить внутренности.

Я ищу конебойню, но в продолжение четверти часа не нахожу на обширных дворах ни одной души, у которой можно было бы справиться о пути. Наконец добрел. Картина изменилась. Здесь не пусто. Наоборот. Десятки, сотни лошадей понуро стоят в стойлах. Они дремлют от истощения, едят собственный кал и деревянные столбы изгородей. Изгороди теперь покрыты железными рельсами. Это сделано для того, чтобы предохранить наполовину съеденные лошадьми столбы от конечной гибели.

Полуразрушенное голодными животными дерево — вот нынешний символ — в противовес прошедшему — бронзовым быкам, наполненным тугим, красным, жирным мясом.

Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. Не могут, душа не пускает.

Это приносит вред. Татары совершенно не обучены своему ремеслу. Не менее четверти всех шкур пропадает бесплодно — не знают, как их снимать. Старых бойцов теперь не хватает. Сейчас вы узнаете — почему.

Я хожу с доктором мимо строений, где убивают лоша-

дей. Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона. Доктор говорит мне скучные и привычные слова о том, что у нас во всем хаос, вот и на конебойнях хаос, надо бы то и другое, проектируют всяческие меры.

Я узнаю страшную статистику. Против 30—40 лошадей, шедших на убой в прежнее время, теперь ежедневно на скотный двор поступает 500—600 лошадей. Январь дал 5 тысяч убитых лошадей, март даст 10 тысяч. Причины — нет корма. Татары платят за истощенную лошадь 1000—1500—2000 рублей. Страшно повысился качественный уровень убиваемых лошадей. Раньше бойня видела только старых, издыхающих. Теперь сплошь и рядом идут в резку превосходные рабочие кони, трехлетки, четырехлетки. Продают все — легковые извозчики, ломовые, частные владельцы, окрестные крестьяне. Процесс «обезлошадения» идет со страшной быстротой, и это перед весной, перед рабочей порой. Паровая движущая сила исчезает катастрофически. С живой силой — столь нужной нам — происходит то же. Останется ли вообще что-нибудь?

Высчитано, что с октября (месяц, когда обозначалось огромное увеличение резки) убито количество лошадей, в нормальное время могущих обеспечить работу боен в течение 12—15 лет.

Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир «Хуторок», что находится напротив скотобоен. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок — на мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы «Ю-ю» и на восточную «гузинаки». За столиками рослые татары трещали на своем языке и требовали себе к чаю варенья на 2 рубля. Возле меня примостился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время каждый татарин тысяч по пяти, а может, и по десяти в месяц зашибает, «всех лошадей скупили, дочиста всех».

Потом я узнал, что и русские за ум взялись. Тоже промышляют. «Что поделаешь? Раньше конину татары ели, а нынче весь народ и даже господа...»

Солнце светит. У меня странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо, веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары?.. Все — могильщики.

НЕДОНОСКИ

Нагретые белые стены исполнены ровного света.

Не видно Фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива.

По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен — в глубине металлических ванночек лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы — чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман.

Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт — полтора. У каждой ванночки висит табличка — кривая жизни младенца. Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно.

Еще одна неприметная грань замирания нашего: женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока.

Их немного — кормилиц. Пять — на тридцать младенцев. Каждая кормит четырех чужих и одного своего. Так в приюте и произносят скороговоркой: четыре чужих, одно свое.

Кормить надо через каждые три часа. Праздников нет. Спать можете два часа сряду — не более.

Каждый день женщинам, к груди которых по семь раз в сутки присасываются пять синих, тонких ртов, выдают по три восьмых хлеба.

Они стоят вокруг меня грудастые, но тонкие — все пятеро — в монашеских своих одеждах и говорят:

— Докторша высказывает — молока мало даете, дети в весе не растут... Душой бы рады, кровь, чувствуем, сосут... К извозчикам бы приравняли... В управе сказывали: не рабочие... Пошли вон мы нынче вдвоем в лавку, ходим, ноги

гнутся, стали мы, смотрим друг дружке в глаза, падать хотим, не можем двинуться...

Они просят меня о карточках, о дополнениях, кланяются, стоят вдоль стен, и лица их краснеют и становятся напряженными и жалкими, как у просительниц в канцелярии.

Я отхожу. Надзирательница идет вслед за мной и шепчет:

— Все нервные стали... Слова не скажешь, плачут... Мы уж молчим, покрываем. Солдат тут к одной ходит — пусть ходит...

Я узнаю историю той, к которой солдат ходит. Она поступила в приют год тому назад — маленькая, крохотная, деловитая женщина. Только и было у нее большого, что тяжелая молочная грудь. Молока у ней было больше, чем у всех других кормилиц приюта. Прошел год: год карточек, корюшки и размножившихся скрюченных телец, на ходу выдавленных безликими, бездумными женщинами Петрограда. Теперь у маленькой деловитой женщины нет молока. Она плачет, когда ее обижают, и злобно тычет детям пустую грудь и отворачивается, когда кормит.

Дали бы маленькой женщине еще три восьмых, приравняли бы к извозчикам, сделали бы что-нибудь... Ведь рассудить-то надо, детей-то ведь жалко, если не помрут — из детей юноши и девушки выйдут, им жизнь делать надо. А что, как они возьмут да на три восьмых жизнь и сделают. И выйдет жизнь куцая. А мы на нее — куцую — довольно насмотрелись.

БИТЫЕ

Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман — мелкий, всевластный — клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи.

Рынки — пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки — голубые и себялюбивые — щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.

Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке; лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гривы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.

Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.

В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.

Отпевают солдата.

Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.

Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.

Я заговариваю со сторожем.

— Этого хоть похоронят,— говорит он.

А то вон у нас лежат штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.

Каждый день привозят в мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.

Раньше опрашивали — кто убит, когда, кем. Теперь

бросили. Пишут на листочке — «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.

Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.

Эти визиты — утренние и ночью — длятся год без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задает вопрос — милиционеры отвечают: «убит при грабеже».

В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка:

— Князь Константин Эболи де Триколи.

Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.

На другом столе я нахожу его подругу-дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая — она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.

Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.

Конечно.

Все там будем.

— Теперь ничего,— повествует сторож,— пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тода всей больницей беги...

Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет — это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.

— Вы били,— с ожесточением доказывает фельдшер,— вы и убирайте. Сваливать ума хватает... Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж... Уж сколько бумаг написали...

Я ухожу из места, где подводят итоги.

Тяжко.



ДВОРЕЦ МАТЕРИНСТВА

По преданию, его строил Растрелли.

Темно-красный фасад, оживленный тонкими колоннами,— этими верными, молчащими и изысканными памятниками императорского Петрополя,— менее торжественен, чем великолепные, в тонкой и простой своей законченности, дворцы Юсуповых и Строгановых.

Дворец принадлежал Разумовскому. Потом в нем воспитывались благородные девицы — сироты. У благородных сирот была начальница. Начальница жила в двадцати двух высоких, светлых голубых комнатах.

Теперь нет Разумовского, нет начальницы. По растреллиевским коридорам, шаркая туфлями, тяжелой поступью беременных, расхаживают восемь женщин с оттопыренными животами.

Их только восемь. Но дворец принадлежит им. И так он называется — Дворец Материнства.

Восемь женщин Петрограда с серыми лицами и вспухшими от беготни ногами. Их прошлое: месяцы хвостов и потребительских лавок; гудки заводов, призывающие мужей на защиту революции; тяжкая тревога войны и неведомо куда влекущее содрогание революции.

Уже теперь бездумность нашего разрушения бесстрастно предъявляет счета безработицы и голода. Людям, возвращающимся с фронта, нечего делать, женам их не на что рожать, фабрики возносят к небу застывшие трубы. Бумажный туман — денежный и всяческий,— призрачно мелькавший перед оглушенными нашими лицами, замирает. А земля все вертится. Человеки мрут, человеки рождаются.

Мне приятно говорить об огоньке творчества, затеплившегося в пустых наших комнатах. Хорошо, что здание Института не отведено для комитетов по конфискации и реквизиции. Хорошо, что с белых столов не льются жидкие щи и не слышны столь обычные слова об арестах.

Дом этот будет называться Домом Материнства. В декрете говорится: он будет помогать женщинам в тяжких и величественных ее обязанностях.

Дворец порывает с жандармскими традициями Воспитательного дома, где дети мерли или, в счастливом случае, выходили в «питомцы». Дети должны жить. Рождать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни.

Такова идея. Ее надо провести до конца. Надо же когда-нибудь делать революцию.

Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — настоящая революция.

Дворец Материнства начал работать три дня тому назад. Районные Советы прислали первых пациенток. Начало положено. Главное — впереди.

Предположено открыть школу материнства. Приходить будет всякий, кто захочет. Будут учить — чистоте, тому, как сохранить жизнь ребенка и матери. Этому поучиться надо. В начале столетия в родильных наших приютах умирало до 40% рожениц. Цифра эта не спускалась ниже 15—20%. Теперь, в связи с худосочием и малокровием, количество смертей увеличивается.

Женщины будут поступать во Дворец на восьмом месяце беременности. Полтора месяца до родов они проведут в условиях покоя, сытости и разумной работы. Платы никакой. Рождение детей — дань государству. Государство оплачивает ее.

После родов матери остаются во Дворце в течение 10—20—42 дней, до полного восстановления сил. Раньше из приютов уходили на третий день: «по хозяйству некому посмотреть, дети не кормлены...»

Предполагается устроить школу хозяек заместительниц. Заместительницы будут следить за домом рожениц, находящихся во Дворце.

Есть уже начатки музея-выставки. В нем мать увидит хорошую простейшую кровать, белье, нужную пищу, увидит муляжи с сифилитическими, оспенными язвами, прочтет наши статистические карты с приевшимися, но все же первыми в мире цифрами о смертности детей. На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, препараты.

Таковы зародыши идеи, революционной идеи «социализации женщины».

В просторные залы пришли первые восемь матросских и рабочих жен. Залы принадлежат им. Залы нужно удержать и раскинуть широко.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Был завод, а в заводе — неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящею дрожью работы.

Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь померла. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.

Покорные непреложному закону рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, ничем не ценимая.

Несколько дней тому назад происходила «эвакуация» с Балтийского завода. Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром и — пустили. Не знаю — хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому. Говорят — совсем почти не был прикреплен.

Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф — Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет никого.

Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников,— серые.

Плачут скупо. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растерянны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг.

Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гривенники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе пятимесячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами.

Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели две согнутые старухи. Слезливыми бесцветными

глазами они глядели на рослого дворника, растапливавшего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле.

Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел — убили. Картошки нету на рынках и не будет. Грузин во дворе поселился, конфектами торгует, генеральскую дочь — институтку к себе сманил, водку с милицией пьет, денег ему со всех концов несут.

После этого — одна старуха рассказала бабьими и темными своими словами,— отчего двадцать пять человек в Неву упали.

— Анжинеры от заводов все отъехамши. Немец говорит — земля евонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы, матушка, на Калугу подались. Стали плот сбивать. Три дня бились. Кто напился, а другому горько, сидит, думает. А инженеров — нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он, все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, восемь тысяч на похороны дали, панихиды каково служат, гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.

МОЗАИКА

В воскресенье — день праздника и весны — товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.

Он озаглавил ее: «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства».

Бога товарищ Шпицберг называет — господин Бог, священника — попом, попистом и чаще всего — пузистом (от слова — пузо).

Он именует все религии — лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, «экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем».

В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей — бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II и Марии Феодоровны.

Рассказ прервала старушка. Она спросила:

— Где, батюшка, здесь речь говорят?

— Антихрист в Николаевской зале,— равнодушно ответил служитель.

Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.

— В зале — антихрист, а ты здесь растабарываешь...

— Я не боюсь,— так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель,— я с ним день и ночь живу.

— Весело живешь, значит...

— Нет,— сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза,— невесело живу. Скучно с ним.

И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт — куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.

Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после Октября «маненько тронулся».

Я отошел в раздумье. Вот здесь — старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.

Скучные у нас черти.

Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.

Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе «слова краткие, но антирелигиозные». Четыре человека тогда отличились — церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.

Псаломщик начал елейно:

— Надобно, друзья, помолиться.

А кончил шепотком:

— Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.

Сошедши, псаломщик добавил, от злобы призакрыв глаза и вздрагивая тощим телом:

— До чего все хитро устроено, друзья.

О раввинах, о раввинах-то никто словечка не проронит...

Тогда загремел голос церковного старосты:

— Они убили дух русской армии.

Полковник в феске кричал: «не позволим», лавочник тупо и оглушающе вопил: «жулики», растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих-красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком...

— Мы игру-то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат. Поп службу новую выдумал, митинг в церкви выдумал... Мы купола-то тряхнем...

— Не тряхнешь, проклятый,— глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.

Во время пассии в Казанском соборе народ стоит с возжженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от

края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.

Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о заушении, о поругании святыни, совершаемом темными, «не ведающими, что творят». Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит».

У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:

— Хор-то каково поет, службы какие пошли... В прошлое воскресенье митрополит служил... Никогда благолепия такого не было... Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят... Устал народ, измаялся в неспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь...

ЗАВЕДЕНЬИЦЕ

В период «социальной революции» никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по призрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедленный взрыв душ, декретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни и вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями не извилистыми.

В ведомстве призрения состоит учреждение, неуклюже именуемое «Убежище для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях». Убежища эти должны были быть созданы по новому плану — согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так — на новых началах — мероприятия комиссариата были проведены в жизнь.

Одним из заведующих был назначен никому не ведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге — тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные (этот директор приюта), кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что «душой и телом предан святому народному делу», предали его «контрреволюционеры».

Поступил сей муж на службу в ведомство призрения, «указав на свою политическую физиономию, как партийного работника, большевика».

Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей.

Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса неведомо чего.

Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет пробывший в балете.

Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине.

Малограмотный конторщик с Мурмана.

Девица конторщица с Мурмана.

К призреваемым мальчикам было еще приставлено пять дядек (словцо-то какое коммунистическое).

Работа их официальным лицом характеризуется так: «день дежурят, день спят, день отдыхают, делают — что сами находят нужным, заставляют мыть полы кого придется».

Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей 23 служащих.

Делопроизводство этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии:

Большинство счетов не заверено подписью, на счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписи получателей денег, в расписках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей.

Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что.

Никакие учебные занятия не производятся, 60% детей полуграмотны. Никакие работы не производятся. Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди призреваемых имели место 10 тифозных заболеваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальчика с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов.

Заключение:

Убежища комиссариата по призрению представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дореформенными участками. Администраторы и воспитатели — бывшие люди, примазавшиеся к «народному делу», никакого отношения к призрению не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих — неизвестно.

Я видел все это — и босых и угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наше поистине ни с чем не сравнимы.

О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ

(Нечто современное)

Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.

Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.

Молодой обнюхивает обстоятельства.

Обнюхал. Молодой одевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.

Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.

Товар приносит барыш.

Идут дни и недели. У Ованеса на Моховой лавка восточных сластей.

У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Ованеса.

В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед — отставной фельдшер Бурышкин.

В институте, когда дочь Орлова — Галичка — переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет

за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.

Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазные сапоги. Придраться нельзя.

Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.

Удар среди ясного неба: Галичка переходит на жительство к Ованесу.

Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.

Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики — настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.

Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.

Генерал задумывается чаще.

Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт.

Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.

Весна. Галичка с отцом проезжает по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении — чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.

Бурышкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита.

Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве.

Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.

— Декрет насчет сдачи читали? — спрашивает Бурышкин.

— Наплевал я на декреты,— отвечает грузин.

— Нет у меня мелочи,— шепчет Бурышкин.

— Коли нету — отдавай гузинаки.

— А в Красную Армию не хочешь?

— Наплевал я на Красную Армию.

— Ага!

Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек.

Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.

Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца «Эгго», подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено.

Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.

Бурышкин исполнен энергии. Он — свидетель.

Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел, вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны.

Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал слаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.

Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.

СЛЕПЫЕ

На табличке значилось: «Убежище для слепых воинов». Я позвонил у высокой дубовой двери. Никто не отозвался. Дверь оказалась открытой. Я вошел и увидел вот что:

С широкой лестницы сходит большой черноволосый человек в темных очках. Он машет перед собой камышовой тросточкой. Лестница благополучно преодолена. Перед слепым лежит множество дорог — тупички, закоулки, ступени, боковые комнаты. Тросточка тихонько бьет гладкие, тускло блистающие стены. Недвижимая голова слепого запрокинута кверху. Он движется медленно, ищет ногой ступеньку, спотыкается и падает. Струйка крови прорезывает выпуклый белый лоб, обтекает висок, скрывается под круглыми очками. Черноволосый человек приподнимается, мочит пальцы в своей крови и тихо кличет: «Каблуков». Дверь из соседней комнаты открывается бесшумно. Передо мной мелькают камышовые тросточки. Слепые идут на помощь упавшему товарищу. Некоторые не находят его, прижимаются к стенам и незрячими глазами глядят кверху, другие берут его за руку, поднимают с пола и понурив головы ждут сестру или санитара.

Сестра приходит. Она разводит солдат по комнатам, потом объясняет мне:

— Каждый день такие случаи. Не подходит нам дом этот, совсем не подходит. Нам надо дом ровный, гладкий, чтобы коридоры в нем были длинные. Убежище наше — ловушка: все ступеньки, ступеньки... Каждый день падают...

Начальство наше, как известно, проявляет особенный административный восторг в двух случаях — когда надо спасаться или пищать. В периоды всяческих эвакуаций и разорительных перетаскиваний деятельность властей получает оттенок хлопотливости, творческого веселья и деловитого сладострастия.

Мне рассказывали о том, как протекала эвакуация слепых из убежища:

Инициатива переезда принадлежала больным. Приближение немцев, боязнь оккупации приводила их в чрезвычайное волнение. Причины волнения многосложны. Первая из них та, что всякая тревога сладостна для слепых. Возбуждение охватывает их быстро и неодолимо, нервическое стремление к выдуманной цели побеждает на время уныние тьмы.

Второе основание для бегства — особенная боязнь немцев.

Большинство призреваемых прибыли из плена. Они твердо убеждены в том, что если придет немец, то снова заставит служить, заставит работать, заставит голодать.

Сестры говорили им:

— Вы слепы, никому не нужны, ничего вам не сделают...

Они отвечали:

— Немец не пропустит, немец всем работу даст, мы у немца жили, сестра...

Тревога эта трогательна и показательна для пленников.

Слепые попросили отвезти их в глубь России. Так как дело пахло эвакуацией, то разрешение было получено быстро. И вот началось главное.

С печатью решимости на тощих лицах, закутанные слепцы потянулись на вокзалы. Проводники рассказывали потом историю их странствований. В тот день шел дождь. Сбившись в кучу, понурые люди всю ночь ждали под дождем посадки. Потом в товарных вагонах, холодных и темных, они брели по лицу нищего отечества, ходили в советы, в грязных приемных ожидали выдачи пайков и, растерянные, прямые, молчаливые, покорно шли за утомленными и злыми проводниками. Некоторые сунулись в деревню. Деревне было не до них. Всем было не до них. Негодная людская пыль, никому не нужная, блуждала, подобно слепым щенятам, по пустым станциям, ища дома. Дома не оказалось. Все вернулись в Петроград. В Петрограде тихо, совсем тихо.

В стороне от здания главного приютился одноэтажный дом. В нем живут особенные люди особенного времени — семейные слепые.

Я разговорился с одной из жен — рыхлой, молодой женщиной в капоте и в кавказских туфлях. Тут же сидел муж — старый костлявый поляк с оранжевым цветом лица, выеденного газами.

Я расспросил и понял быстро: отупевшая маленькая женщина — русская женщина нашего времени, заверченная вихрем войны, потрясений, передвижений.

В начале войны она «из патриотизма» пошла в сестры милосердия. Прожито много: изувеченные «солдатики», налеты немецких аэропланов, танцевальные вечера в офицерском собрании, офицеры в «галифе», женская болезнь, любовь к какому-то уполномоченному, потом — революция, агитация, снова любовь, эвакуация и подкомиссии...

Где-то когда-то в Симбирске были родители, сестра Варя, двоюродный брат-путеец... Но от родителей полтора года нет писем, сестра Варя — далеко, теплый запах родины испарился...

Теперь вместо этого — усталость, расползшееся тело, сидение у окна, любовь к безделью, мутный взгляд, тихонько перебирающийся с одного предмета на другой, и еще муж — слепой поляк с оранжевым лицом...

Таких женщин в убежище несколько. Они не уезжают потому, что ехать некуда и незачем. Сестра надзирательница часто говорит им:

— Не пойму, что у нас здесь... Все сбились в кучу и живем, а жить вам не полагается... Я теперь и названия убежища не подберу, по штату мы казенное учреждение, а теперь... ничего не понять...

В темной низкой комнате друг против друга на узких кроватях сидят два бледных бородатых мужика. Стеклянные глаза их недвижимы. Тихими голосами они переговариваются о земле, о пшенице, о том, какая нынче цена поросятам...

В другом месте дряхлый и равнодушный старичок учит высокого сильного солдата игре на скрипке. Слабые визгливые звуки текут из-под смычка поющей трепещущей струей...

Я иду дальше.

В одной из комнат стонет женщина. Заглядываю и вижу: на широкой кровати корчится от болей девочка лет семнадцати с багровым и мелким личиком. Темный муж ее сидит в углу на низкой табуретке, широкими движениями рук плетет корзину и внимательно и холодно прислушивается к стонам.

Девочка вышла замуж полгода тому назад.

Скоро в особенном домишке, начиненном особенными людьми,— родится младенец.

Дитя это будет поистине дитя нашего времени.



ВЕЧЕР

Я не стану делать выводов. Мне не до них.

Рассказ будет прост.

Я шел по Офицерской улице. Это было 14 мая в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки — лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной.

В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем «человек» — значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет семнадцати. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением, наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал.

Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый хриплый голос:

— Будь уверен, жить не будешь... Товарищи, израсходую я его... Не можешь ты у меня жить...

Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал:

— Что же вы, товарищи... Господи...

Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается «район». Мальчишка — арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку — подпер ее плечом и выпу-

чил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

— Убили...

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мной.

Избивавшие были рабочими. Никому из них не было более тридцати лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатый стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор:

— Что надо? Убирайся вон!

Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож:

— Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат, вишь — заперлись. Потом сторож добавил: убить его, собаку, мало, не бегай в другой раз.

В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась солдатская музыка. Мне было грустно. Я пошел. Вид зала поразил меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп — свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок. Мундиры синие, красные, белые — образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые, молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный, рыхлый старый немец; он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона. Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотающих кофе, были всякие: скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки — спокойной и уверенной.

Наш северный притихший Рим был величествен и грустен в эту ночь. Впервые в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи.

Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынны. Темные фигуры женщин смутно чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую, непроходящую, легкую, каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде.

Молчали мосты, дворцы и памятники, спутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленными для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редеющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно.

Вокруг золотистых шпилей вилось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль — легчайшую и беспощадную.

Я ЗАДНИМ СТОЯЛ

Мы похожи на мух в сентябре: сидим вялые, точно нам подыхать скоро надо. Мы представляем собой собрание безработных Петроградской стороны.

Зал для собрания отвели просторный. Надвигающиеся солнечные лучи — широкие, горячие, белые — уперлись в стену.

Доклад делает председатель Комитета безработных. Он говорит:

— Безработных сто тысяч. Остановившиеся заводы не могут быть пущены в ход. Нет топлива.

Биржа труда работает худо. Хоть в ней сидят рабочие, однако это не очень умные, не очень грамотные рабочие. Продовольственная управа бесконтрольна в своих действиях. Те, кто распределяет хлеб между населением, те же имеют право и браковать его. Ничего хорошего из этого не выходит. Никто ни в чем не отчитывается.

Сообщение выслушивается пассивно. Ждут выводов. Выводы следуют.

Необходимо, чтобы в учреждениях не служили целыми семьями — муж, да жена, да дети.

Необходимо безработным контролировать биржу труда.

Необходимо предоставить Комитету безработных просторное помещение и т. д. и т. д.

Под стульями светятся черным блеском сапоги. Всем известно, что безработный, обладая досугом и остатком денег, полученных при расчете, по утрам усердно поплевывает на сапоги, создавая себе, таким образом, иллюзию занятия.

Докладчик умолк. На кафедру входят присмиревшие неумелые люди в куцых пальтишках. Безработные Петрограда заявляют о великих своих нуждах, о пятирублевом пособии и о дополнительной карточке.

— Смирный народ исделался,— пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос.— Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое...

— Утихнешь,— отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий.— Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал.

— Это верно — впал,— подтверждает старик.

Ораторы менялись. Всем хлопали. Совершила выступление интеллигенция. Застенчивый человек с бороденкой, задумываясь, покашливая и прикрывая ладонью глаза, поведал о том, что Маркса не поняли, капиталу нужно движение дать.

Ораторы говорили, публика расходилась. Только угрюмые рабочие чего-то ждали.

На трибуну взошел рабочий лет сорока, с круглым, добрым лицом, красным от волнения. Речь его была бессвязна.

— Товарищи, здесь председатель говорил, другие также... Я одобряю, я свое не могу выразить. Меня в заводе — ты какой? Я говорю — ни к кому я не принадлежу, я неграмотный, дай мне работу, я тебя накормлю, я всех накормлю. На завод ребята с газетами приходили, все горлопанили. Я задним стоял, товарищи, я ни к кому не принадлежал, мне работу дай... Кто красноречивый был,— что мы видим? — он в комиссарах горлопанит, а нам велит: ходи вокруг биржи... Мы вокруг биржи ходим, потом вокруг Петроградской стороны пойдем, потом вокруг России... Как же так, товарищи?..

Рабочего прерывают. Рев потрясает зал. Аплодисменты оглушительны.

Оратор смущен, радостен, он машет руками и мнет фуражку.

— Товарищи, я свое не могу выразить, меня от дела отставили, зачем я теперь? Все учили про справедливость. Если справедливость, если народ — мы, значит, казна наша, ляса наши, именьишка наши, вся земля и вода наши. Устрой нас теперь, мы задними стояли, мы ни в чем этом не виноваты, мы нынче пустые по углам слоняемся. Невозможно дальше в таком беспокойствии жить...

— Все враги у нас — и немец, и другие, я поднимать их всех притомился... Я про справедливость хотел выразить... Поработать бы нам этим летом — и все...

Последний оратор имел успех, наибольший успех, един-

ственный успех. Когда он сошел с возвышения — его точно на руки подхватили, обступили и все хлопали.

Он счастливо улыбался и говорил, поворачивая голову во все стороны:

— Никогда за мной этого не было, чтоб говорить. Но теперь я, товарищи, по всех митингах пойду, я про работу должен все сказать.

Он пойдет на митинг. Он скажет. И боюсь я, что он будет иметь успех — этот последний наш оратор.

ЗВЕРЬ МОЛЧИТ

Баба улыбчива, ласкова, белолица. Из клетки на нее смотрит с холодным вниманием старая обезьяна.

С нетерпимой пронзительностью вопят попугаи, объятые скучным недугом. Серебристыми язычками они трутся о проволоку, скрюченные когти впились в решетку, серые клювы, столь схожие с желобками из жести, раскрываются и закрываются, как у птицы, издыхающей от жажды. Бело-розовые тельца попугаев мерно качаются у стенок.

Египетский голубь смотрит на бабу красным блистающим глазком.

Морские свинки, сбившись в шевелящийся холмик, попискивают и тычут в решетку белые мохнатые мордочки.

Баба ничем не одаряет голодных животных. Орехи и монпансье — это не по ее карману.

Тогда обезьяна, умирающая от старости и недоедания, приподнимается с тяжким усилием и взбирается на палку, волоча за собой распухший серый волосатый зад.

Понурив бесстрастную морду, равнодушно раскорячив ноги, обратив на бабу тусклый и невидящий взор, обезьяна отдается дурному занятию, так развлекаются тупые старики в деревне и мальчики, скрывающиеся на черном дворе за сорными кучами.

Румянец заливает бледные щеки женщины, ресницы ее трепещут и призакрывают синие глаза. Очаровательное движение, полное смущения и лукавства, изгибает шею.

Вокруг бабы раздается ржанье солдат и подростков. Помотавшись по зверинцу, она снова подходит к обезьянской клетке.

Ах, старый пес... слышен укоризненный шепот. Совсем ты из ума выжил, бесстыдник...

Баба вытаскивает из кармана кусок хлеба и протягивает обезьяне.

Трудно передвигаясь, животное приближается к ней, не спуская глаз с заплесневевшего куска.

— Люди голодом сидят,— бормочет солдат, стоящий неподалеку.

— Что зверю-то делать? Зверь — он молчит...

Обезьяна ест внимательно, осторожно двигая челюстями. Луч солнца тронул сощуренный бабий глаз. Глаз засиял и покосился на сгорбившуюся полосатую фигурку.

— Дурачок,— с усмешкой прошептала женщина. Ситцевая юбка ее взметнулась, ударила солдата по глянцевитым сапогам и, медлительно виляя, потянулась к выходу, туда, где вспыхнувшее солнце буравило серую дорожку.

Баба уходит — солдат за нею.

Я и мальчики — мы остаемся и смотрим на жующую обезьяну. Старая полька, услуживающая в здании, стоит рядом со мной и торопливо бормочет о том, что люди Бога забыли, все звери скоро от голоду подохнут, теперь люди все крестные ходы затевают, вспомнили о Боге, да поздно...

Из глаз старухи выкатываются мелкие слезинки, она снимает их с морщин ловкими тонкими пальцами, трепыхается изогнутым телом и все бормочет мне о людях, о Боге и об обезьяне...

Несколько дней тому назад в зоологический сад пришли три седобородых старца. Они представляли собой комиссию. Им была поставлена задача — рассмотреть, какие животные являются менее ценными. Таких надлежит пристрелить, так как кормов не хватает.

Старцы расхаживали по пустынным, чисто выметенным аллеям. Им давал разъяснения укротитель. За комиссией следовала приехавшая толпа дрессировщиков татар, кротких татарок.

Старцы останавливались у клеток. Навстречу им приподнимались на высоких ногах двугорбые верблюды и лизали руки, говоря о покорном недоумении души, обеспокоенной голодом. Олени бились мягкими неотросшими рогами о железные прутья.

Слон, неутомимо шагавший на возвышении, вытягивал и свертывал хобот, но не получал ничего.

Комиссия совещалась, а укротитель докладывал с безнадежностью.

За зиму в зоологическом саду издохло восемь львов и тигров. Им дали в пищу негодную ядовитую конину. Звери были отравлены.

Из тридцати шести обезьян остались в живых две. Тридцать четыре умерли от чахотки и недоедания. В Петрограде обезьяна не живет больше года.

Из двух слонов пал один — наилучший. Он пал от голода. Спохватились, когда слон слег. Ему дали тогда пуд хлеба и пуд сена. Это не помогло.

Змей больше нет в зоологическом саду. Клетки их пусты. Издохли все удавы — драгоценные образцы породы.

Старцы расхаживают по пустынным дорожкам. Молчаливой толпой следуют за ними дрессировщики и кроткие татарки-прислуги.

Солнце стоит над головой. Земля бела от недвижных лучей. Звери дремлют за изгородями на гладком песке.

Публики нет. Три финки, три белобрысые девочки с желтыми косицами неслышно снуют сбоку. Они — беженки из Вильно. Они доставляют себе удовольствие.

На листве, зазеленевшей недавно, оседает горячий порошок пыли. В вышине блистает одинокое синее солнце.

ФИННЫ

Красных прижимали к границе. Гельсингфорс, Або, Выборг пали. Стало ясно, что дела красных плохи. Тогда штаб послал за подмогой на далекий север.

Месяц тому назад на пустынной финской станции, там, где небо прозрачно, а высокие сосны неподвижны, я увидел людей, призванных для последнего боя.

Они приехали с Коми и с Мурмана — из мерзлой земли, прилегающей к тундре.

Их собрание происходило в низком бревенчатом сарае, наполненном сырой тьмой.

Черные тела — без движения — вповалку лежали на земле. Мглистый свет бродил по татарским безволосым лицам. Ноги их были обуты в лосиные сапоги, плечи покрывал черный мех.

За поясом у каждого торчал кривой нож, тугие пальцы лежали на тусклых стволах старинных ружей.

Древние тюрки лежали передо мной — круглоголовые, бесстрастные, молчащие.

Речь держал финский офицер.

Он сказал: «Бой будет завтра у Белоострова, у последнего моста! Мы хотим знать, кто будет хозяином на нашей земле».

Офицер не убеждал. Он думал вслух, с тягостным вниманием обтачивая небыстрые слова.

Замолчав, он отошел в сторону и, склонив голову, стал слушать.

Началось обсуждение, особенное обсуждение, я такого не слыхал в России.

Тишина царила в бревенчатом сарае, наполненном серой тьмой. Под черным мехом — непонятно молчали твердые лица, призрачно искаженные мглой, склоненные, дремлющие.

Медленно и трудно негромкие голоса входили в угрюмую тишину. Пятнадцатилетний говорил с холодной раздумчивостью старика, старики во всем походили на юношей.

Одни из финнов сказали: пойдем помогать. Они вышли из сарая и, гремя ружьями, стали строиться у леса.

Другие не тронулись с места. Бледный мальчик лет шестнадцати протянул офицеру газету, в которой напечатан был русский приказ о разоружении красных, переходящих границу.

Мальчик дал газету и тихо промолвил несколько слов. Я спросил тогда финна, служившего мне переводчиком:

— О чем говорит теперь?

Финн обернулся и, не отрывая от моего лица холодных глаз, ответил мне в упор:

— Я не скажу вам того, я ничего не скажу вам больше.

Финны, оставшиеся с мальчиком, встали.

Вместо ответа они покачали лишь бритыми головами, вышли и, понурясь, молчащей толпой сбились у низкой стены.

Побледневший офицер крался вслед за ними, трясущейся рукой вытаскивая револьвер. Он навел его на потушенное желтое скуластое лицо юноши, стоявшего впереди. Тот скосил узкие глаза, отвернулся, сгорбился.

Офицер отошел, опустился на пень, швырнул револьвер и закрыл глаза руками.

На землю нисходил вечер. Румянец озарил край неба. Тишина весны и ночи облекла лес. Брошенный револьвер валялся в стороне. У леса офицер раздавал патроны тем, кто пойдет.

Недалеко от отряда, готовившегося в поход, я увидел мужичонку в армяке. Он сидел на толстом пне. Перед ним была миска с кашей, манерка борща, каравай хлеба.

Мужик ел, задыхаясь от жадности. Он стонал, откидывался назад, дышал со свистом и впивался черными пальцами в свалявшиеся куски застывшей каши. Пищи хватило бы на троих.

Узнав, что я русский, мужичонка поднял на меня мутносияющий, голубой глазок. Глазок сощурился, скользнул по караваю и подмигнул мне:

— Каши дали, чаю сухого — задобрить хотят на позиции везть, я ведь петрозаводский. А толку что? На что народ аккуратный — финны-то,— а с понятием идут. Не выйтить им живыми, никак им живыми не выйтить. Понаехали вроде мордва, озираются, все арестовать кого-то хочут. Зачем — говорят — нас везли? Аккуратный народ, худого не скажешь. Я так думаю — прихлопнет их немец скоро.

Все это я видел на пустынной финской станции месяц тому назад.

НОВЫЙ БЫТ

Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснушчатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею.

Полдень — синий в своей ослепительности — звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки — жадно поглощенные шепчущейся травой — обведены с строгой остротою.

Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку...

— Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял,— шепчет Косаренко в мою сторону.— Там, кроме князей, никого и не увидишь... Сухих, гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель-адъютанта получил — маленько от долгов оправился, не из богатых был...

Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия...

Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи: Лейб-Гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель.

— Товарищ,— говорит Косаренке толстоногая девка,— делегат насчет грядки говорил, я грядку-то посадила...

Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки — пустой мешок кажет солнцу черные дыры.

Пустошь представлял из себя лагерь Финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной Армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так:

— Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих.

Полк насчитывал в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих.

Огород этой тысячи обрабатывается двумя заморенными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин.

Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его:

— Мы всё разрушали, теперь стройка началась, хоть с изъянами, да стройка, на будущей недели сорок коров купим...

Сказав про коров, агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг — бормочет на ухо свистящим злым шепотом:

— Беда. Людей нет. Беда.

Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю.

Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом.

Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности.

Красноармеец — мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился — харчи хороши показались и жизнь привольная.

Теперь он бегает за скачущими лошадьми, за кувыркающейся бороной и вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно:

— Сторонись...

А девушки — те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в колодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню.

— Я на десять фунтов поправилась,— шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком,— отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила...

Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве.

Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот.

Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова:

— Я двадцать два года в фельфебелях был, мне уж удивляться нечему; а скажу вам, что не сознаю я себя — сон или настоящее? Был я у них в казарме — занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые... Долго ли продержимся?

Немигающие глазки устремлены на меня.

— Не знаю, Косаренко, надо б долго...

— Делать-то не с кем. Гляди!

Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные.

Далеко от нас, на фронтоне легкого здания, сияет позолота слов: лейб-гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.

СЛУЧАЙ НА НЕВСКОМ

Я сворачивал с Литейного на Невский. Впереди меня — покачиваясь — идет безрукий мальчик. Он в солдатском мундире. Пустой рукав приколот булавкой к черному сукну.

Мальчик покачивается. Я думаю — ему весело. Теперь три часа дня. Солдаты продают ландыши, а генералы — шоколад. Весна, тепло, светло.

Я ошибся — безрукому не весело. Он подходит к деревянному забору, цветисто украшенному афишами, и садится на горячий асфальт тротуара. Тело его ползет книзу, искривленный рот пускает слюну, никнет голова — узкая и желтая.

Людишки стягиваются медленно. Стянулись. Мы стоим в бездеятельности, шепчем слова и упираемся друг в друга тупыми и изумленными глазами.

Рыжеватая дама проворнее всех. У нее золотистый парик, голубые глаза, синие щеки, пудреный нос и прыгающие вставные зубы. Она узнала всё: упал от голода наш инвалид, вернувшийся из немецкого плена.

Синие щеки ходят вниз и вверх. Она говорит:

— Господа, немцы обкуривают улицы столицы сигарами, а наши страдальцы...

Мы все, сбившиеся вокруг распростертого тела в неторопливую, но внимательную кучку,— мы все растроганы словами дамы.

Проститутки с пугливой быстротой суют в шапку мелкие кусочки сахару, еврей покупает с лотка картофельные котлеты, иностранец бросает чистенькую ленточку новых гривенников, барышня из магазина принесла чашку кофе.

Инвалид копошится внизу на асфальте, пьет из китайской чашечки кофе и жует сладкие пирожки.

— Точно на паперти,— бормочет он, икая и обливаясь светлой обильной слезой,— точно нищий, точно в цирк пришли, Господи...

Дама просит нас уйти. Дама взывает к деликатности. Инвалид боком валится на землю. Вытянутая нога его вспрыгивает кверху, как у игрушечного паяца.

В это время к панели подлетает экипаж. Из него выходит матрос и синеглазая девушка в белых чулках и замшевых туфельках. Легким движением она прижимает к груди охапку цветов.

Расставив ноги, матрос стоит у забора. Инвалид приподнимает обмякшую шею и робко всматривается в голую шею матроса, в завитые волосы, в лицо, покрытое пудрой, пьяное, радостное.

Матрос медленно вынимает кошелек и бросает в шапку сорокарублевку. Мальчик сгребает ее черными негнущимися пальцами и поднимает на матроса водянистые собачьи глаза.

Тот качается на высоких ногах, отступает на шаг назад и подмигивает лежащему — лукаво и нежно.

Пламенные полосы зажжены на небе. Улыбка идиота растягивает губы лежащего, мы слышим лающий хриплый смех, изо рта мальчика бьет душный зловонный запах спирта.

— Лежи, товарищ,— говорит матрос,— лежи...

Весна на Невском, тепло, светло. Широкая спина матроса медлительно удаляется. Синеглазая девушка, склонившись к круглому плечу, тихо улыбается. Калека, ерзая на асфальте, заливается обрывистым, счастливым и бессмысленным хохотом.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ

Две недели тому назад — Тихон, патриарх московский,— принимал делегации от приходских советов, духовной академии и религиозно-просветительных обществ.

Представителями делегации — монахами, священнослужителями и мирянами — были произнесены речи. Я записал эти речи и воспроизведу их здесь:

— Социализм есть религия свиньи, приверженной земле.

— Темные люди рыщут по городам и селам, дымятся пожарища, льется кровь убиенных за веру. Нам сказывают: социализм. Мы ответим: грабеж, разорение земли русской, вызов святой непреходящей церкви.

— Темные люди возвысили братства и равенства. Они украли эти лозунги у христианства и злобно извратили до последнего постыдного предела.

Быстрой вереницей проходят кудреватые батюшки, чернобородые церковные старосты, короткие задыхающиеся генералы и девочки в белых платьицах.

Они падают ниц, тянутся губами к милому сапогу, скрытому колеблющимся шелком лиловой рясы, припадают к старческой руке, не находя в себе сил оторваться от синеватых упавших пальцев.

Патриарх сидит в золоченом кресле. Он окружен архиепископами, епископами, архимандритами, монашествующей братией. Лепестки белых цветов в шелку его рукавов. Цветами усыпаны столы и дорожки.

С сладостной четкостью с генеральских уст срываются титулы — ваше святейшество, боголюбимый владыко, царь церкви. По обычаю старины, они низко бьют челом патриарху, неуклюже трогая руками пол. Неприметно и строго блюдут монахи порядок почитания, с горделивой озабоченностью пропуская делегации.

Люди поднимают кверху дрожащие шеи. Схваченные тисками распаренных тел, тяжко дышащих жаром — они, стоя, затягивают гимны. Нешумно разлетаются по сторонам батюшки, зажимая между сапогами развевающиеся рясы.

Золотое кресло скрыто круглыми поповскими спинами. Давнишняя усталость лежит на тонких морщинах патриарха. Она осветляет желтизну тихо шевелящихся щек, скупо поросших серебряным волосом.

Зычные голоса гремят с назойливым воодушевлением. Несдержанно изливается восторг прорвавшегося многословия. Бегом бегут на возвышение архимандриты, торопливо сгибаются широкие спины. Черная стена стремительно, неслышно растущая, обвивает заветное кресло. Белый клобук скрыт от жадных глаз. Обрывистый голос язвит слух нетерпеливыми словами:

— Восстановление на Москве патриаршества — есть первое знамение из пепла восстающего государства Российского. Церковь верит, что верные ее сыны, ведомые грядущим во имя Господне, святейшим Тихоном, патриархом Московским и всея Руси, сбросит маску с окровавленного лика родины.

— Как в древние дни тяжкого настроения, Россия с надеждой поднимает измученный взор на единого законнейшего владыку, во дни безгосударные, поднявшего на себя крестный труд соединения рассыпанной храмины...

Гремят зычные голоса. Не склоняя головы, прямой и хилый, патриарх устремляет на говорящих неподвижный взор. Он слушает с бесстрастием и внимательностью обреченного. За углом, протянув к небу четыре прямые ноги, лежит издохшая лошадь.

Вечер румян.

Улица молчалива.

Между гладких домов текут оранжевые струи тепла. На паперти — тела спящих калек. Сморщенный чиновник жует овсяную лепешку. В толпе, сбившейся у храма, гнусавят слепцы. Рыхлая баба лежит во прахе перед малиновым мерцанием иконы. Безрукий солдат, уставив в пространство немигающий глаз, бормочет молитву Богородице. Он неприметно поводит рукой, рассовывая иконки, и быстрыми пальцами комкает полтинники.

Две нищенки прижали старушечьи лица к цветным и каменным стенам храма.

Я слышу их шепот:

— Выхода ждут. Не молебен нынче. Патриарх со всей братией в церкви собравшись. Обсуждение нынче. Народ обсудят.

Распухшие ноги нищенок обвернуты красными тряпками. Белая слеза мочит кровяные веки.

Я становлюсь рядом с чиновником. Он жует, не поднимая глаз, слюна закипает в углах лиловых губ.

Тяжко ударили колокола. Люди сбились у стены и молчат.

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Длиннорукий итальянец, старый, облезлый и дрожащий от холода, бегал по помосту и, приложив палец к губам, свистал в небо. Над ним изгибались два аэроплана, стуча моторами. Из темнеющей высоты пилоты махали куцей лысине синьора Антонио платками. Толпа кричала: «Ура!» Синьор Антонио прыгал на досках, обтянутых красным, делал ручкой звездам и визжал, окруженный ревущими мальчишками:

— Барынька, хочешь, э? Марсельеза, э?..

И он свистал, извиваясь, Марсельезу.

Это происходило на Дворцовой площади, у статуи Победы перед Зимним дворцом. Охваченные оранжевыми, желтыми, алыми полотнами, на эстраде кувыркались фокусники и мелькали дрожащие факелы, пущенные точной рукой жонглера.

Над Невой взлетают ракеты. Черная вода пылает багровым светом, возле нас трясутся пушечные громы, воющие и тревожные, как канонада у неприятеля.

— Herr Biene[1],— слышу я за спиной обстоятельный немецкий голос,— когда в 1912 году в Гейдельберге происходили именины герцога Баденского, мы не видели ничего подобного?..

— Oh,— ответил за моей спиной голос Herr'a Biene, презрительный и глухой.— Der Großherzog von Baden ist, Respekt zusprechen, ein Schuft[2].

У статуи Победы в красных сукнах зажглись фонари. Я пошел к Неве. У Николаевского моста на вышке миноносца, где прожектор, стоял молчаливый матрос с напомаженной блистающей головой.

— Дяденька, на меня,— срывались с набережной мальчишки.

---

[1] Господин Бине *(нем.)*.

[2] О, великий герцог Баденский, с позволения сказать, негодяй *(нем.)*.

Матрос поворачивал стекло и обливал нестерпимым светом рыжего оборванца с зелеными веснушками.

— Дяденька,— на крепость, на небо...

Луч, стремительный, как выстрел, дрожал на небе туманным светящимся пятном.

Тогда подошел пузатый старик в шоколадном пальто с котелком; с ним была костлявая старуха и две плоских дочери в накрахмаленных платьях...

— Товарищ,— сказал старик,— как мы приезжие из Луги, желательно, как говорится, ничего не пропустить...

Прожектор миноносца Балтийского флота номер такой-то перебрался из Петропавловской крепости к приезжему из Луги. Он внедрился в живот, покрытый шоколадным пальто, и одел сиянием, окружил нимбом две головы двух плоских дочерей.

КОНЦЕРТ В КАТЕРИНЕНШТАДТЕ

Виндермайер медленно всходит на возвышение посреди трактира. Он слеп. Дремлющий сын подает ему гармонию, окованную темной бронзой. Мы слушаем песню, принесенную из Тироля.

Я сижу у окна. День угасает на базарной площади. Пастор Кульберг, склонив голову, задумавшись, идет из кирки. Над утоптанной землей качаются легкие волны таинственной толпы.

Безумный Готлиб шевелится у прилавка, где хозяин. Лицо Рихарда Вагнера окружено желтой и торжественной сединой. На испытанное и незначительное тело давнишнего сумасшедшего посажена презрительная и тяжкая голова. Виндермайер кончил тирольскую песню. В его руках Евангелие для слепых.

— Виндермайер, сыграйте песню гейдельбергских студентов...

Два вздутых и белых зрачка висят в сумраке. Они похожи на остановившиеся глаза ослепшей птицы.

— Молодые люди открывают сегодня клуб Марксу, хозяин Дизенгоф прикрывает свой трактир...

— Что же вы будете делать, Виндермайер?

— Я не был на родине пятьдесят два года, вернусь в Тюбинген...

Две недели тому назад я приехал в Катериненштадт с необычайными людьми, я приехал с калеками. Мы образовали в Петербурге продовольственный отряд для инвалидов и отправились за хлебом в поволжские колонии.

Я вижу их теперь из окна. Стуча деревянными ногами, они ковыляют по базарной площади. Они вырядились в глянцевые сапоги и одели свои Георгиевские кресты. Совет рабочих депутатов города Катериненштадта открывает сегодня свой первый клуб. Совет дает бал в честь нищих и освобожденных.

Калеки разбредаются по трактирам. Они заказывают себе котлеты, каждая в кулак, они рвут зубами белые калачи с румяной и коричневой коркой, на столах дымятся миски с жареным картофелем, с картофелем рассыпчатым, хрустящим и горячим, с дрожащих подбородков стекают тяжелые капли желтого пылающего масла.

Окрестных крестьян сзывает на торжество колокольный звон. В густеющей тьме, у зажигающихся звезд, на высоких колокольнях еле видны скрючившиеся церковные служки; втянув облысевшие головы в костлявые туловища, они повисли на ходящих канатах. Обтекаемые тьмою, они непрерывно бьют медными языками о бока катериненштадтских колоколов.

Я видел Бауэров и Миллеров, пришедших сегодня утром из колонии в церковь. Теперь они снова сидят на площади — голубоглазые, молчаливые, морщинистые и искривленные работой. В каждой трубке не потухает слабое пламя, старые немки и белоголовые девочки неподвижно торчат на лавках.

Дом, где помещается клуб,— против площади. В окнах — огни. К воротам медленно приближается кавалерия на киргизских конях. Лошади забраны у убитых офицеров под Уральском. У солдат сбоку кривые сабли, они в широкополых серых шляпах с свисающими красными лентами.

Из дома Совета выходят комиссары — немецкие ремесленники из деревень, с красными шарфами на шеях. Обнажив головы, они пересекают площадь и приближаются к клубу. Мы видели сквозь освещенные окна портреты Маркса и Ленина, обвитые зеленью. Genosse[1] Тиц, председатель, бывший слесарь, в черном сюртуке идет впереди комиссаров.

Звон колоколов обрывается, сердца вздрагивают. Пастор Кульберг и патер Ульям стоят у статуи Богоматери, что около костела. Оркестр солдат громко и фальшиво играет прекрасные такты Интернационала. Genosse Тиц всходит на кафедру. Он будет говорить речь.

На лавках застыли сгорбленные немцы. В каждой трубке тлеет слабое пламя. Звезды сияют над нашими головами. Блеск луны достиг Волги.

Сегодня ночью Виндермайер получает расчет. Гармония, окованная темной бронзой, лежит в стороне. Хозяин Дизенгоф отсчитывает деньги.

Безумец с лицом Вагнера, в истрепанном сюртучишке спит у стойки, уронив возвышенный и желтый лоб. Он двадцать два года кормился от гостей Дизенгофа.

---

[1] Товарищ *(нем.)*.

Сын слепца проверяет деньги, данные отцу хозяином.

В клубе все ярче разгораются широкие фитили керосиновых ламп, огни мечутся в табачном дыму.

— Говорят, ты прикрываешь трактир, Дизенгоф? — спрашивает старика вошедший с улицы немец.

Дизенгоф отвечает не оборачиваясь, презрительно и неясно шамкая:

— Для кого я его буду держать? Амбары пусты, торговли нет, хороших гостей выгнали. Отсюда недалеко идти, Густав. Там, напротив, говорят, не скучно...

— А Виндермайер?

— Он поедет в Тюбинген отдыхать...

— Blodsinn...[1] Подожди меня, Виндермайер, я поговорю с Тицом, ты будешь играть в клубе...

Густав выходит. Мы видим, как он поднимается по лестнице, его высокая фигура мелькает в зале. Он отводит в сторону Тица, они стоят у стены и разговаривают.

Слепец ждет в опустевшем трактире, положив на гармонию тонкие пальцы. Я все еще сижу у окна. Возле стойки тускло светится гордый и пустой лоб спящего Готлиба. Кто-то из комиссаров, стоя на возвышении и размахивая руками, говорит речь народу.

---

[1] Чепуха *(нем.)*.

ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ТРУНОВЫХ!

В наши героические, кровавые и скорбные списки надо внести еще одно имя — незабвенное для 6 дивизии,— имя командира 34 кавполка Константина Трунова, убитого 3.VIII в бою под К. Еще одна могила спрячется в тени густых Волынских лесов, еще одна известная жизнь, полная самоотвержения и верности долгу, отдана за дело угнетенных, еще одно пролетарское сердце разбилось для того, чтобы своей горячей кровью окрасить красные знамена революции. История последних лет жизни тов. Трунова связана неразрывно с титанической борьбой Красной Армии. Чаша им испита до дна — проделаны все походы от Царицына до Воронежа, от Воронежа до берегов Черного моря. В прошлом — голод, лишения, раны, непосильная борьба рядом с первыми и в первых рядах и, наконец, офицерская панская пуля, сразившая ставропольского крестьянина из далеких степей, принесшего чуждым ему людям весть об освобождении.

С первых дней революции т. Трунов, ни минуту не колеблясь, занял свое настоящее место. Мы находили его в числе организаторов первых отрядов ставропольских войск. В регулярной Красной Армии он последовательно занимал должности командира 4 Ставропольского полка, командира 1-й бригады 32-й дивизии, командира 34-го кавполка 6-й дивизии.

Память о нем не заглохнет в наших боевых рядах. В самых тяжелых условиях он вырывал победу у врага своим исключительным беззаветным мужеством, непреклонной настойчивостью, никогда не изменявшим ему хладнокровием, огромным влиянием на родную ему красноармейскую массу. Побольше нам Труновых — тогда крышка панам всего мира.

РЫЦАРИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Польская армия обезумела. Смертельно укушенные паны, издыхая, мечутся в предсмертной агонии, нагромождая преступление на глупость, погибают, бесславно сходя в могилу под проклятия и своих и чужих. Чувствуя, что и прежде,— они идут напролом, не заботясь о будущем, основательно забыв, что, по мысли антантовских гувернанток, они, рыцари европейской культуры, являются стражами «порядка и законности», барьером против большевистского варварства.

Вот как охраняет цивилизацию польский барьер.

Жил-был в Берестечке скромный труженик-аптекарь, организовавший насущно нужное дело: работавший не покладая рук, занятый своими больными, пробирками да рецептами,— и никакого отношения к политике не имел и, может быть, и сам думал, что у большевиков уши над глазами растут.

Аптекарь этот еврей. Для поляка все ясно — скотина безответная, пали почем зря — режь, насилуй, истязай. Демонстрация была приготовлена вмиг. Мирного аптекаря, благополучно нажившего геморрой у своих бутылочек, обвинили в том, что он где-то когда-то зачем-то убил польского офицера и выходит он поэтому пособником большевиков.

То, что последовало за этим, отнесет нас к самым удушливым векам испанской инквизиции. Если бы я не видел собственными глазами это истерзанное лицо, это раздробленное исковерканное тело — никогда бы не поверил в то, что в наше, хотя бы жестокое, хотя бы кровавое время возможно на земле такое неожиданное злодейство. Аптекарю прижигали тело калеными железными палками, выжгли лампасы (ты, мол, заодно с казаками-большевиками!), загоняли под ногти раскаленные иголки, вырезали на груди красноармейскую звезду, выдергивали по одному волосу с головы.

Все это делалось не спеша, сопровождалось шуточками на счет коммунизма и жидовских комиссаров.

Это не все — и озверевшими панами была до основания разгромлена аптека, все лекарства растоптаны, не оставили нетронутыми ни одного пакетика, и вот — местечко погибает без медицинской помощи. Вы не найдете в Берестечке порошка против зубной боли. Двадцатитысячное население отдано на съедение эпидемиям и болезням.

Так погибает шляхта. Так издыхает злобный бешеный пес. Добейте его, красные бойцы, добейте его во что бы то ни стало, добейте его сейчас, сегодня! Не теряя ни минуты.

НЕДОБИТЫЕ УБИЙЦЫ

Они мстили за рабочих в 1905 году. Они шли в карательные отряды для того, чтобы расстреливать и душить наши рабские темные деревни, над которыми пронеслось недолгое дыхание свободы.

В октябре 1917 года они сбросили маску и огнем и мечом пошли против российского пролетариата. Почти три года терзали они и без того истерзанную страну. Казалось, что с ними покончено. Мы предоставили им умереть естественной смертью, а они умереть не захотели.

Теперь мы платимся за ошибки. Сиятельный Врангель пыжится в Крыму, жалкие остатки черносотенных русских деникинских банд объявились в рядах культурнейших польских ясновельможных войск. Эта недорезанная шваль пришла помочь графам Потоцким и Таращицким спасти от варваров культуру и законность. Вот как была спасена культура в м. Комаров, занятом 28 августа частями 6 кавдивизии.

Накануне в местечке ночевали молодцы есаула Яковлева, того самого, который звал нас к сладкой и мирной жизни в родных станицах, усеянных трупами комиссаров, жидов и красноармейцев.

При приближении наших эскадронов эти рыцари рассеялись как дым. Они успели, однако, исполнить свое дело...

Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным. Бойцы наши, видавшие виды, отрубившие не одну голову, отступали в ужасе перед картиной, представшей их глазам. В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой зловон-

ной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено.

По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной — рядом со стариком дедом валялось все его семейство. Отец, внуки — все в изломанных, нечеловеческих позах.

Всего убитых свыше 30, раненых около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломая себе руки, головы. Наши медицинские силы работали весь день не покладая рук и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи. Ужасы средневековые меркнут перед зверствами яковлевских бандитов.

Погром, конечно, был произведен по всем правилам. Офицеры потребовали сначала у еврейского населения плату за безопасность — 50 тысяч рублей. Деньги и водка были вынесены немедленно, тем не менее офицеры шли в первых рядах погромщиков и усиленно искали у напуганных насмерть евреев-стариков бомбы и пулеметы.

Вот наш ответ на вопли польского Красного Креста о русских зверствах. Вот факт из тысячи фактов более ужасных.

Недорезанные собаки испустили свой хриплый лай. Недобитые убийцы вылезли из гробов.

Добейте их, бойцы Конармии! Заколотите крепче приподнявшиеся крышки их смердящих могил!



ЕЕ ДЕНЬ

Я заболел горлом. Пошел к сестре первого штабного эскадрона Н-дивизии. Дымная изба, полная чаду и вони. Бойцы развалились на лавках, курят, почесываются и сквернословят. В уголку приютилась сестра. Одного за другим, без шума и лишней суеты она перевязывает раненых. Несколько озорников мешают ей всячески. Все изощряются в самой неестественной, кощунственной брани. В это время — тревога. Приказ по коням. Эскадрон выстроился. Выступаем.

Сестра сама взнуздала своего коня, завязала мешочек с овсом, собрала свою сумочку и поехала. Ее жалкое холодное платьице треплется по ветру, сквозь дыры худых башмаков виднеются иззябшие красные пальцы. Идет дождь. Изнемогающие лошади едва вытаскивают копыта из этой страшной, засасывающей, липкой волынской грязи. Сырость пронизывает до костей. У сестры — ни плаща, ни шинели. Рядом загремела похабная песня. Сестра тихонько замурлыкала свою песню — о смерти за революцию, о лучшей нашей будущей доле. Несколько человек потянулось за ней, и полилась в дождливые осенние сумерки наша песня, наш неумолкающий призыв к воле.

А вечером — атака. С мягким зловещим шумом лопаются снаряды, пулеметы строчат все быстрее, с лихорадочной тревогой.

Под самым ужасным обстрелом сестра с презрительным хладнокровием перевязывала раненых, тащила их на своих плечах из боя.

Атака кончилась. Опять томительный переход. Ночь, дождь. Бойцы сумрачно молчат, и только слышен горячий шепот сестры, утешающей раненых. Через час — обычная картина — грязная, темная изба, в которой разместил-

ся взвод, и в углу при жалком огарке сестра все перевязывает, перевязывает, перевязывает...

Брань густо висит в воздухе. Сестра, не выдержав, огрызнется, тогда над ней долго хохочут. Никто не поможет, никто не подстелит соломы на ночь, не приладит подушки.

Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер. Надо наконец сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее.

В ДОМЕ ОТДЫХА

За верандой — ночь, полная медленных шумов и величественной тьмы. Неиссякаемый дождь обходит дозором лиловые срывы гор, седой шелестящий шелк его водяных стен навис над грозным и прохладным сумраком ущелий. Среди неутомимого ропота роющей воды голубое пламя нашей свечи мерцает как далекая звезда и неясно трепещет на морщинистых лицах, высеченных тяжким и выразительным резцом труда.

Три старика портных, кротких, как няньки, и очаровательный М., так недавно потерявший глаз у своего станка, да я, заезженный горькой и тревожной пылью наших городов,— мы сидим на веранде, уходящей в ночь, в беспредельную и ароматическую ночь... Неизъяснимый покой материнскими ладонями поглаживает наши нервические и сбитые мускулы, и мы неторопливо и мечтательно пьем чай — три кротких портных, очаровательный М., да я, загнанная и восторженная кляча.

Мещане, построившие для себя эти «дачки», бездарные и безнадежные, как пузо лавочника, если бы вы видели, как мы отдыхаем в них... Если бы вы видели, как свежеют лица, изжеванные стальными челюстями машины...

В этом мужественном и молчаливом царстве покоя, в этих пошленьких дачах, чудесной силою вещей преображенных в рабочие дома отдыха, затаилась неуловимая и благородная субстанция живительного безделья, мирного, расчетливого и молчаливого... О, этот неповторимый жест отдыхающей рабочей руки, целомудренно-скупой и мудро рассчитанный. С пристальным восхищением слежу я за ней, за этой направленной судорожной и черной рукой, привыкшей к неустанной и сложной душе моторов... От них взяла она эту покорную, молчащую и обдуманную неподвижность утомленного тела. Философия передышки, учение о возрождении израсходованной энергии,— как много узнал я от

вас в этот шумливый и ясный вечер, когда портные и металлисты пили свой патриархальный, нескончаемый, стынущий чай на террасе рабочего дома во Мцхете.

Накачиваясь чаем, этим бодрым шампанским бедняков, мы степенно, истово потеем, любовно перебрасываемся негромкими словами и вспоминаем историю возникновения домов отдыха.

Лето им от рождения идет первое. Всего только в феврале наст[оящего] года выехала во Мцхет комиссия Совпрофа Грузии для первоначальных изысканий. Дачи были найдены в состоянии ужасном — нежилые, запакощенные, разбитые. Дело было двинуто с неослабевающей энергией, и буржуазия, в меру своих скромных сил, пришла Совпрофу на помощь в этом благом начинании. Как известно, штрафы, наложенные Совпрофом на лавочников всех мастей за нарушение правил об охране труда, достигли утешительной суммы в шестьсот миллионов рублей. Так вот полтораста миллионов из этих денег были истрачены на превращение полуразрушенных дач в рабочие дома — из чего убедительно явствует, что буржуазия на свои кровные (из слова — кровь) деньги содержит первые в Грузии здравницы для рабочих, за что ей низкое спасибо. Существует незыблемая уверенность, что в силу особенных свойств, заложенных в эту породу,— приток вынужденных пожертвований не прекратится и даст возможность Совпрофу на месте нынешних дач раскинуть по цветущим мцхетским склонам рабочий показательный городок. К сожалению, звучный арсенал комплиментов, приведенных выше, не может не быть отравлен упоминанием о тех изумительных и героических усилиях, которые употребили в борьбе с Совпрофом владельцы дач. Они грозились дойти до «государя». И они дошли. Путь был длинен и устлан тонким ядом юридического крючкотворства. Но «государь» (по новой орфографии — ВЦИК) был скор и справедлив. Челобитчики вышли от него со скоростью обратно пропорциональной медленности их прибытия. Они опоздали родиться лет этак на двадцать — вот какую мораль вынесли из этого небольшого дела владельцы в своих неутомимых исканиях истины. Мораль, не лишенная наблюдательности.

Дачи рассчитаны на шестьдесят мест. Отдел охраны труда собирается довести пропускную их способность до тысячи — полутора тысяч человек за сезон, считая срок пребывания каждого рабочего две недели. В отдельных случаях этот срок может быть удлинен до месяца. Оговорка необходимая, потому что в подавляющем большинстве слу-

чаев две недели недостаточно для замученного организма нашего рабочего.

Период устроения и перестройки мцхетских дач еще продолжается. Поэтому не лишни будут здесь советы, продиктованные добрым чувством и любовью. Питание, в общем здоровое и обильное, следовало бы усилить по утрам и к ужину. И еще — хорошо бы уничтожить в домах Совпрофа этот сакраментальный и надоевший характер общежития. Больно уж бывает от него тошно — нам, скитальцам по меблирашкам, канцеляриям и казармам. Угол, исполненный чистоты, уюта и приблизительного уединения — вот что нам нужно в те счастливые две недели, когда мы разминаем натруженную и хрипящую грудь.

Действует уже библиотека. Это хорошо. На будущей неделе начнутся по вечерам небольшие концерты для отдыхающих. А пока мы пробавляемся «дурачком». Но, боги, с каким огнем, с какой неистраченной кипучестью и задором проходит эта ласковая и нескончаемая игра, нагретая, как дедовская кацавейка. Не забыть мне этих простых и сияющих лиц, склонившихся над замусоленными, затрепанными картами, и надолго унесу я с собой воспоминания о счастливом и сдержанном хохоте, звучавшем под шум умирающего дождя и горных ветров.

«КАМО» И «ШАУМЯН»

Если бы радость не теснила так сильно сердце, тогда об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито...

И в первую голову о приговоре народного суда Аджаристана. О, этот приговор, полный сухой учености и пламенного пафоса! Он закован в неумолимую броню права и клокочет желчью негодования. Законы императоров, в бозе почивающих, накрахмаленные нормы международной «вежливости», вековая пыль римского права, соглашение Красина с Ллойд-Джорджем, двусмысленные постановления двусмысленных конвенций и конференций и, наконец, советские декреты, насыщенные красным соком бунта,— все вобрал в себя этот неотразимый приговор, постановленный невидным и измазанным батумским рабочим.

Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы показать трижды чудесное прохождение верблюда правосудия сквозь игольное ушко буржуазных установлений. Это сделано для того, чтобы заставить разноязыкие ухищрения послужить делу правды и плотно припереть к стене уклончивых жуликов, шныряющих по батумской набережной. Господа Кристи и Попандопуло, мастера лирических подъемов, морские агенты достойных мальтийских кавалеров и судовладельцев господ Скембри — они мечутся теперь в западне, для которой неискусные руки мастерового сплели прутья из протухших теней прошлого (видно, не только профессора международного права горшки обжигают) и из бурной крови настоящего...

«Жорж» и «Эдвиг» стоят под красным флагом у пристани Черномортрана. Склады мальтийских крестоносцев запечатаны, над ними нависли грозные тучи штрафов, пени, реквизиций, и даже вмешательство итальянского консула, взывающего к высокой политике, не могло разрядить эти тучи в благодетельный дождь провозной платы.

«Жорж» и «Эдвиг» (бывшие «Россия» и «Мария»), они были воровским образом уведены из русских и грузинских портов для того, чтобы проходить под чужим флагом Суэцкий канал и Красное море. Но тесен стал мир для мальтийцев. Триста безработных пароходов привязаны к берегу в Марселе, миллионный тоннаж гниет без дела в портах Лондона, Триеста и Константинополя, тысячи моряков голодают. Мировые пути глохнут, удушаемые гибельной игрой парижских дипломатов. Нет грузов на Хайфу, на Яффу, на Сан-Франциско, Европа может грузить только в советские порты. И господа Скембри, набравшись духу и застраховав уворованные пароходы от захвата большевиками, плывут в советские порты...

Господа Скембри получат страховую премию. Мы получили пароходы.

Красные ватерлинии «Камо» и «Шаумяна» цветут на голубой воде, как огонь заката. Вокруг них покачиваются прелестные очертания турецких фелюг, красные фески горят на шаландах, как корабельные фонари, пароходный дым неспешно восходит к ослепительным батумским небесам.

Среди этой цветистой мелюзги мощные корпуса «Камо» и «Шаумяна» кажутся гигантами, их белоснежные палубы сияют и отсвечивают, и наклон мачт режет горизонт стройной и могучей линией.

Если бы радость не теснила так неотступно сердце, об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито.

Но сегодня мы отмахиваемся от последовательности, как от июльской мухи.

Кучки старых черноморских матросов, поджав ноги, сидят на деревянной пристани, сидят разнеженные и застывшие, как кейфующие арабы, и не могут отвести глаз от черных, отлакированных бортов.

Целой толпой поднимаемся мы на палубу развенчанного «Жоржа». Машина, выверенная, как часы, сверкающая красной медью трубок и жемчужным налетом цилиндров, держит нас в восхищенном плену. Мы окружены горами хрусталя в кают-компании, отделанной мрамором и дубом, строгой чистотой кают и пахучей краской стен.

— Всего два месяца, как выведен из капитального ремонта,— обращается ко мне старый боцман, назначенный на «Шаумяна»,— сорок тысяч фунтов стерлингов обошелся... Да я же помру на этом пароходе и никакой претензии

к богу иметь не буду. Сорок тысяч фунтов — сколько это на наши деньги, Яков?

— Сорок тысяч фунтов...— раздумчиво повторяет Яков, покачиваясь на босых ногах,— на наши деньги этого сказать невозможно...

— То-то и оно,— торжествующе восклицает боцман,— да столько же стоит и «Эдвиг». Вот и посчитай на наши деньги...

— На наши деньги,— упрямо повторяет качающийся Яков,— этого счета я и сделать не могу никак...

И блаженное багровое лицо Якова никнет к палубе, полное лукавого восторга и подавленного смеха. Его пальцы самозабвенно щелкают в воздухе, и спина гнется все ниже.

— Ты никак под мухой сегодня, Яков? — спрашивает его проходящий мимо нас новый капитан «Камо».

— Я не под мухой, товарищ капитан,— наставительно отвечает Яков,— но по случаю такого случая я действительно сегодняшний день нахожусь под парами, потому как судно готовится в рейс на Одессу, а также мне смешно это дело до без конца... К примеру сказать, товарищ капитан, вы, по вашему злодейству, свели у меня жену... Ну, не то чтобы знаменитая какая баба, ну, для меня, по бедности, подходящая... Ну, свели и свели... Проходит год времени, а опосля того проходит еще год времени. Добираюсь я неожиданным путем до своей бабы, а она гладкая, как кабан, одетая и обутая, с брюшком да с серьгами, в кармане деньги, а на голове разнообразная прическа, лицо подманчивое, фасад неописуемый и из себя представительная до невозможности...

Неужели же, товарищ капитан, я по случаю такого случая не могу развести пары, коль скоро судно готовится в рейс?

— Разводи пары, Яков,— смеясь, сказал капитан,— да не забудь закрыть клапана.

— Есть, капитан! — прокричал Яков.

Мы все вернулись в выверенное, как часы, машинное отделение.

БЕЗ РОДИНЫ

...И вышло так, что мы поймали вора. Шиворот у вора оказался просторный. В нем поместились два товаро-пассажирских парохода. Чванный флаг захватчиков уныло сполз книзу, и на вершину мачты взлетел другой флаг, окрашенный кровью борьбы и пурпуром победы. Поговорили речи и, на радостях, постреляли из пушек. Кое-кто скрежетал зубами в это время. Пусть его скрежещет...

Теперь дальше. Жили-были на Черном море три нефтеналивных парохода — «Луч», «Свет» и «Блеск». «Свет» помер естественной смертью, а «Луч» и «Блеск» попали все в тот же накрахмаленный шиворот. И вышло так, что мы из него дня три тому назад вытряхнули «Луч», то бишь «Лэди Элеонору» — солидное судно с тремя мачтами, вмещающее в себя сто тысяч пудов нефти, блистающее хрусталем своих кают, чернотой своих могучих бортов, красными жилами своих нефтепроводов и начищенным серебром своих цилиндров. Очень полезная «Лэди». Нужно полагать, что она сумеет напоить советской нефтью потухшие топки советских побережий.

«Лэди» стоит уже у пристани Черномортрана, на том самом месте, куда был подведен раньше и «Шаумян». На ее плоской палубе расхаживают еще какие-то джентльмены в лиловых подтяжках и лаковых туфлях. Их сухие и бритые лица сведены гримасой усталости и недовольства. Из кают выносят им несессеры и клетки с канарейками. Джентльмены хриплыми голосами переругиваются между собой и слушают автомобильные гудки, несущиеся из дождя и тумана...

Бледный пламень алых роз... Серый шелк точеных ножек... Щебетанье заморской речи... Макинтоши рослых

мужчин и стальные палочки их разглаженных брюк... Пронзительный и бодрый крик моторов.

Канарейки, несессеры и джентльмены упаковываются в автомобили и исчезают. А остается дождь, неумолимый батумский дождь, ропщущий из поверхности почерневших вод, застилающий свинцовую опухоль неба, роющийся под пристанью, как миллионы злых и упрямых мышей. И еще остается съежившаяся кучка людей у угольных ям «Лэди Элеоноры». Немой и сумрачный сугроб из поникших синих блуз, погасших папирос, заскорузлых пальцев и безрадостного молчания. Это те, до которых никому нет дела...

Российский консул в Батуме сказал бывшей команде отобранных нами пароходов:

— Вы называете себя русскими, но я вас не знаю. Где были вы тогда, когда Россия изнемогала от невыносимых тягостей неравной борьбы? Вы хотите остаться на прежних местах, но разве не вы разводили пары, поднимали якоря и вывешивали сигнальные огни в те грозные часы, когда враги и наемники лишали обнищавшие советские порты их последнего достояния? Быть гражданином рабочей страны — эту честь надо заслужить. Вы не заслужили ее.

И вот — они сидят у угольных ям «Лэди Элеоноры», запертые в клетку из дождя и одиночества, эти люди без родины.

— Чудно,— говорит мне старый кочегар,— кто мы? Мы русские, но не граждане. Нас не принимают здесь и выбрасывают там. Русский меня не узнает, а англичанин, тот меня никогда не знал. Куда податься и с чего начать? В Нью-Йорке четыре тысячи пароходов без дела, а в Марселе — триста. Меня просят миром — уезжай, откуда приехал. А я тридцать лет тому назад из Рязанской губернии приехал.

— Не надо было убегать,— говорю я.— Бессмысленный ты кочегар, от кого бежал?

— Знаю,— отвечает мне старик,— теперь все знаю...

А вечером они, как грустное стадо, шли со своими котомками в гавань, чтобы погрузиться на иностранный пароход, отходивший в Константинополь. У сходен их толкали и отбрасывали баулы раздушенных дам и серых макинтошей. Багровый капитан с золотым шитьем на шапке кричал с мостика:

— Прочь, канальи... Хватит с меня бесплатной рвани... Посторониться. Пусть пройдет публика...

Потом их свалили на кучу канатов на корме. Потом канаты понадобились, и их прогнали в другой конец парохода. Они болтались по палубе, оглушенные, боязливые, бесшумные, со своими перепачканными блузами и сиротливыми узелками. А когда пароход дал отходной гудок и дамы на борту стали кидать провожающим цветы, тогда старик кочегар, приблизившись к решетке, прокричал мне с отчаянием:

— Будь мы какие ни на есть подданные, не стал бы он над нами так куражиться, лысый пес.

МЕДРЕСЕ И ШКОЛА

Эта многозначительная и неприметная борьба ведется со скрытым и глухим упорством. Она ведется везде — и на суровых склонах недосягаемых гор, и во влажных долинах Нижней Аджарии. В одном лагере стоит мечеть и фанатический ходжа, в другом — невзрачная избенка, зачастую без окон и дверей, с выцветшей надписью на красном флажке: «Трудовая школа». Через несколько дней я выеду в горы для того, чтобы на месте присмотреться к извилистой тактике борьбы за культурное преобладание, к тем непостижимым зигзагам, которые приходится делать в этих глухих и оторванных от центра селах, насыщенных еще ядовитой и слепой поэзией феодализма и религиозной косности. Пока же я поделюсь с вами данными, которые я вынес из ознакомления с работой здешнего Наркомпроса.

Внедрение в человеческие души требует дальновидности и осторожности. В тяжких условиях Востока эти качества должны быть удесятерены, доведены до предела. Вот положение, не требующее доказательств. Но меньшевистские кавалеристы от просвещения рассуждали иначе. В поколебленное царство аджарского муллы они внесли прямолинейный пыл близорукого национал-шовинизма. Результаты не были неожиданны. Население возненавидело лютой ненавистью все то, что шло от власти. Государственная школа, объединявшая десятки сел, насчитывала десять—пятнадцать учеников, и в это время медресе ломилось от огромного изобилия детей. Крестьяне несли ходжам деньги, продовольствие, материалы для ремонта зданий. А меньшевистская школа хирела, пустовала, подрывая не только авторитет своих насадителей, это бы с полбеды, но и подтачивая веру в те азбучные ос-

новы культуры, которые несла с собой дореформенная школа.

Итак, меньшевики оставили наследство, проклятое наследство. Надо было с ним распутываться. Нелегкое дело. Недоверие в мусульманском крестьянстве было прочно разбужено, страсти накалены. Примитивная борьба за азбуку цепляла своими корнями огромные задачи политического просвещения. Съезд аджарских исполкомов уяснил себе это в полной мере. Он продиктовал тот метод внимательной постепенности и идейного соревнования, который теперь начинает приносить свои плоды.

Медресе были оставлены. Они существовали наряду с советской школой. Более того, Наркомпрос упорно добивался открытия школ в тех местах, где раньше были уже религиозные школы. Нередки были случаи, когда ходжу приглашали преподавать в советской школе турецкий язык. Ходжи шли и приводили с собой массы детей. Решающую роль сыграло объявление турецкого языка обязательным к преподаванию, причем государственным и основным языком оставался всегда грузинский.

Перед нами опыт полуторагодичной работы. Каковы итоги? Они благоприятны в высокой степени. Перелом совершился. Схоластическая мертвечина медресе побеждена живым трудовым процессом обучения в нашей школе. Дети бегут с уроков ходжи в буквальном значении этого слова, они прыгают в окна, иногда взламывают двери и прячутся от грозного наставника. Количество учащихся в советской школе прибывает с возрастающей силой. И эта победа достигнута без единой репрессивной меры, без тени насилия. Неумолимая поступь жизни, сила очевидности совершила все это с неслыханной быстротой и ясностью. Нашей непременной задачей является — удержать эти бескровные завоевания первейшей важности и расширить их, но... тут воспоследует такое количество «но», что я вынужден начать следующую фразу с красной строки.

У Наркомпроса Аджаристана нет денег. На этом привычном явлении не стоило бы слишком останавливаться, если бы безденежье Аджаристанского Наркомпроса не приняло характер легендарный. Достаточно сказать, что жалованье за семь месяцев, с января по август, было выплачено учителям несколько дней тому назад, благодаря четырехмиллиардному кредиту, отпущенному наконец аджарским Совнаркомом после почти годового размышления. Если вдуматься в невыносимые условия существования культурно-

го работника, заброшенного в дикие ущелья Верхней Аджарии, отрезанного в течение всей зимы от общения с внешним миром, запертого среди недоверчивого крестьянства, требующего длительной и неустанной обработки — и все это при отсутствии какой бы то ни было оплаты труда, тогда поистине диву даешься, как они не разбежались. Основное требование — подготовка преподавательского персонала — усвоена Наркомпросом. В Хуцубани функционирует уже педагогическая школа высшего типа, где обучаются десятка два аджарских юношей, и недалек тот час, когда она выпустит первый кадр мусульманских преподавателей, одинаково хорошо владеющих грузинским и турецким языками, проникнутых идеями советовластия и знакомых с основами новой педагогики. В наступающем учебном году открывается в Батуми педагогический техникум, имеющий те же цели. Ему должно быть уделено исключительное внимание. Крохи с учительского меньшевистского стола, да и наши работники, не применившиеся еще к своеобразному укладу населения, немало помешали работе. Все должно измениться с того момента, когда аджарцы, кровь от крови и плоть от плоти пославших их деревень, вернутся в родные места учителями и пропагандистами. Им будет и почет, и вера, и любовь.

Они вернутся учителями и пропагандистами. Слово «пропагандист» я привел с умыслом. Недаром же в районах спаивается для единой школьной работы тройка из местного заведывающего Наробразом, уполномоченного от парткома и инструктора Наркомпроса. Избенка с выцветшей надписью на красном флажке «Трудовая школа» есть то зерно, к которому должны прилепиться и изба-читальня, и показательная мастерская, и культурный синематограф в будущем. Нет лучшего пути проникновения в полураскрывшиеся сердца горцев. Учитель — он должен соединять в своем лице и сельский Наркомпрос и Главполитпросвет и агитпроп парткома. Уже в наступающем году открываются при некоторых школах небольшие показательные ткацкие мастерские и курсы по шелководству. Успех этих начинаний предрешен. Даже женщины, аджарские женщины в чадрах, с охотой присутствуют на таких уроках.

Как нельзя хуже обстоит дело с ремонтом школьных зданий. Сейчас большинство их представляет из себя полуразвалившиеся хибарки. От местных исполкомов поступают заявления, что они готовы помочь, чем могут, делу школьного строительства. По сравнению с прошлым годом,

когда крестьянин, отдавая в школу ребенка, искренно полагал, что он оказывает неизмеримое снисхождение государству,— это заявление обозначает большой сдвиг в мышлении. Но деревня может дать только то, что у нее есть. В селе нет железных материалов, стекол, черепицы, нет учебных пособий. Будем надеяться, что нынешний обновленный состав Аджаристанского Наркомпроса проявит в этом настойчивость. Конечно, он немного сделает, если центральные тифлисские учреждения не помогут ему присылкой учебников, пособий для ручного труда и проч.

ТАБАК

Подслеповатая старушка просит пособия в Наркомсобесе.

— Нет табаку,— с возмущением отвечают ей из Наркомсобеса.— Был и нету... Забудьте о табаке...

При чем здесь табак? Темна вода. Дальше.

Учительница справляется в Наркомпросе о своем заявлении.

— Был табак и сплыл,— ядовито отвечает учительнице товарищ из Наркомпроса,— приказал долго жить табачок. Еще месяц, еще два — и крышка...

И наконец, ассенизатор бурно требует денег в Коммунхозе.

— Откуда я возьму табак,— яростно кричит товарищ из Коммунхоза,— на ладонях он у меня растет, что ли, ваш табак... Или в палисаднике прикажете плантацию развести?

Изумительная Абхазия! Ассенизаторы и старухи курят с одинаковым увлечением, и тишайшие учительницы не отстают от них в этой благородной страсти.

Темна вода. И как горестно светлеет она при одном прикосновении к авторитетному плачу Таботдела.

В 1914 году сбор табаков в Абхазии дошел до миллиона пудов. Это была рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она будет неуклонно повышаться. Уже до войны Сухум торжествовал полную победу над кубанскими и крымскими табаками. Фабрики Петрограда, Ростова-на-Дону и Юга России работали на сухумском сырье. Отпуск за границу увеличивался с каждым годом. Прежние монопольные поставщики табаку — Македония, Турция, Египет — не могли не признать несравненных качеств нового конкурента. Тончайшие сорта, выпускаемые прославленными фабриками Каира, Александрии, Лондона, приобретали особенную ценность от подмеси абхазского табака. Наш продукт с молниеносной быстротой завоевал репутацию одного из лучших в мире, иностранный капитал бурно

устремился на побережье и взялся за устройство громадных складов и разбивку промышленных плантаций.

Цена табака в довоенное время колебалась, в зависимости от сорта, от 14 до 30 рублей за пуд. Средний урожай — восемьдесят, сто пудов на десятину. Наиболее распространенный тип крестьянской плантации — три, четыре десятины. Пионерами табачной культуры на побережье были греки и армяне. Коренные обитатели страны успешно воспользовались их опытом и сделали табаководство экономическим стержнем края. Благосостояние сухумского крестьянства, стиснутое грабительством скупщиков и царской администрации, все же показывало тенденцию к росту. Теперь понятно, почему «от табака все качества», почему он не чужд инвалидам-старушкам и страждущим учительницам.

После 14 года война начала свою разрушительную работу. Волны переселенцев смяли драгоценную культуру, первый натиск революции не мог не углубить кризиса, а меньшевики, эти роковые мужчины, разломали все вдребезги.

Поистине, в этом феерическом и плодородящем саду, который называется Абхазией, научаешься с особой силой ненавидеть эту разновидность вялых мокриц, которые наследили здесь всеми проявлениями своего творческого гения. За два года своего владычества они успели разрушить все жизненные учреждения города, отдали лесные богатства на разграбление иностранным акулам и объявлением табачной монополии добили вконец нерв страны. Монополия — это бы еще с полбеды. Государственная власть, проводящая осмысленную экономическую политику, прибегает к мерам и покруче, но прибегает с умом. Меньшевистская же монополия была рассчитана на прочную смерть табачной промышленности. Параллельно с государственной ценой, не оправдывавшей себестоимости, существовала расценка иностранного рынка, превышавшая объявленные ставки ровно на 400 процентов. Что оставалось делать в таких условиях плантатору? Ничего не делать. Он благополучно справился с этой несложной задачей.

Табаководство Абхазии под эгидой просвещенных мореплавателей мирно скончалось. Чудовищно сказать — за 1918—1920 годы на рынок не поступило ни одного фунта табаку новых урожаев. Плантации были распаханы под кукурузу, чему способствовала приостановка ввоза из РСФСР хлебных грузов. Зияющая рана сочилась и оставалась открытой.

Таково было наследие меньшевиков. И тут — при рассмотрении того, как взялась за ликвидацию этого печального наследства Советская власть,— надо признать с полной откровенностью, что в этом деле не было проявлено ни достаточного умения, ни планомерной твердости.

Правда, монополия была отменена, но только для того, чтобы уступить место декретной неразберихе. Вопросы табачной промышленности пересматривались каждые две недели,— на голову озадаченного, недоумевающего плантатора сыпались самые противоречивые разъяснения. Табаком ведали все учреждения понемножку, и ни одно из них не ведало им вплотную. До сих пор идет неразрешенный спор между Внешторгом и Совнаркомом Абхазии о том, кто должен распоряжаться частью из оставшегося после меньшевиков табачного фонда. За полуторагодовой советский период реализовано для покрытия текущих государственных расходов около полумиллиона пудов, реализовано без плана и по минимальным ценам. А в перспективе — урожай 1922 года, который едва ли даст десять тысяч пудов свежего табаку. Захиревшие плантации не возобновляются. Полуразрешения, полузапрещения, глубокомысленные примечания к тяжеловесным параграфам дали в результате полное недоумение среди плантаторов, не уверенных в завтрашнем дне. Без этой уверенности не будет возрождения. И поэтому крестьянин копается на своей десятине кукурузы, могущей дать ему валового дохода десять, пятнадцать миллионов грузобонами, и пренебрегает табаком, обещающим, при среднем урожае, 75—100 миллионов. Материальные условия существования абхазского селянина ухудшились резко. Он обносился и живет в дырявом доме, который не на что отремонтировать.

Стремление к посадке табаку всеобщее. Единственно, о чем взывает плантатор,— это о твердом законе для табачной промышленности. Будет ли это сделано в виде натурналога или регулирования торговли — дело экономических органов решить, что нужнее для страны и трудящихся. Но ясность необходима. Смешению понятий и шатанию умов пора положить предел. Иначе золотые руки табачных приисков грозят замереть надолго, к великому ущербу для Федерации.

ГАГРЫ

Волею державного деспота на скале воздвигся город. Были построены дворцы для избранных и хижины для тех, кто избранных будет обслуживать. На глухом берегу заиграли огни, и тугие кошельки с продырявленными легкими потянулись к скале светлейшего деспота.

Все текло, как положено. Дворцы цвели, хижины гнили. Дырявые легкие избранных выздоравливали, здоровые легкие услужающих крошились и разрушались, а необузданный старый принц неутомимо гонял лебедей по своим прудам, разбивал цветники и карабкался по кручам, водружая на недосягаемых вершинах дворцы и хижины, только дворцы и только хижины. В Петербурге подумывали о том, чтобы объявить принца сумасшедшим и отдать под опеку. Потом грянула война. Принца объявили гением и назначили его начальником санитарной части. Изумленная история поведает о том, как лечил принц Ольденбургский пять миллионов больных и раненых, но о Гаграх, об этой выдумке его упрямой и бездельной фантазии,— кто расскажет о Гаграх?

Война и вслед за нею революция. Прибой и отливы красных знамен. На модных курортах не стало больных, а у сиделок не стало хлеба. Грохот сражений на больших дорогах и присевшая на корточки тишина в глухих углах. Всероссийская буря выбрасывает ненужный щебень на дальние берега, трупы крыс, бежавших с корабля. А мертвенные Гагры, эта величавая нелепость, глохнут на своей разрушенной скале, всеми забытые, ничего не производящие...

Еще и теперь впечатление, производимое этим унылым и диковинным городком, ужасно. Он похож на красавицу, ободранную дождем и слякотью, или на труппу испанских танцовщиц, гастролирующих в голодающей волжской деревне. Пруды, разбитые вокруг дворца, превратились в болота, и их ядовитое дыхание выбивает из призрачного и жалкого населения последние остатки сил. Невообразимые шафран-

ные люди в стукалках и вицмундирах расхаживают среди сумрачных балаганов, стиснутых гранитными стенами многоэтажных великанов. Безумие Гойи и ненависть Гоголя не могли бы придумать ничего более страшного. Обломки крушения, бессмысленные видения прошлого, это дореформенное чиновничество, сожженное нищетой и малярией, застрявшее почему-то в живых, бродит здесь, как грустный символ умершего города.

Пять лет Гагры ничего не делали, потому что им нечего делать и они ничего не умеют. Они умеют только потреблять — это поселение сиделок, рестораторов, коридорных и банщиков, прошедших у старого барина науку лакейского шика и курортных чаевых.

И вот в этом году новый хозяин впервые открывает лечебный сезон в Гаграх. Санатории чистятся и приводятся в порядок. Ждут больных товарищей из РСФСР и Закавказья. Санатории предположено развернуть на 150—200 коек. Возможности в Гаграх велики. Омрачает только вопрос о продуктах, стоящий довольно остро, а здания гостиниц и бывший дворец Ольденбургского хоть и обеднели инвентарем, но все еще прекрасны. Курортное управление, до сих пор, как известно, не страдавшее от переутомления, проявляет кое-какие признаки жизни.

На опавших щеках городка заиграла робкая улыбка ожидания. Гагры ждут новых птиц и новых песен. Эти измученные, заболевшие, но неутомимые птицы, оплодотворившие беспредельные пространства нашей страны, пусть приложат они частицу своей животворящей энергии для того, чтобы возродить к жизни целительную климатическую станцию, до сих пор плохо управляющуюся, заглохшую, но имеющую все права на существование.



В ЧАКВЕ

Чай. Сбор чая. В эти два слова, как в мишень, целятся здесь все усилия, упования и интересы. Старенькие склоны Чаквы покрыты размеренными рядами заповедных кустов. В их обыденной зелени вы не увидите ни плодов, ни цветов, ни завязи. Глаз, жаждущий влажных полей Цейлона, глаз, приготовленный к желтым равнинам Китая, равнодушно скользит по зеленой поросли и ищет «чаю». И кто узнает его в крохотной лиловой почке, венчающей карликовую вершинку куста, и в свежем листке, спрятавшемся под почкой и похожем на миллионы миллионов таких же ординарных листков? Его узнает, его найдет и вырвет та нечеловечески ловкая машинка, которая засела в руках окрестных греков, в красных, истыканных пальчиках их десятилетних дочерей.

Все эти Архилевы, Амбарзакисы и Теотокисы спустились в Чакву на сбор чая из своих аджарских ущелий, покрытых голубыми тучами незаходящего тумана. Их неутомимые артели, составленные из детей, неспешно ползут по размытым террасам, и неуловимые руки летают над кустами, как рой мгновенных птиц. Их привычный глаз, не колеблясь, выискивает в неистощимом лабиринте зеленого цветения нужные ему два листочка, и пусть тот, кто не верит в недостижимое, узнает, что есть девушки, которые доводят ежедневный сбор этих невесомых почек и стебельков до ста пятидесяти фунтов за рабочий день.

Рыжеусые объездчики скачут на пегих лошаденках по розовым тропинкам Чаквы, кроткие буйволы, скрипя ярмом, влекут в долину арбы со свеженабранным листом, оливковые греки, старосты артелей, карабкаются по холмам, они щелкают записными книжками, тягуче орут на рабочих и вдруг вскипают залихватской песней, бурной, как мелодии балаклавских рыбаков.

Но и объездчики, и арбы, и оливковые греки — все они тяготеют к долине, к тому утрамбованному и закованному в цемент куску земли, где поместилась неотъемлемая вотчина Джена Лау — чайная фабрика.

Джен Лау, прославленный Иван Иваныч. Его знают все люди, населяющие обе стороны шоссе, ведущего от Чаквы к Батуму. Эта незыблемая слава не велика объемом, но она неисчерпаема в глубину. Двадцать семь лет тому назад чайный энтузиаст и чайный капиталист Попов вывез двадцатилетнего Лау из Срединного Китая, из священных зарослей Востока, куда еще не ступала нога европейца. Рабу на плантациях какого-то мандарина — нынешнему Ивану Иванычу суждено было стать пионером чайного дела в России и несменяемым его руководителем. И только на безмерной и плоской почве Китая, где люди неисчислимы, как стволы бамбуков в тропическом лесу, только на этой загадочной земле, удобренной миллионами безличностей, могла распуститься огненная страстность Джена Лау, его шумливая и непреклонная деятельность, этот обрывистый, судорожный, пристальный и рассчитанный темперамент азиата.

Все нити тянутся к нему. Буйволы, спускаясь с холмов, видят уступы цементных площадок, примыкающих к фабрике. Австралийское солнце цветет над кружевным и румяным ландшафтом Чаквы. Гигантские площадки, осыпанные изумрудным ковром вялящегося чая,— они кажутся выстиранными белыми скатертями, отсвечивающими под хрустальными потоками электричества. Вялить на воздухе — это пережиток отмирающего кустарничества, сохраняющийся только потому, что крытых помещений не хватает на тридцать тысяч фунтов свежего листа, ежедневно доставляемого с плантаций.

После того как лист завяливается в течение суток, он поступает в прессы для скручивания. Только тогда получается прообраз ароматических и черных корешков, так знакомых нам. Потом наступает черед для процесса брожения. Лист, тронутый уже бурым и влажным ядом гниения, созрел для сушки. В герметической печи, похожей на пригородный домик, вращается бесконечная железная ткань, чай рассыпан по ней ровным пластом. В этом паровом доме, сложном, как мотор, и наглухо закупоренном, чай подвергается медленному и равномерному нагреванию. Процесс сушки повторяется дважды. И вынутый из печи во второй раз — чай готов. Он уже черен, растрепан, но лишен аромата. Последний взмах резца принадлежит сортировкам.

Устройство сортировок незамысловато, работа их общепонятна, но в этой стадии производства лежит залог успеха; неощутимые свойства чая заявляют здесь о тирании, чье тонкое коварство недоступно восприятию непосвященного.

Сортировкой называется сетчатый барабан, разделенный на секторы и с особым делением сетки в каждом секторе. Барабан, совершая быстрое вращательное движение, просеивает чай, причем сквозь первые секторы проходят наиболее мелкие и ценные его части; чем дальше к выходному отверстию барабана, тем крупнее становятся деления, тем грубее выходят просеивающиеся чаинки. Под каждым сектором поставлен деревянный ящик. В него попадает чай, обработанный данной частью барабана. Поэтому в каждом ящике — особый сорт чая. В номерах втором и третьем — высшие сорта, потому что они получаются от сортировки самой почки и верхнего листочка; в следующих ящиках — низшие сорта, получающиеся после просеивания загрубевших и старых листьев.

После сортировки — упаковка. И это все. Такова схема. На третьи или четвертые сутки после поступления зеленого листа с плантаций, в результате простейших и незатейливых процессов, чай поступает в кладовые фабрики для того, чтобы в течение нескольких месяцев отлежаться и получить специфический аромат.

Такова схема, но она бедна, как человеческий костяк, не одетый мясом, мускулами и кожей. Не в схеме тут дело. Скрытая жизнь материала, простые на вид, а на самом деле неуловимые превращения листа, тираническое непостоянство его основных свойств — все это требует неусыпного, нескончаемого внимания и опыта, изощренного десятилетиями. От ничтожнейших изменений температуры, от получасовой передержки в завяливании и сушке, от неосязаемых качеств сборки зависит конечный результат. И ни для кого не секрет, что скоропалительные посадки, запущенность плантации, варварски однообразная сортировка, рассчитанная на потребности военного времени, понизили качество русского чаквинского чая. А ведь его можно довести до того, чтобы он удовлетворил даже нетерпимый вкус плантатора из Срединного Китая. Придите на чайную фабрику в тот благословенный день, когда Чаква выглядит как резные окрестности Мельбурна, и пусть Джен Лау поднесет вам пробу в чашечке из белого фарфора. В этом коралловом благовонном напитке, чья густота походит на густоту и маслянистость испанского вина, вам почудится смерто-

носный и сладостный настой священных и нездешних трав.

Облитый щедрым золотом незабываемого заката, перехожу я к мандариновым рощам. Низкорослые деревья отягчены плодами, в чьих глубоких изумрудных тонах трудно угадать будущую горячую и красную медь созревания. Отдельные рабочие опрыскивают деревья известью и окапывают их.

Мы минуем бамбуковые заросли, играющие не последнюю роль в чаквинском хозяйстве, и упираемся в запретные и непроницаемые пределы лесов имения. Их здесь одиннадцать тысяч триста сорок шесть никак не эксплуатируемых десятин — неисчерпаемое богатство, уходящее в пределы горных вершин. И до сих пор наш дерзкий топор не может отважиться проникнуть в эти темные и прохладные недра. Начатое несколько лет тому назад лесоустройство Чаквы заглохло. Для того чтобы его продолжить, нужны деньги, которых пока нет.

...Над морем висит малиновый круг заходящего солнца. Из разодранных розовых туч течет нежная кровь. Она заливает своими цветистыми пожарами синие площади воды, подступает к той извилине берега, где в стрельчатом окне видны желтые лица Джена Лау и его семьи — крохотных и кротких китаянок.

Кроны хамеронсов и драценовых пальм недвижно окаймляют игрушечные дороги. Серебристая пыльная листва эвкалиптов пересекает алеющие равнины неба — и вся эта подстриженная пышность пьянит душу тончайшими линиями японских шелков.

РЕМОНТ И ЧИСТКА

Немножко истории. Знать ее необходимо для того, чтобы увидеть, как правильно иногда (к сожалению, не всегда), с каким верным чутьем применяется НЭП на местах (к сожалению, не во всех местах).

В прошлом году городское хозяйство Сухума подошло к той черте, за которой начинается катастрофа. Меньшевики подорвали его вконец. Первые месяцы после советизации не принесли значительного улучшения. Коммунхоз занимался раздачей мебели и прочей трухи. Больница замирала. Водопровод, построенный примитивно и не рассчитанный на современное развитие города, работал с тяжкими перебоями. Учета зданий, торговых помещений, доходных статей произведено не было. Дома невозмутимо разрушались. Ограбленная меньшевиками электрическая станция едва дышала. И, главное, не было сознания того, что необходимо во что бы то ни стало восстановить наши города, колыбель пролетариата. Коммунхоз не имел ни авторитета, ни средств — знакомая картина. И когда сознание опасности пришло, то на часах городского хозяйства стрелка приближалась к 12.

Важно не то, что одно из наших учреждений справляется со своим делом. Радостно знать, что вопрос, возбужденный сравнительно недавно, вопрос трудный и сложный, понят и разрешен в заброшенном от центра углу, питающемся скудными дарами отвратительной провинциальной информации. Великое усилие ремонтирующейся чистейшей федерации нашло здесь, в этом маленьком зеркале, верное отражение.

За столом сидит рабочий в кожаном картузе. У этого стола бьются крикливые волны «буржуазной стихии», домогательства плохо понятого НЭП'а, опасная вкрадчивость подрядчиков и подозрительные выкладки всяких торговцев, капризная требовательность инженеров, жалобы старушек.

Одна из машин электрической станции износилась. Станция перегружена. И вот снаряжается экспедиция в Поти, где лежит без дела завезенный туда меньшевиками мощный турбогенератор. Положительный исход экспедиции сулит ни больше ни меньше, как полную электрификацию Абхазии: перевод фабрик на электрическую тягу, мощное развитие промышленности, получающей двигательную силу, полное снабжение города энергией и электрификацию сел. Вся работа, при условии получения генератора, может быть закончена в несколько месяцев.

Водопровод. Питающая его речка не дает достаточного количества воды. Уже разработан проект нового водопровода и канализации и приступлено к изысканиям. Коммунхоз добивается сдачи ему в эксплуатацию нескольких лесных участков и взамен этого к будущему лету обещает окончить все работы по канализации и водоснабжению города.

Финансы. Полгода тому назад у Коммунхоза были только долги. Теперь он содержит на своих средствах школы Наркомпроса, больницу Наркомздрава, приют Собеса. Все это достигнуто разумной арендной и торговой политикой без нажима на налоговый пресс.

— Дайте нам три года,— говорит завкоммунхозом,— и вы не узнаете Сухума. Год тому назад было плохо, сейчас стало лучше, через три года будет совсем хорошо. У нас все готово для электрификации. Водопровод и канализация — вопрос ближайших месяцев. Мы приступили к мощению улиц. Мы осуществляем благоустройство дачных пригородов. Мы улучшили санитарию и шутя справились с эпидемией нынешнего года. Летом у нас будет функционировать муниципальный ледоделательный завод. Мы бьемся над вопросом о создании ремонтного фонда для оптовых закупок строительных материалов и использовании их в виде ссуды домовладельцам и для себя. Товары обойдутся нам на 100% дешевле частного рынка. Этим мы положим прочное основание ремонту городских зданий. Электрификация позволит нам наладить правильное лесное хозяйство и открыть в первую очередь карбидный завод, для которого здесь все предпосылки. Приезжайте через три года в Сухум — вы не узнаете его.

И я верю в это. Три часа, проведенные мною в Сухумском Коммунхозе, в самом обыкновенном, самом провинциальном Коммунхозе, убеждают меня в правоте этих гордых слов.

«ПАРИЗОТ» И «ЮЛИЯ»

Это было недавно. На «Паризоте» спускали английский флаг. «Паризот» — это русский пароход «Юлия», уведенный белыми в девятнадцатом году. «Юлия» четыре года плавала по Средиземному и Мраморному морям и потом поставлена была на Анатолийскую линию. В декабре прошлого года она вышла из Константинополя в Зунгулдак за углем. В Зунгулдаке помощник капитана пошел к морскому агенту.

— Эффенди,— сказал помощник капитана,— в твоем порту скопилось много судов, моя очередь приемки угля еще не скоро, я пойду отстаиваться в Эргли, эффенди.

— Якши,— сказал турок и приложил руку ко лбу, к сердцу и еще к чему полагается.

И «Юлия», дождавшись ночи, вышла в Эргли. Она отошла от берега на пятнадцать миль, и тогда помощник капитана Гавриличенко, взяв по револьверу в каждую руку, взошел на мостик.

— Товарищи,— сказал он команде,— мы не пойдем в Эргли, мы идем домой в Одессу. Кто против — пусть тот выйдет на мостик и выбросит меня за борт.

Никто не оказался против. Гавриличенко спрятал свои революверы. Рулевой повернул колесо. «Юлия» взяла курс домой, в Одессу.

Она шла с потушенными огнями, противоборствуя неслыханному шторму. Буря доходила до 11 баллов, в Новороссийске в эти дни оторвался гигантский «Трансбалт». В море погибла «Капнаро» и «Адмирал Деройтер», но «Юлия», с потушенными огнями, с поломанным винтом, без угля и настигаемая погоней, шла домой в Одессу.

Скорлупа колыхалась в бездне, радио и сирены выли в черных разрезах бездны, но суденышко с раздробленным винтом, взятое на буксир ледоколом, пришло в Одессу. И вот сегодня на «Паризоте» спускали английский флаг. В порт пришли оркестры, комсомолия и матросы. Английский флаг

падал на корму медленно, недостреленной птицей, и пурпур нашего флага карабкался кверху, по трудной лестнице шестилетнего нашего восхождения.

Английские моряки смеялись, уходя с парохода, русская команда смеялась, всходя на него. И потом все пошли в кают-компанию, выпили вина и танцевали на палубе, притоптывая каблуками сильнее, чем старый бог притоптывает своими беззубыми громами.

Потому, что это действительно было смешно: английские матросы ничего не теряли, отдавая добро, заграбленное их хозяевами, а мы все выигрывали, отбирая пароход, неправильно принадлежавший бывшим хозяевам.

Пролетарии ничего не теряли в этот день, и вот почему они выпили вина и топали на палубе сильнее, чем бог топает громами.

ПИСЬМА





1. А. Г. СЛОНИМ

Пгр. 7. 12. 18 *7 декабря 1918 г., Петроград*

За время моего исчезновения la vie[1] мотала меня на многие лады, я приезжал, уезжал, был болен, призывался.

Я очутился в положении, когда стыдно было появляться на глаза, потом стало стыдно того, что не являлся. Это обычно.

Несмотря на тяжкие условия, я вывернулся из бед. Сегодня уезжаю в Ямбург открывать крестьянский университет, вернусь в будущую среду. Приду. Такую повинную голову всякий меч сечет.

В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности. Это несмотря на некоторую житейскую приспособляемость. Отсюда мои вольные и невольные прегрешения. Это надо искоренить; со стороны «одержимость» имеет вид неуважения к людям. Господи, помилуй нас, Анна Григорьевна, простите бродячую и задумчивую душу. Вот — всё.

Я бос и неприкрыт. В записке, данной Сторицину, перечислены некоторые вещи. Пожалуйста, дайте ему их. Он перевезет их к себе на квартиру.

Я кланяюсь Льву Ильичу и Илюше. Защитите меня перед ними, Анна Григорьевна. Приду — не посмотрят. Грустно.

До свиданья. Скажем так — простить это значит понять.

Любящий Вас

И. Бабель

---

[1] Жизнь *(фр.)*.

2. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАВАЛЕРИСТ»

11 сентября 1920 г.

Уважаемый т. Зданевич.

Беспрерывные бои последнего месяца выбили нас из колеи.

Живем в тяжкой обстановке — бесконечные переходы, наступления, отходы. От того, что называется культурной жизнью — отрезаны совершенно. Ни одной газеты за последний месяц не видали, что делается на белом свете — не знаем. Живем, как в лесу. Да оно, собственно, так и есть, по лесам и мыкаемся.

Доходят ли мои корреспонденции — неизвестно. При таких условиях руки опускаются. Среди бойцов, живущих в полном неведении того, что происходит — самые нелепые слухи. Вред от этого неисчислимый. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы самая многочисленная наша 6-я дивизия снабжалась нашей и иногородними газетами.

Лично для меня умоляю вас сделать следующее: отдайте распоряжение по экспедиции: 1) прислать мне комплект газеты минимум за 3 недели, прибавьте к ним все иногородние, какие есть, 2) присылать мне ежедневно не менее 5 экземпляров нашей газеты,— по след[ующему] адресу: Штаб 6 дивизии, Воен[ному] корреспонденту К. Лютову. Сделать это совершенно необходимо для того, чтобы хоть кое-как меня ориентировать.

Как дела в редакции? Работа моя не могла протекать хоть сколько-нибудь правильно. Мы измучены вконец. За неделю, бывало, не урвешь получаса, чтобы написать несколько слов.

Надеюсь, что теперь можно будет внести в дело больше порядка.

Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, свяжите меня таким образом с внешним миром.

С товарищеским приветом

К. Лютов

3. И. Л. ЛИВШИЦУ

17 апреля 1923 г., Одесса

Исаакий. В конце зимы я вернулся в Одессу. Поездка в Турцию не выгорела из-за «семейных обстоятельств». Старики скрипели как несмазанные колеса. Надо было эти колеса подмазать.

Живу на Ришельевской. Работаю в меру сил, а сил мало. Здоровье мое плевое. Напечатал для денег в местных Известиях несколько пакостных отрывков, пакостных уже просто потому, что они отрывки.

Получил предложения об издании книги от Ингулова, Полянского, Нарбута. Решение всех этих дел я отложил до осени. Осенью приеду в Москву. Летом хотел бы учинить какую-нибудь эскападу, удариться в бродяги. Не знаю, удастся ли. Я прилагаю старания.

Читаю московскую вашу литературу. Мне не ндравится. В Одессе совсем ничего нет. Я здесь рак на безрыбье.

Прежних моих знакомых я застал в весьма авантажном виде. Они подкормились, жены распухли, детки поправились, но все это сугубо провинциально. Этого раньше в Одессе не было, и этим она сейчас очень плоха — провинциализмом. Я по-прежнему стою в стороне и, как генерал Дитятин, отдаю честь проходящим.

О тебе я слышал, что ты не жалуешься, бога не гневишь. Напиши мне о деталях своего благополучия и в каких именно местах ты ешь хлеб твой.

Это письмо передадут тебе совершенно бесшабашные ребята — одесские поэты Гехт и Бондарин. Они без царя в голове, но не без дарования. Помоги им чем можешь.

Мери не оставила мысль о поездке в Москву. Если мне удастся схватить где-нибудь несколько тысяч сразу, я ее отправлю. Напиши мне по совести — думаешь ли ты, что она проживет там трудами рук своих? Возможно, что и Женя с ней приедет, хотя помыслы Евгении Борисовны больше тяготеют к Петербургу. Кажется, и ты собирался в Петербург. Эта мысль оставлена?

Кланяйся Люсе от бела лица до сырой земли.

Твой И. Б.

Од. 17. 4. 23

4. В. И. НАРБУТУ

17 апреля 1923 г., Одесса

Друг мой, Владимир Иванович.

Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотри их орлиным своим оком.

Жду от тебя письма с душевным волнением и не дождусь. Если не напишешь, то я сам тебе напишу.

Твой И. Бабель

Од. 17. 4. 23

5. И. Л. ЛИВШИЦУ

24 сентября 1923 г., Одесса

Изя. Я привожу сейчас в порядок часть моих бумаг. Занятие это я надеюсь через неделю привести к благополучному окончанию. Числа 2-го октября выеду в Киев, там задержусь на один день для погрузки Евгении Борисовны и притащусь в Москву, вероятно, 5—6 октября. А там мы развернем дела, и я погружу вас в пучину треволнений, ибо слышал, что живете вы совершенно благополучно. И угадываете на бегах чуть ли не по девятнадцать заездов кряду. Этого со мной не бывает,— и с вами быть не должно.

Кланяйся Люсе от бела лица до сырой земли и с тем до свиданья.

Твой И. Бабель

Од. 24. 9. 23

6. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»

⟨Сентябрь — октябрь 1924 г., Москва⟩

В 1920 году я служил в 6-й дивизии I Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им харак-

тер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и, главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров.

И. Бабель

7. Д. А. ФУРМАНОВУ

6 декабря 1924 г., Сергиево

Уважаемый т. Фурманов.

Очередной припадок графомании держит меня в Сергиевском плену — вырваться никак не могу. Не сетуйте на меня за промедление с «Конармией». От промедления этого произойдет польза всем трем договаривающимся сторонам — т. е. Госиздату, рукописи, мне. Я рукопись все еще подправляю, кроме задичавших казаков, там появились и смертные люди, это меня радует. В следующий мой приезд в Москву зайду к вам, и мы обо всем подробно поговорим.

Искренне преданный *И. Бабель*

Сергиево, 6. 12.24

8. А. К. ВОРОНСКОМУ

2 мая 1925 г., Киев

Дорогой Александр Константинович.

Я потерял надежду на получение корректуры. История эта огорчает меня. Посылаю проверенную рукопись. В нее внесены исправления по сравнению с первоначальным текстом. Печатать можно *только* по этому экземпляру. Удив-

ляюсь образу действии технического персонала нашей редакции. Они обнаружили пренебрежение к элементарным авторским правам.

Сегодня выезжаю в Харьков. Через неделю приеду в Москву на короткий, вероятно, срок.

Ваш *И. Бабель*

Киев, 2/V—25

9. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

12 мая 1925 г., ⟨Москва⟩

⟨...⟩Зиму я провел худо, сейчас чувствую себя хорошо, очевидно, северная зима действует на меня губительно. Душевное состояние оставляет желать лучшего — меня, как и у всех людей моей профессии, угнетают специфические условия работы в Москве, то есть кипение в гнусной, профессиональной среде, лишенной искусства и свободы творчества, теперь, когда я хожу в генералах, это чувствуется сильнее, чем раньше. Заработки удовлетворительны ⟨...⟩

И.

10. Д. А. ФУРМАНОВУ

26 мая 1925 г., ⟨Сергиево⟩

Дорогой Дмитрий Андреевич,

письмо Ваше получил с опозданием, потому что уезжал в Ярославскую губернию к приятелю в деревню. Дня через три буду в Москве и замолю все мои грехи перед вами.

Ваш *И. Бабель*

26/V—25

11. И. В. ЕВДОКИМОВУ

28 мая 1925 г., ⟨Москва⟩

Дорогой Иван Васильевич.

Направляю к вам тов. Михайловского Н. В., о котором мы с вами говорили по телефону. Он жаждет работы в области книжной графики. Воззрите на него ласковым оком, п[отому] ч[то] он этого заслуживает.

Ваш *И. Бабель*

М. 28/V—25

12. А. М. ГОРЬКОМУ

25 июня 1925 г., Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо за письмо. Оно рассеяло уныние, которому я был подвержен.

В начале нынешнего года — после полуторагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость. Мне казалось, что для меня наступает дурное время. В Петербурге, в 1917 г., я понял, как велика моя неумелость, и ушел в люди. В людях я прожил шесть лет, и в 1923 вновь принялся за литературную работу. Меня мучила мысль о том, что я обманул Ваши ожидания. Но теперь Вы знаете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, сказанных Вами мне в первый раз в кабинете «Летописи», на Монетной улице. Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают мне в минуты неверия. Изо всех сил я буду стараться писать проще, душевнее, искреннее, чем писал до сих пор. И если я буду ошибаться, то прошу Вас — не теряйте веры в меня.

В начале зимы собираюсь ехать за границу, может быть, увижу Вас. Вторую половину лета и осень проведу на Северном Кавказе. Я очень люблю этот край, и там у меня есть веселые, прекрасные товарищи.

Стихи Есенина (прелестные, лучшие из всех, какие сейчас пишутся в России) высылаются Вам, книга Огнёва и № 6 альманаха «Круг» не вышли еще из печати.

Теперь просьба,— может быть, это и бестактная просьба... Жена моя, Евгения Борисовна Бабель, имеет непреодолимое желание уехать в Италию. Она учится живописи и хочет усовершенствоваться в своем искусстве. Вы помните Кудрявцева из «Новой жизни»? Он изучал испанский язык, у него было необыкновенной красоты издание «Дон-Кихота» на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу, Кудрявцев читал ее с упоением. Так вот жена моя хочет ехать в Пизу, Лукку и еще куда-то.

В здешнем итальянском посольстве ей сказали, что для скорейшего получения итальянской визы полезно сослаться на человека, живущего в Италии. По совету многих друзей я решился указать на Вас, больше не на кого. Если Вас запросят, не откажите, Алексей Максимович, ответить, что она человек тихий, для России бесполезный, для Италии безвредный. Извините, что затрудняю Вас.

С рассказом, посвященным Вам и напечатанным в предпоследнем № «Красной нови», вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим, рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе «Красная новь», выходящем на днях. Книжка будет Вам послана немедленно. Я очень огорчался, что с вещью, посвященной Вам, вышла глупая такая история.

Ваш, любящий Вас всем сердцем

И. Бабель

Москва, 25/VI—25

Мой адрес: Москва, Пречистенка, Обухов пер., 6, кв. 23.

13. Д. А. ФУРМАНОВУ

21 августа 1925 г., Сергиево

Дорогой Дмитрий Андреевич.

Я справлялся на Госкинофабрике о судьбе Чапаева. Сейчас все усилия Госкино направлены на постановку юбилейной фильмы «1905 год». Съемки 5 года начались всего только неделю назад, а окончить эту махину надо к зиме. Поэтому Госкино, вернее Блиох, полагает, что заняться Чапаевым можно будет с весны 1926 года, когда станут доступны натурные съемки и проч. Сижу в Сергиеве, работаю, тщусь ублажить жестокую вашу душеньку. Помоги мне, о муза!

Сергиево, 21/VIII—25 Ваш *И. Бабель*

14. И. В. ЕВДОКИМОВУ

16 января 1926 г., ⟨Москва⟩

Дорогой Иван Васильевич.

Посылаю несколько глав «Конармии». Третий и последний присыл будет в начале будущей недели — тогда же я сделаю разметку. Это без обману. У меня, Иван Васильевич, сейчас сложный переплет, и в узких пределах этого переплета я делаю все, что могу.

Таперича вот о чем — очень нужны деньги, нужны как... литератору. Обдумайте эту мою всеподданнейшую просьбу, я потом к концу дня позвоню Вам.

Пожалуйста, передайте Дмитрию Андреевичу прилагаемую книгу Кр[асной нови]. Остальные две книги я принесу вместе с окончанием «Конармии».

М. 16/I—26 Ваш *И. Бабель*

15. Д. А. ФУРМАНОВУ

М. 4/II—26 *4 февраля 1926 г., ⟨Москва⟩*

Дорогой дядя Митяй.

Посылаю «Конармию» в исправленном виде. Я перенумеровал главы и изменил названия некоторых рассказов. Все твои указания принял к руководству и исполнению, изменения не коснулись только «Павличенки» и «Истории одной лошади». Мне не приходит в голову, чем можно заменить «обвиняемые» фразы. Хорошо бы оставить их в «первобытном состоянии». Уверяю тебя, Дмитрий Андреевич, никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы, например, в «Чесниках» и проч. Затем, если это тебя не затруднит, передай Ивану Васильевичу мои пожелания касательно внешности книги. Мне очень нравится, как издан Сиверко. Был бы очень рад, если бы «Конармию» удалось издать в небольшом формате, обязательно небольшом, шрифт пореже, поля побольше — и каждый рассказ с новой страницы.

Анне Никитичне мой искренний пламенный привет. Дай ей б.., не бог, а Маркс, поправиться поскорее, и тогда я поставлю к водке бочонок таких огурцов, каких она отроду не видывала.

Завтра и послезавтра позвоню о дальнейших моих делах и переездах.

Умиляюсь собственной честности, посылаю тебе книжицу Зощенко.

Твой *И. Бабель*

16. Д. А. ФУРМАНОВУ

19 февраля 1926 г., Ленинград

Дорогой дядя Митяй.

Я уехал в Ленинград в гости к «бойцовскому» одному товарищу. Живется мне здесь хорошо, тихо, возвращаться в Москву пока не хочется. Я дней пять неутомимо вызванивал тебе по телефону, все попытки мои окончились крахом. Если не лень будет — черкни, как идет набор «Конармии», когда будет корректура?

Последние сведения, полученные мною о здоровье Анны Никитичны, были очень утешительны, как она себя чувствует? Низкий искренний ей привет.

Я в Ленинграде хочу поработать по-настоящему, чего и Вам, милостивый государь, от господа вседержителя желаю.

Любящий тебя *И. Бабель*

P. S. Живу я вроде как за городом, поэтому писать лучше по адресу: Ленинград, Басков пер., 13, кв. 27, Л. Утесову, для меня.

Ленинград, 19/II—26

17. А. С. ВОЗНЕСЕНСКОМУ

20 февраля 1926 г., Ленинград

Дорогой Александр Сергеевич.

Пишу Вам из Ленинграда (вернее, из окрестностей Ленинграда), куда я бежал, во-первых, по делам, во-вторых, от московской суеты. К ужасному моему сожалению, из наших антреприз пока толку не вышло. Рукописи, сданные в «Землю и Фабрику», по мнению Нарбута, для библиотеки юмора не подходят, а «просто беллетристику» он боится печатать. Что же касается проспекта сценария, то не обессудьте, Александр Сергеевич, он не очень мне понравился. «Спешность исполнения» наложила на него печать.

В Москве я буду дней через десять, и мы предпримем тогда смертельные героические меры для добычи денег. Клянусь и обещаюсь.

Марии Андреевне огненный привет.

Ваш *И. Бабель*

Ленинград, 20/II—26

18. Д. А. ФУРМАНОВУ

11 марта 1926 г., Ленинград

Дорогой Дмитрий Андреевич.

Не сочти за труд и сообщи мне, набирается ли «Конармия», и если набирается, то когда приблизительно будет корректура. Я хотел бы внести незначительные, правда, изменения, вот почему этот вопрос меня интересует. Сведения сии разрешается тебе изложить в одной строке, посему не ленись.

Нижайше кланяюсь Анне Никитичне, которая, думаю, в настоящую минуту бесшабашно катается на коньках, ну, скажем, на Патриарших прудах.

Твой *И. Бабель*

Ленинград, 11/III—26

19. И. В. ЕВДОКИМОВУ

30 марта 1926 г., Москва

Дорогой Иван Васильевич.

Посылаю просмотренную мной корректуру. «Надеюся на Вас, дорогой товарищ из редакции», что книга будет иметь достойный вид, бумага будет белая и толстая, а шрифт черный и четкий. По сему поводу всепокорнейшая просьба — нельзя ли по исправлении представить мне в распоряжение еще одну корректуру. Я послал бы ее в Париж, где выходит французский перевод «Конармии». Передо мной печальный пример немецкого издания, где все перепутано, поэтому я бы хотел, чтобы французы сверили с выправленным текстом.

Ваш *И. Бабель*

М. 30/III—26

20. П. И. ЧАГИНУ

30 марта 1926 г., Москва

Дорогой Петр Иванович!

Вместо того, чтобы явиться к Вам в гости, я умчался по срочному вызову Госиздата в Москву. Но в гости я неукоснительно явлюсь недели через две — когда снова приеду в Ленинград.

Для успокоения Вашей редакторской души сообщаю, что материал в громадном изобилии вышлю в конце нынешней или в крайнем случае в начале будущей недели.

Истинно преданный Вам

И. Бабель

М.30.03.26

21. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨29 сентября 1926 г., Хреновое Воронежской губернии⟩

Милая мама, я очень хотел бы, чтобы ты немного успокоилась и посмотрела на мир не такими печальными глазами. Я теперь живу разумно и, думаю, готовлю для всех нас возможность лучших времен, заботиться обо мне не надо, в важных основных делах я всегда был человеком себе на уме; главный ужасный унаследованный от тебя недостаток — это слабохарактерность моя, которую не знающие меня люди могут принять за дурные поступки, но теперь я вроде как поумнел даже и в этом отношении⟨...⟩

И.

22. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨5 ноября 1926 г., Москва⟩

Милая мама. Я теперь много работаю. Кроме того, у меня много душевных невзгод. Ты знаешь, главное условие успешности моей работы — это покой. Люди и обстоятельства лишают меня покоя. Во многом я сам виноват, многое происходит помимо моей воли. Теперь ты присоединилась к людям, лишающим меня покоя. Я думаю, что это нехорошо и безжалостно по отношению ко мне. Если мне не будут мешать, если меня не будут мучить — то мои, а следовательно, и ваши беды скоро кончатся. Я ни у кого не прошу помощи, но горько думать, что самые близкие люди губят меня, сами не зная о том⟨...⟩

И.

23. П. И. ЧАГИНУ

20 декабря 1926 г., Москва

Дорогой Петр Иванович!

Я не забыл о моих обязательствах, ни на один день не забывал о них. 26-й год сложился для меня несчастливо, я ничего не работал, и вины моей в этом не было — много раз я брался за перо, но тяжкие обстоятельства отрывали меня от работы.

Я собираюсь зажить теперь по-иному и первый написанный мной рассказ будет послан в «Кр[асную] газ[ету]».

Не сердитесь на меня.

М. 20/XII—26 *И. Бабель*

24. А. Г. СЛОНИМ

9 января 1927 г., Киев

Дорогие граждане. Живу в Киеве. Здесь идут картины, сделанные по моим сценариям — сделанные бездарно, пошло, ужасно. Я пытаюсь работать, но толку пока от этих попыток мало. Когда буду в Москве—не знаю. Возможно, что скоро. К сожалению, мне не придется жить у вас, а хорошо бы. Мое жалкое присутствие нужно в другом месте. Как только приеду — заявлюсь к вам. Низко кланяюсь моему сожителю — Илюше Менделевичу.

Киев, 9/I—27 Ваш *И. Б.*

25. А. Г. СЛОНИМ

12 марта 1927 г., Киев

Милая Анна Григорьевна. Спасибо за услугу. Это было очень важно. Старик умер 7-го. Похоронил я его в невыразимо грустный, туманный, грязный день. На моих руках больная, совсем больная старуха и остатки большого некогда состояния. Остатки эти по нынешним временам представляют кое-какую ценность. Я обязан их охранять до приезда Евгении Борисовны или до ее распоряжения. Выхода здесь два — приезд Е. Б. или отъезд мой и старухи за границу, откуда сын перевезет ее в Америку. Все это сложно. На ближайшее время база моя поэтому Киев. В Москву буду наезжать по делам на два-три дня. В следующем письме я смогу, может быть, определить срок ближайшего моего приезда. Объяснять Вам нечего — живу грустно, а надеяться «на лучшее будущее» считаю ниже своего достоинства. Настоящее должно быть хорошим, а будущее — это утешение для дурачков и несчастненьких.

Очень буду рад, если Лев Ильич напишет мне. Для него уже, по моим расчетам, должно наступить время, когда «кошмарное прошлое» начинает облачаться в мантию романтики. Очень хорошо иметь романтические воспоминания, в особенности если эти воспоминания оплачиваются — «с сохранением содержания». Относительно Певзнера не беспокойтесь. Хватит с моего доктора тех книг, что Вы прислали. Вот и все дела. До свиданья. Арестантику и Илюше крепко жму руку.

Киев, 12/III—27 Любящий вас *И. Бабель*

26. В. П. ПОЛОНСКОМУ

13 марта 1927 г., Киев

Дорогой Вячеслав Павлович.

Вот уже несколько лет ветер семейных катастроф швыряет меня по всей России. Недели две с половиной т[ому] н[азад] меня вызвали телеграммой в Киев. Я похоронил здесь близкого мне человека и прожил грустные дни. Работа моя разладилась, конечно, теперь я снова пытаюсь войти в рабочую колею. Мне очень хочется, душевно хочется послать Вам как можно скорее материал, для того чтобы услышать о нем Ваше мнение. Вы один из немногих истинных наших критиков, один из немногих людей, для которого хочется работать самоотверженно, изо всех сил.

Материал постараюсь подготовить в ближайшее время и привезу его Вам в Москву.

Киев, 13/III—27 Любящий Вас *И. Бабель*

27. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨26 марта 1927 г., Киев⟩

⟨...⟩ Вчера впервые читал мою новую пьесу. Успех велик, и если бы не моя скромность, я сказал бы, громаден. Каким образом я мог при ужасающих таких обстоятельствах сочинить что-то путное — никак в толк не возьму. Посылаю тебе вырезку из сегодняшней газеты, посылаю потому, что это первые строки о новом моем детище ⟨...⟩

И.

28. А. Г. СЛОНИМ

6 апреля 1927 г., Киев

Дорогие мои хозяева. Вчера вечером вернулся из «поездки» по южным городам, читал уважаемые свои сочинения. Поездка прошла с успехом. Будущее мое приблизительно ясно — старуху отвожу за границу, она будет жить с Евгенией Борисовной, м[ожет] б[ыть], сын заберет ее в Калифорнию. Итак — поездка за границу решена, я хлопочу о паспорте для старухи и в ближайшем будущем приеду в Москву для урегулирования паспортных и прочих моих дел. Расскажу вам все по порядку. «Добился я до ручки»,

и мне некому рассказывать, кроме вас. Живу так плохо, что это стало даже интересно. Письмо сестры пересылать мне не надо. Очень хочу вас видеть, очень. Мне бы в жизни разворачиваться по линии друзей, а я — о, горе мне — разворачивался по совсем другой линии. Беда с мужиками, лысеющими на тридцатом году жизни.

«Я все писал о браке, о браке, о браке, а мне навстречу шла смерть, смерть, смерть...» (Розанов). Беда не в том, что смерть идет навстречу — подумаешь, велика штука,— а беда в том, что мы стоим на месте или пятимся назад. Вот я и собираюсь сдвинуться с места...

Итак, до скорого свиданья. Льву Ильичу, Родэну — пламенный привет.

Киев, 6/IV—27 Любящий вас *И. Бабель*

29. В. П. ПОЛОНСКОМУ

22 июня 1927 г., ⟨Киев⟩

Дорогой Вячеслав Павлович.

Посылаю пьесу. Если не лень — прочитайте странное это произведение. А послезавтра будем держать совет — что с ним делать. До решения его судьбы прошу «сочинение сие» держать в сугубом секрете.

22/VI—27 Любящий Вас *И. Бабель*

30. А. Г. СЛОНИМ

7 июля 1927 г., Киев

Милая Анна Григорьевна.

Уезжаем послезавтра. Натерпелся несказанной муки. Бог мне судья! Послал Вам посылку — все мои письма,— тут и печальные lettres d'amour[1] и несколько писем отца, очень мне дорогих. Сохраните эту шкатулку, прошу Вас. Я не успел сдать ее Вам до отъезда. Я думаю, что эта моя просьба не затруднит Вас. Следующее мое письмо будет из-за границы. До свиданья. Льву Ильичу и Илюше кланяюсь от всего сердца.

К. 7/VII—27 Любящий вас *И. Бабель*

Простите за конверт — первое, что подвернулось под руку.

---

[1] Любовные письма *(фр.)*.



31. В. П. ПОЛОНСКОМУ

16 сентября 1927 г., ⟨Париж⟩

Дорогой Вячеслав Павлович.

Направляю к Вам Густава Крклица, сербского поэта, говорят, выдающегося поэта. Дело, по которому он к Вам обратится, чрезвычайно интересное.

Думаю, что Вы не посетуете на меня за то, что я направил его к Вам.

16/IX—27 Ваш *И. Бабель*

32. Б. Б. СОСИНСКОМУ

18 сентября 1927 г., Париж

Уважаемый Бронислав Брониславович!

Воскресная моя поездка окончилась неудачей. По неопытности я проплутал целый час в поисках нужного мне трамвая, попал на Chatelet[1] в девятом часу. Мне объяснили, что поездка в Clamart[2] возьмет час, а то и полтора. Неловко было приезжать так поздно — и вот я вышел обманщиком. Очень жалею о том, что не повидался с Вами и очень прошу извинить меня.

Я захворал. У меня обострение давнишней болезни дыхательных путей. Я сегодня уезжаю на юг. Немедленно по возвращении в Париж уведомлю Вас, и надеюсь загладить тогда все мои вины.

Рассказы Ваши прочитал. По-моему, у Вас есть то, что называется литературным дарованием, но мало самостоятельности. И над языком надо работать больше, чем Вы это делали до сих пор. Очень надо следить за тем, чтобы не засорять язык иностранными оборотами, шаблонными, стершимися фразами, безвкусными прилагательными...

---

[1] Шатле *(фр.)*.
[2] Кламар *(фр.)*.

Впрочем, я не беру на себя смелости давать советы. По совести говоря, я сам во всем сомневаюсь. Талант это есть, вероятно, соединение неутомимых мозгов, недремлющего сердца и мастерства. Если развивать одно качество в ущерб другому, тогда нарушается божественная гармония искусства и литература выходит плохая, претенциозная.

От всего сердца желаю Вам, Бронислав Брониславович, успеха.

Искренно преданный Вам

И. Бабель

П. 18/IX—27

Книги отошлю.

33. В. П. ПОЛОНСКОМУ

20 сентября 1927 г., Париж

Дорогой Вячеслав Павлович.

Спасибо за письмо. Вы правы. Я маленько потерплю, а потом буду жить на честно заработанные деньги. Вы правы. Приду к Вам в конце недели. Перед приходом напишу pneumatique[1]. До скорого свидания.

Любящий Вас

И. Бабель

П. 20/IX—27

34. А. Г. СЛОНИМ

4 октября 1927 г., Париж

Милые, незабываемые мои друзья. Я не писал потому, что был неустроен — душевно, материально, всячески. Теперь — работаю. Исписал книгу Льва Ильича больше чем на половину, а в октябре совсем, наверно, ее испишу. Посмотрим — принесем ли мы друг другу счастье — я книге и она мне.

О Париже — что же сказать? В хорошие мои минуты я чувствую, как он прекрасен, а в дурные минуты мне стыдно того, что душонка и одышка заслоняют от меня прекрасную, но чужую, трижды чужую жизнь. Пора бы и мне обза-

---

[1] Пневматическая почта *(фр.)*.

вестись родиной. Но во многих отношениях — просветление мозгов здесь бывает разительное и очень часто, увы, penible...[1]

Жизнь веду простейшую — сочиняю, в кафе больше чем на три франка «насидеть» не могу, денег мало, гулять не на что, пешечком хожу по улицам Парижа и присматриваюсь. Старыми знакомыми пренебрегаю, новых не ищу. Спать ложусь в одиннадцатом часу, и то поздно выходит, на нашей улице в десять часов вечера нельзя найти ни одного освещенного окна. Заманчивого, по-моему, в такой жизни мало, только что полезно. По логике вещей — надо искупать и надо терпеть. Но хорошо терпеть казаку, который рассчитывает стать атаманом, но каково терпеть казаку, который атаманом стать не рассчитывает? Так я вот — не рассчитываю...

Что происходит в «нашей» квартире на Варварке и в окрестностях ее? Поехал ли Лев Ильич в Грозный, наливается ли Илюша умом и познаниями? Пусть торопится! Годов после двадцати пяти глупеть надо! Курит ли Лев Ильич? А Вы, Анна Григорьевна, член ли Вы уже коллегии защитников? Прошу Вас, очень прошу Вас, каждый раз, когда будете есть картофельный салат, вспоминайте обо мне. Кровати передайте, что спать-то я, конечно, сплю, но спанье это шаблонное, день да ночь — сутки прочь, упоительного, глубокого, спасительного сна, которым дарила меня добрая эта кровать на Варварке, нету и в помине...

Ну, я все о себе да о себе... Хватит. Не забывайте. Илюше кланяюсь от всего сердца.

Ваш, любящий вас

И. Бабель

П. 4/X—27

35. В. П. ПОЛОНСКОМУ

5 октября 1927 г., ⟨Париж⟩

Дорогой Вячеслав Павлович.

Денег из «Нового мира» Т. В. Кашириной не выдают. Если Вы считаете, что несоблюдение мною обязательства о сроках расторгает наш договор, сообщите мне об этом, я перестрою тогда свои планы. Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж

[1] Мучительное *(фр.)*.

не Кременчуг), думая, что фланги мои защищены, и вдруг... Впрочем, обо всем этом я довольно бубнил Вам в Париже. Все свои обязательства по отношению к «Новому миру» торжественно подтверждаю, да и опоздание будет не бог весть какое страшное...

С нетерпением жду очерков Ваших о Западе.

Бакунина Вы мне так-таки и не прислали. Членов обещал выдать эту книгу из полпредства.

Крепко жму руку.

5/X—27

Ваш *И. Бабель*

Bureau de Postes N 69, Poste restante, Paris XV.

36. А. Г. СЛОНИМ

23 октября 1927 г., Марсель

Дорогие мои друзья, товарищи и лучшие мои соседи в мире (это не мало — быть хорошими соседями). Ваше письмо переслано мне в Марсель, где я теперь живу, утопая в непостижимом блаженстве. В прошлом моем послании (посланном par avion[1]) я объяснил неуважительные причины моего молчания. Из напастей, достойных быть отмеченными, надо вам сообщить, что недели три тому назад я очень ослабел здоровьем — астма,— почему спешно и бежал на юг. Живу я в отеле на высокой горе. У подножия этой горы — порт, рыбачьи домики и — нечего скрывать — Средиземное море. Я теперь привыкаю к шуму порта, к ходу волны и к отдаленному гулу города. Думаю, что отсюда меня клещами не вытянут. Город, как говорится, «превосходит всякое вероятие». Все же мои «переживания не идут с вашими ни в какое сравнение» (эту фразу я вычитал недавно в Известиях). Бедная Анна Григорьевна! Здесь бы ее страдания как рукой сняло. Не больше года т[ому] н[азад] натурализовавшийся еврей д-р Гольденберг, из Института Пастера, изобрел могучее, радикальное средство против фурункулеза. Достаточно двух-трех впрыскиваний, и болезнь исчезает *бесследно* и не возвращается. Я это знаю потому, что масса моих знакомых хворали нынешней осенью фурункулезом. Теперь в Париже эта болезнь лечится, можно сказать, автоматически, она побеждена совершенно. В Россию почему-то это средство еще не пропускают. Все же

---

[1] Авиа *(фр.)*.

я написал Евгении Борисовне, чтобы она приложила все усилия к тому, чтобы *немедленно* выслать вам это лекарство. Я убежден, что она сделает все что может, сбегает, если нужно, в Торгпредство и пр. Черт знает что такое! Хворать противной, прилипчивой болезнью только из-за того, что нет какой-то медицинской конвенции. Работу, прерванную мною из-за болезни, я снова возобновил и, надо думать, доведу ее теперь до конца. Если доживу до вожделенного этого мига — пошлю вам рукопись. С пьесой, как и следовало ожидать, неприятности. Главрепертком вычеркнул целиком всю пятую сцену (синагога. Мотив: «трактовка синагоги как сборища торгашей в нынешний политический момент неприемлема») и все фразы, в которых есть слово — жид. Я с замечаниями Главреперткома не согласился и просил театр в случае, если нельзя будет уломать «богомольную дуру-цензуру», снять пьесу с репертуара. «Комментарии излишни!» С восторгом воспринял весть об Илюшиных шести рублях! От всего умудренного сердца советую ему изображать все фигуры в виде греков или, скажем, римлян. Благородства много и никаких жидов! Прошу Илюшу посильно зарабатывать. Очень я буду воодушевлен, если узнаю, что число приятелей, у которых можно часа этак на два перехватить полтора червонца, увеличивается!

Гуляете ли Вы, Лев Ильич? Ходить надо пешком. Бедная Анна Григорьевна! Паратиф! Чудовищно! Вы, наверно, ехали в третьем классе, она там и захватила. (Чисто одесское выражение, но в Одессе слово «захватил» применяется обыкновенно к молодым людям, захватившим болезнь накожную и...). Я шучу, но, право, очень огорчен...

Мой адрес: Mr. Babel, Belvédére-Hôtel, 46 Rue des Pécheurs, Marseille.

До свиданья, милые соотечественники!

Ваш *И. Бабель*

М. 23/X—27

37. И. Л. ЛИВШИЦУ

28 октября 1927 г., Марсель

Дорогие мои товарищи и просто дорогие мои. После трехмесячного пребывания в Париже переехал на некоторое время в Марсель. Все очень интересно, но, по совести говоря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Работал я урывками, теперь наладился

и думаю, что-нибудь смогу «произвести». Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель. Экзотика здесь действительно сногсшибательная, но я уже маленько поостыл к экзотике. Напишите мне о себе. Я о вас помню постоянно и думаю о вас так хорошо, как только могу. Привет Саше и его семейству. Пожалуйста, напишите.

Любящий вас всем сердцем

И. Бабель

М. 28/10—27

38. В. П. ПОЛОНСКОМУ

29 октября 1927 г., ⟨Марсель⟩

Дорогой мой Вячеслав Павлович! Никому никаких рассказов я не посылал. Никому, кроме Вас, я никаких рассказов не пошлю. (Сообщение о «Перевале» привело меня в полное недоумение. Как говорится, ничего подобного.) Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большого целого. Я работаю над ними вперебивку, по душевному влечению. Растреклятое это душевное влечение является причиной моих бедствий и моей неаккуратности. Удавиться впору, но ничего поделать с собой не могу. Я знаю, что очередь «рассказов для напечатания» придет очень скоро, и жду — и Вас прошу ждать. Право, у меня уже и слов больше для этих просьб нету. Напечатать «Закат» до постановки — значит... Вы знаете, что это значит... «В руки твои предаю дух мой...»

Я в Марселе. Höchst interessant[1]. Получили ли Вы письмо, в котором я сообщал Вам об отъезде моем в Марсель.

Дорогой мой, замученный мною редактор! Я не мечтаю больше о любви. Я мечтаю о том времени, когда бестрепетно смогу я «поднять очи на кредиторов моей совести...». Когтистый зверь, скребущий душу,— совесть!..

Письмо Ваше переслано мне из Парижа. Я написал сегодня, чтобы зашли в Hôtel de Valence[2] за Бакуниным. Я, дурак, вообразил почему-то, что Вы оставили для меня эту книгу в Торгпредстве, и спрашивал ее там.

В Марселе постараюсь посидеть подольше. Не сердитесь. Мы помиримся, уверяю Вас, мы помиримся.

Любящий Вас *И. Бабель*

29.X—27

---

[1] Очень интересно *(нем.)*.
[2] Отель Валанс *(фр.)*.

39. А. Г. СЛОНИМ

12 ноября 1927 г., Марсель

Дорогие amis[1]. В Марселе началась зима, подул страшной силы мистраль. Возвращаюсь в Париж. Писать прошу по прежнему адресу. О пьесе получил утешительные сведения. Она пойдет в моей редакции. В Одессе и Баку представления уже идут, как идут — не знаю. В конце ноября приедет ко мне из Брюсселя мать, так что я обрету семейную обстановку полностью. Я тружусь теперь не шибко, но тружусь. Из Парижа напишу вам подробнее. Будьте веселы, здоровы и богаты.

Любящий Вас *И. Бабель*

M.12/XI—27

40. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

23 декабря 1927 г., Париж

Зозулечка. Я недавно получил письмо от Анны Григорьевны. Она просит выслать ей новейшие французские книги и указать, к кому бы обратиться по вопросу о переводах. Первую часть ее просьбы я исполнил — книги выслал, относительно же переводов попрошу ее позвонить Вам по телефону. Прежние боги вроде Воронского повержены, и не думаю, чтобы они могли ей быть полезны. Так как она женщина гордая — то телефонный ее звонок не будет обозначать бесконечной докуки. Поэтому мне кажется, что я действую в данном случае, как говорится, «лойяльно».

Пожалуйста, напишите мне, не ленитесь, как Вы себя чувствуете после приезда. Каким воздухом дышит Москва?

Я работаю, хоть немного, но работаю, но все это с таким расчетом, чтобы публиковать после смерти. Я бы хотел заразиться литературной горячкой, но не могу.

Привет жене, привет Кольцовым.

Ваш *И. Бабель*

P. 23/XII—27

P. S. Напишите мне Ваш адрес, я не знаю номера дома.

---

[1] Друзья *(фр.)*.

41. А. Г. СЛОНИМ

Р. 26/XII—27 *26 декабря 1927 г., Париж*

Поздравляю вас, дорогие мои, с Новым годом. Хорошо бы нам всем заработать немного счастья 〈...〉

Жизнью своей я не совсем доволен, можно бы сделать больше, чем я делаю, но все же мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности.

Несколько времени тому назад я послал вам несколько новых романов. Теперь у меня приготовлена для А. Г. партия действительно *интересных книг.* Если первая посылка дойдет — я немедленно вышлю вторую, которая много интереснее. Оказывается, единообразия в деле получения книг из-за границы нет — одни получаются, другие без всякой причины не доходят. Я хотел в Торгпредстве получить для верности лицензию, но в таких случаях лицензии не дают, а просто надо положиться на волю божью и таможни. К Воронскому теперь за работой обращаться бессмысленно, он во всех отношениях бессилен. Как это ни странно — но лучше всего позвонить Зозуле. Несколько дней тому назад я писал ему и предупредил о вашем звонке. «Огонек» — одно из немногих издательств, интересующихся переводами. Прошу держать меня au courant[1] этого дела.

Ужасно радуюсь успехам Льва Ильича и Илюши. Я инстинктивно, интуитивно всегда их уважал, а меня интуиция редко обманывает (редко обманывает, но метко!). Поэтому я думаю, что к Ольшевцу зайти по нефтяным вопросам — самое время. Если желаете — я с воодушевлением напишу ему...

Для того, чтобы жизнь моя в Париже была как можно более разумна — я стал читать замечательные старые книги по истории французской революции и — по совести — не могу оторваться, как в юности, читаю ночи напролет. Никто, кроме нас, эти книги понять не может. У меня для Анны Григорьевны приготовлены из этой серии две превосходные книги.

Простите меня за то, что я пишу так редко. Из жизни моей, идущей толчками, судорогами, мне трудно выкроить безоблачные часы для того, чтобы поговорить с людьми, которых я люблю. Мой отец лет пятнадцать ждал хорошего настроения для того, чтобы пойти в театр. Он умер,

---

[1] В курсе *(фр.)*.

бедняга, так и не побывав в театре. Но мы все-таки пойдем вместо него — иначе зачем живут на свете отцы и дети?

До свиданья. Я живу надеждой на то, что смогу скоро послать вам какое-нибудь мое сочинение. Принялся ли Илюша за новую работу? Все люди говорят, что ему не миновать Парижа. Здешний Montparnasse[1] с какой-то стороны поистине величествен. Это чудовищная биржа, школа, храм, ночлежка и Академия живописи и скульптуры. По последней переписи в Париже 40 000 художников и скульпторов — они едут из Китая, из Трансвааля, из Коста-Рики за славой, за наукой и мидинетками — не миновать Илюше Парижа...

И. Б.

42. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

10 января 1928 г., Париж

Дорогой мой Zozulia! Я очень рад тому, что живописное Ваше «безумие» продолжается. После Вашего отъезда я подумал, что скептицизм мой был очень мелкотравчатый и что Ваша «мания» — превосходная мания, полная жизни и огня. Мне бы такую... И теперь я почему-то верю в нее всем сердцем. Не бросайте, теперь уж и я чувствую, что бросать не надо... Теперь о моей растреклятой работе. По моим планам — я до весны пошлю в «Прожектор» рассказ, относительно книжки поговорим летом в Москве; я думаю, раньше лета мне не удастся всем негодующим моим кредиторам заткнуть хайла. Вы-то, надеюсь, не подозреваете меня, подобно растерзанным редакционным романтикам, в дьявольской хитрости: вот, мол, пишет, строчит, не печатает, ждет своего часа... Никакого часа я не жду, очень долго мне не писалось, сделаться профессионалом, к великому моему неудобству, мне никак не удается; как только допишу — сейчас же пошлю печатать, как и все прочие люди... О сплетнях, сообщаемых Вами, пишут мне со всех концов. Сижу я здесь потому, что лечу временем семейные мои неурядицы, а во-вторых, не хочется приезжать в Москву с пустыми руками. Причины эти просты, как проста истина, вы-то знаете...

Собирается ли сюда Сима с девочкой? Как поживает Ваш фотографический аппарат? Много ли работаете? (По-

---

[1] Монпарнас *(фр.)*.

мните о душе!!) Неуклонно трудитесь над тем, чтобы выслать Лебедевой деньги. Как известно, они здесь пригодятся. Я написал Воронскому, но не получил от него ответа. Что с ним? Редактирует ли он хотя бы «Прожектор»? Цифры «Огонька» действительно астрономичны. В Англии Вы были бы лордом Нортклифом (?). Ну, до свидания. Привет вашим — и особо — Кольцовым. Евгения Борисовна — поклонница и обожательница Ваша — кланяется от всего сердца.

Ваш *И. Бабель*

Р. 10/I—28

P. S. Только что узнал, что у Константиновских умерла племянница. Сегодня хоронили. Он в большом горе.

43. И. Л. ЛИВШИЦУ

10 января 1928 г., Париж

Спасибо, дорогие мои, за письмо.

⟨...⟩ Первые месяцы пребывания моего в Париже, месяцы устроения, не способствовали, конечно, «вдохновению». Но понемногу я втянулся в работу. Снова, как в дни моей юности, я задумываю coup d'état[1] в моей литературе. Посмотрим — удастся ли. Маленечко я устал, да и coup потруднее, чем первый. Может быть, к лету закончу. До окончания работы я в Россию не двинусь. Я и сам знаю, что «лечение временем», предпринятое мною, должно быть доведено до конца. О сплетниках же, количество и качество коих мне известно, не беспокоюсь — я огражден от них непобедимым равнодушием, это у меня счастливая черта — равнодушие в opinion publique[2].

О жизни в Париже — что же вам рассказать? Несмотря на тоску мою по России — в Париже хорошо бы жить, если бы чуточку больше денег. Я не привык к такому скудному существованию и развернуться никак не могу. Очень мало денег — но тут до поры до времени ничего не поделаешь. А страна — как это ни странно — ужасно отсталая и очень провинциальная. Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей.

---

[1] Государственный переворот *(фр.)*.
[2] Общественное мнение *(фр.)*.

Я очень рад, что девочка у вас хорошая — она уже небось совсем человек в доме. Люсе надо бы написать нам письмо домой — Жене. К нам сейчас приехала из Брюсселя мама. Она такая же чудная, как и раньше. Мера — та все еще не может оправиться, похварывает, это очень грустно.

Книжки я тебе завтра вышлю, но получишь ли ты их — гадательно, одни доходят, другие нет, надеюсь, что стихи-то дойдут.

Грустно, что у тебя заработки гнусные, да, наверное, предпринять нечего для их увеличения.

Обо всем, что в моей жизни достойно внимания, я буду писать вам — не забывайте и меня. Если ты считаешь, что мне полезно знать что-нибудь сверх моего «знатья» — напиши.

Целую вас всех

Ваш *И. Бабель*

P. 10/I—28

44. А. М. ГОРЬКОМУ

26 января 1928 г., Париж

Дорогой Алексей Максимович.

Я уезжал из Парижа в деревню, вернулся и застал Ваше письмо. Спасибо за приглашение. От всего сердца благодарю Вас. Можно ли мне приехать весной? Я очень хочу Вас видеть. Я все бьюсь над работой, которую начал давно. Поездка в Италию — соблазнительная чрезвычайно — может рассеять рабочее мое настроение, я этого боюсь. Поэтому мне хотелось бы приехать попозже, весной.

Слухи о моих «болячках» преувеличены. Еще поживу.

Любящий Вас

И. Бабель

26/I—28
15 Villa Chauvelot
Paris 15.

45. А. Г. СЛОНИМ

26 января 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Послал Вам: Линдберга «Mon avion et moi»[1] и Воронова «Conquete de la vie»[2]. Первая — как мне кажется — если ее сократить — чрезвычайно подойдет для «Огонька», книга же Воронова представляет выдающийся интерес, и, по-моему, Госиздат или любое другое издательство должны ухватиться за нее. Есть ли у Вас связи в Зифе — они, кажется, легче на подъем. Я думаю, что Вы можете просто обратиться к Нарбуту от моего имени.

Выписать стоящую книгу рассказов или просто стоящую книгу здесь очень трудно. По-нашему — французы пишут о пустяках, с нашей точки зрения (и как будто это правильная точка зрения), все это очень скучно. Я не теряю надежды выслать Вам в конце этой недели еще несколько книг, на этот раз более подходящих. О деньгах — нечего толковать. Все это гроши. «Свои люди — сочтемся».

Отзыв Ваш о «Бронепоезде» меня удивил. Из Москвы все время доносятся стоны восторга. На «Закат» я никаких надежд не возлагаю и даже наоборот.

Что касается меня — тружусь. Телу жить здесь хорошо — душа же тоскует по «планетарным» российским масштабам.

Евгения Борисовна выставляла картину в осеннем салоне. Говорят, что у нее есть способности, но очень она ленива, ничего не работает. Кланяется она Вам изо всех сил.

Мужчинам вашим шлю пламенный пролетарский привет и клич, конечно,— какой бы клич им послать? — «товарищи, ходите пешком» — что ли?..

Ждите от меня через несколько дней очередного послания и новых книг.

Любящий вас всем сердцем

И. Бабель

Р. 26/I—28

---

[1] «Мой самолет и я» *(фр.)*.

[2] «Завоевание жизни» *(фр.)*.

46. И. Л. ЛИВШИЦУ

26 января 1928 г., Париж

Милый мой Исаакий! ⟨...⟩ Книги ты, я надеюсь, получишь. Книжный магазин сообщил мне, что задержка вышла из-за того, что никак нельзя было достать книгу Valery[1]. Из снобизма книги Valery печатаются — можешь ты себе это представить — в пятидесяти или ста экземплярах,— делает он это для того, чтобы «чернь» не читала. Но поэт, все говорят, изумительный.

О моей работе... Контуры ее — успех ее или неуспех (для меня) обнаружится, я думаю, месяца через три. Тогда я тебе подробно о ней напишу. А сейчас что можно сказать — тружусь трудно, медленно, с мучительными припадками недовольства.

Здоровье удовлетворительно. Получил письмо от Горького, приглашает к себе в Италию. Если будут деньги — весной поеду. «Конармия» вышла в Испании в превосходном издании и, говорят, имеет там успех. Это открывает мне дорогу в Испанию, до сих пор ни одному русскому — ни белому, ни красному — визы не давали. Но для поездки нужно много денег...

Если можешь — пришли мне два-три экземпляра «Конармии».

Посылаю тебе записку Берсеневу, я ее нарочно пометил 5-го февраля; когда дело подойдет к премьере — предъявишь ее и получишь билеты. Где ты читал «Закат»? Разве он уже напечатан? Положительного твоего мнения об этой вещи, прости меня, я не разделяю. Как поживает Ита Ахрап? Где она, что она? Низко кланяюсь Люсе и отпрыску. Будьте веселы и благополучны.

Твой *И.*

P. 26/I—28

47. И. Л. ЛИВШИЦУ

2 февраля 1928 г., Париж

Дорогой Изя. Надо говорить просто — меня нужно спасать. Мне нужно добыть себе пищи еще месяцев на пять-шесть, после этого, надо надеяться, унизительный период моей жизни кончится. Надеяться на это надо, потому что

---

[1] Валери *(фр.)*.

я работаю: во что бы то ни стало я должен добиться того, чтобы эта работа продолжалась без помехи. Помоги.

Посылаю письмо к Бескину (заведующему литературно-художественным отделом Госиздата). Если он согласится дать просимые четыреста рублей, то надо, чтобы Госиздат деньги эти как можно скорее перевел по телеграфу. Дело это трудное, в Валютном Управлении — недоброжелательство и волокита, как правило,— поэтому, если не толкать, ничего не выйдет. Письмо к Бескину положи в конверт, заклей и передай лично, это важно для того, чтобы были личные впечатления. Ты должен держаться как доверенное лицо, но без всяких сантиментов, больше, чем сказано в моем письме, говорить не следует. А посторонним, конечно, никому — а то все начнут говорить, что я прошу подаяния на улицах Парижа.

Есть еще вероятие, что я получу деньги в «Круге», но об этом я попрошу Анну Григорьевну Слоним. В твоем письме неувязка (вернее, в Госиздате неувязка) — художественный сектор утверждает, что третье издание выйдет через месяц, а в издательском отделе говорят, что книга в печать еще не поступала. Не может ли Лизаревич разъяснить тебе это противоречие?

Получил ли ты книги Кокто и Валери? Я мог бы тебе послать несколько интересных книг, но нету денег на покупку — подожди маленько, я все надеюсь, что ждать придется недолго.

Будь здоров и весел и не поминай меня лихом.

Домочадцам привет с любовью. К ним будет отдельное обращение от всей семьи.

Твой *И*.

Р. 2/II—28

48. И. Л. ЛИВШИЦУ

17 февраля 1928 г., ⟨Париж⟩

Уважаемый товарищ. Денег из Госиздата еще не получил. Думаю, что здесь будет затруднение. Несколько дней тому назад «Известия» (Ольшевец) прислали мне по телеграфу двести рублей. Капля эта в бушующем море позволила мне заплатить долги. Я боюсь, что Валютное Управление не разрешит переслать мне в феврале еще четыреста рублей. Надо все же им указать на то, что я в течение нескольких месяцев не получал ни копейки. Во всяком случае, я думаю, что оставлять Госиздат в покое нель-

зя, а то все это заглохнет. Я знаю, что поручение хлопотать о деньгах в Госиздате — это самое подлое поручение, которое можно дать смертному, но больше я тебя такими хлопотами отягощать не буду. Постараюсь устроиться так, чтобы получать деньги здесь и чтобы они выплачивались в Москве.

Берсеневу я написал о том, чтобы тебе прислали три места на генеральную репетицию. Думаю поэтому, что записка теперь тебе не нужна. Я непоколебимо убежден, что пьеса провалится с неслыханным позором. Все предпосылки для провала — налицо. Если тебе не лень будет — напиши мне свои впечатления.

Книгу Валери, вероятно, задержали на границе. Пойду сегодня в книжный магазин, посмотрю, что бы тебе послать еще. Я ничего не читаю — когда пишешь, читать не хочется. Жизнь у меня — ты это понимаешь — нелегкая, борюсь. Посмотрим, что из этой борьбы выйдет.

Мама уедет через несколько дней. Ее пребывание было омрачено, увы, второй старушкой, которая от нее не отходила ни на шаг, поэтому мама мало выходила; вторая старушка у нас такова, что миру ее особенно показывать не приходится. Впрочем, мама обнаруживает несокрушимое добродушие, и глаза ее блестят по-прежнему.

Если фининспектор не досаждает, то тут, конечно, и толковать нечего — будем молчать, как мыши.

Пожалуйста, высеки из Госиздата эти 400 рублей. Это будет поступок, достойный бронзового памятника.

Женя ушла в Академию рисовать. Будем верить, что она напишет и что ее письмо застанет вас в живых. Трудновато у нее с письмами.

С пламенным приветом

И.

17/II—28

49. А. Г. СЛОНИМ

18 февраля 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Вчера узнал, что подлая librairie[1] до сих пор не послала Вам книги Charmian London[2] — поэтому вчера послал Вам свой экземпляр и скандальную книгу Бруссена (продолжение воспоминаний об

[1] Книжный магазин *(фр.)*.
[2] Чармиан Лондон *(фр.)*.

Анатоле Франсе) и биографию Диккенса, написанную Честертоном. Здесь большая мода на биографии-романы. Я Вам пошлю еще блистательную биографию Бальзака. Думаю, что ее стоит перевести на русский язык, она найдет много читателей, да и форма необычная. С книжкой Лондона все было бы хорошо, если бы не последние главы, где говорится об отношении Лондона к войне, увы, оно было положительное. Бруссена, по-моему, легко пристроить,— книга пахнет дурно, но написана хлестко.

«Закат» провалился с небывалым позором. Я написал Берсеневу, чтобы он Вам прислал места на генеральную репетицию. Я знаю, что Вы будете опечалены этим спектаклем. Если захотите — напишите мне Ваши впечатления.

С нетерпением жду от Вас телеграммы. Если Вы получите деньги, сделайте милость, храните их у себя. Пересылать их мне нет никакой возможности, поэтому я здесь буду искать людей, которым нужно делать переводы в Москву. По их поручениям придется выплачивать, другого выхода нет — да и не знаю, можно ли будет воспользоваться этой комбинацией. Во всяком случае Вам предпринимать тут нечего. Беда с этими переводами. Живем скудно до крайности. Я, впрочем, не унываю. Глупо только то, что именно в Париже совершенно нет денег. Очень прошу Вас подтвердить получение книг.

Жму рабочие руки Ваших мужчин и бью им тысячу поклонов.

Любящий Вас

И. Бабель

Р. 18/II—28

50. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 24/II—28 *24 февраля 1928 г., Париж*

Дорогой Лев Вениаминович!

Сделайте милость, пойдите на представление «Заката» и потом не поленитесь описать мне этот позор. Получил я пьесу в издании «Круг». Это чудовищно. Опечатки совершенно искажают смысл. Несчастное творение!..

Из событий, заслуживающих быть отмеченными, на первом месте — упоительная, неправдоподобная весна. Оказывается, люди были правы — хороша весна в Париже!

Проездом в нашем городе гостят Безыменский и Жуткин. Первого из них видел и чуть не подавился от хохота.

Непрезентабельно выглядят гении на фоне парижской мостовой! А впрочем, Безыменский — хороший человек.

До февраля я работал порядочно, потом затеял писать одну совершенно удивительную вещь, вчера же в $11^1/_2$ часов вечера обнаружил, что это совершенное дерьмо, безнадежное и выспренное к тому же... Полтора месяца жизни истрачены впустую. Сегодня еще горюю, а завтра буду уже думать, что ошибки учат. Кончили ли Вы уже Вашу повесть? Жажду ее прочесть! Переехали ли на новую квартиру? Вообще опишите за Вашу жизнь, а то я совсем оторвался от масс...

Крепко жму скептическую Вашу руку.

И. Бабель



51. А. М. ГОРЬКОМУ

29 февраля 1928 г., ⟨Париж⟩

Дорогой Алексей Максимович!

Начинаю хлопотать о визе. Приеду в апреле. Спасибо, что не забываете меня. Тревожиться обо мне не стоит, а может, стоит... Перемудрил я, кажется. Окончу проклятую книгу, из которой никак выбраться не могу, и снова кинусь в «мир», хлебнуть свежего воздуха. И «мир» выберу погуще. Три года живу среди интеллигентов — и заскучал. И ядовитая бывает скука. Только среди диких людей и оживаю. Вот дурак-то выдался...

Был у меня Безыменский, рассказал, что Вы бодры и в добром здравии. Я очень рад. Жуткина еще не видел, бог спас... (Жаров и Уткин называются в Москве Жуткин).

Посылаю Вам мою пьесу «Закат», чудовищно изданную «Кругом»; грубейшие опечатки совершенно искажают текст. Я, какие ошибки заметил, выправил. Пьеса эта вчера — 28/II — в первый раз была представлена на сцене 2 МХАТа, надо думать — провалилась.

До свиданья, Алексей Максимович.

Ваш всем сердцем

И. Бабель

29/II—28

52. И. Л. ЛИВШИЦУ

7 марта 1928 г., Париж

Достолюбезнейший и обожаемый Исаакий. Как и следовало ожидать — «Закат» провалился. «Событие» это произвело на меня, как бы это получше сказать, благоприятное впечатление, во-первых, потому, что я был к нему совершенно подготовлен и оно чрезвычайно утвердило меня в мысли, что я разумный и трезвый человек, и, во-вторых, я думаю, что плоды этого провала будут для меня в высокой степени полезны и послужат мне на пользу.

Но ты-то как опростоволосился с телеграммой. Впрочем, телеграмму гораздо более восторженную я получил от труппы. Поэтому утешься — ты ошибался в большой компании. Единственное, чего я вправду не ожидал,— это то, что спектакль выйдет скучным, и он был, очевидно, томительно скучен. Еще в этом худо то, что никаких денег не будет, потому что, очевидно, никакого скандала (способствующего сборам) не было, а просто спектакль покорно опустился в Лету. Если тебе попадутся какие-нибудь рецензии — сделай одолжение — пришли.

⟨...⟩ Я хворал гриппом, но теперь поправился и чувствую себя хорошо. Весна упоительная, душа рвется к небесам, и самочувствие поэтическое. В начале апреля уеду, вероятно, к Горькому в Италию. Он приглашает так настойчиво, что отказываться неудобно. Впрочем, когда эта поездка примет более осязательные формы — я напишу тебе точнее. Пока же ни на какие передвижения нет денег. Я об этом не тужу, потому что мне и двигаться не хочется. Если ты сможешь это сделать — узнай, были ли сборы на первых представлениях «Заката» — все-таки несколько сот рублей очистится.

Ну, до свидания. С весной вас. С новым солнцем и новым счастьем (исхожу я из того, что счастье внутри нас).

Твой *И.*

P. 7/III—28

53. И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 20/III—1928 *20 марта 1928 г., Париж*

Дорогой мой. Давно не писал тебе. Прости. Писать по совести — надо было жаловаться (бесполезное занятие), а не по совести — не хотелось. Переход на новые рельсы

дается мне трудно, профессиональное занятие литературой (а я впервые здесь занялся ею профессионально) дается мне трудно, сомнения борят мя мнози, такой снисходительности к самому себе — писать и жить, как пишут и живут почти все другие, 99% пишущих,— не могу найти в своей душе.

Целый месяц хворал душевно и физически (очевидно, мозговое переутомление) и только теперь ощущаю вновь в себе, или, вернее, вновь сочинил в себе, какую-то силу для борьбы и «размышления», выражаясь высокопарно.

Послезавтра, в воскресенье, едем к маме и Мере в Брюссель, а оттуда все вместе поедем, может быть, в какую-нибудь приморскую деревушку. Сколько пробудем в Бельгии — не знаю, может быть, месяц, потом вернемся в Париж, а в сентябре я очень бы хотел выехать в Россию, не в Москву, а в Россию. Во всяком случае, я на отлете...

Ответ на это письмо все же можешь прислать в Париж, мне перешлют. Как обстоят дела у тебя, что девочка, живете ли вы на даче? У тебя тоже было невеселое время, я знаю, и никто не мог это почувствовать лучше меня, тягостно отбивающегося от болезни. Надо назвать то, что я испытываю, настоящим словом,— то есть болезнью, неврастенией, как в дни юности ⟨...⟩

Твой *И.*

54. Л. В. НИКУЛИНУ

П. 20/III—28 *20 марта 1928 г., Париж*

Mon pauvre Vieux!..[1] Окружены упоительнейшей весной — живем великолепно. Недавно был ni carême[2], ну и дела пришлось увидеть. Нет, грех хулить, город хороший, беда только, что очень стабилизованный... В апреле уеду, наверное, в Италию к Горькому, патриарх зовет настойчиво, отказываться не полагается. Поживу там до отъезда Горького в Россию. Несмотря на зловещее материальное положение — 80 фр[анков] брату передали. Горько только подумать, что из этих денег, политых кровью и желчью, сделают такое мелкобуржуазное употребление. У меня сейчас, надо Вам сказать, выдающееся пролетарское самосознание. Кстати, о «Закате». Горжусь тем, что провал его

---

[1] Мой бедный старик *(фр.)*.
[2] Середина поста *(фр.)*.

предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется — напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в «Вечерней Москве» или в «Вечерней Красной» — и пьеса эта будет называться «На переломе» (может, и «На стыке») или, скажем, «Какой простор!»... Сочинения я хоть туго, но сочиняю. Печататься они будут сначала в «Новом мире», у которого я на откупу и на содержании. Получил я уведомление о том, что Ольшевца уже нет в «Новом мире» — вот пассаж!.. Не знаете ли подоплеки?.. Я хворал гриппом, но теперь поправился и испытываю бодрость духа несколько даже опасную — боюсь лопну! Дружочек Лев Вениаминович, не забывайте меня, и бог вас не оставит. Очень приятно получать ваши письма. Наверное, и новости есть какие-нибудь в Москве.

Ваш *И. Бабель*

55. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 2/IV—28 *2 апреля 1928 г., Париж*

Дорогой Л. В.

С наслаждением прочитал в «Новом мире» Ваш прелестный, действительно прелестный очерк и, грешный человек, позавидовал вам — вот ведь никакого глубокомыслия, с прозрачной ясностью, простотой и умом. Я как-то никак не могу слезть с натуры. Очерк этот — лучшее, что я читал в наших журналах «о заграничных впечатлениях». Вот вправду взял умный и умудренный человек читателя за руку, и повел, и показал — без философии на века, без рискованных и часто дурацких противопоставлений, без назойливого учительства,— и показал так, что и сказать ничего нельзя — чистая правда и очень тонкая, очень честная,— и написано так же. Мне очень понравилось, и другим читателям тоже.

Я жду итальянской визы. Если дадут, поеду на месяц в Сорренто и, если ограниченные средства позволят,— еще куда-нибудь. Об отъезде сообщу вам.

Жалею Ольшевца. Я очень люблю породу евреев-пьяниц. Ведь это часто единственное, за что можно простить человека. Что он теперь делает? Первой книжки «Красной нови» не видел. Постараюсь найти. Если не трудно — пришлите.

⟨...⟩ Приезжайте в августе. До этого времени я еще буду

в Париже — вряд ли до августа кончу мой «Сизифов труд». Теперь здесь очень интересно,— можно сказать, потрясающе интересно — избирательная кампания,— и я о людях и о Франции узнал за последнюю неделю больше, чем за все месяцы, проведенные здесь. Вообще мне теперь виднее, и я надеюсь, что к тому времени, когда надо будет уезжать,— я в сердце и в уме что-нибудь да увезу. Будьте веселы и трудолюбивы!!! Будьте веселы и благополучны!.. Открытки ваши, выражаясь просто, растапливают мне сердце, и прошу их слать почаще.

Ваш *И. Бабель*

P. S. Что такое произошло с Полонским? Отчего он пал и в чем выражается его воскресение? И еще одна просьба — узнайте по телефону у кого-нибудь домашний адрес Ольшевца, я хочу ему написать, пускай не думает, что я хам.

И. Б.

56. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨2 апреля 1928 г., Париж⟩

⟨...⟩ Пьеса все-таки идет в Москве. Теперь уже все знают, что я сделал mon possible[1], но театр не смог донести до зрителя тонкости, заключающейся в этой грубой по внешности пьесе. И если она кое-как держится в репертуаре, то, конечно, благодаря тому, что в этом «сочинении» есть от меня, а не от театра. Это можно сказать без всякого хвастовства. Теперь — московские новости. Вслед за Полонским из «Нового мира» вышиблен Ольшевец, и можешь себе представить — за что? За пьянство. Он учинил в пьяном виде какой-то дебош в общественном месте, и течение его карьеры прервалось. Очень жалко. Я всегда любил эту разновидность людей — а йид, а шикер...[2] Но самое, как говорится, пикантное впереди. На место Ольшевца назначен... Ингулов. Я получил от него очень трогательное письмо — что вот, мол, мы начинали вместе, что я первый в вас поверил, и теперь судьба, после нескольких лет перерыва, снова сводит нас на тех же ролях, и что мы и на этот раз покажем миру... и прочее и прочее... Действительно, в этом возвращении «ветра на круги своя» есть что-то символическое и мне лично очень приятное ⟨...⟩

И.

---

[1] Все возможное *(фр.)*.
[2] Еврей-пьяница *(идиш)*.

57. А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 10/IV—28 *10 апреля 1928 г., Париж*

Дорогой Алексей Максимович!

Я жду итальянской визы. Ожидание это может продлиться неделю, а может, и больше. Напишите мне, пожалуйста, когда Вы едете в Россию. Как бы нам не разминуться... По совести говоря, Италия потеряет для меня тогда свою притягательную силу.

Я ничего не написал по поводу Вашего юбилея, потому что чувствовал, что не сумею сделать это так, как надо. О Ваших книгах и о Вашей жизни у меня есть мысли, которые мне кажутся важными, но они не ясны еще, сбивчивы, противоречивы... Придет время, когда я все додумаю и смогу написать о Вас книгу, я верю в это... А пока помолчу. Но все эти дни я шлю Вам лучшие пожелания моего сердца, пожелания, какие только можно послать человеку, ставшему неразлучным нашим спутником, другом, душевным судьей, примером... Мысль о Вас заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил. Ничего лучше нельзя придумать на земле.

Ваш *И. Бабель*

58. А. Г. СЛОНИМ

19 апреля 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Послал сегодня Илюше художественные журналы. Прошу подтвердить их получение. Интересны ли они? Пусть Илюша напишет, если не лень, я тогда еще пошлю.

⟨...⟩ Мне кажется, что очень годится для перевода Francis Carco[1], по-моему, хороший писатель. Я Вам пошлю несколько его романов.

Итальянской визы все нет. Я думаю, что еще несколько дней, и моя поездка потеряет смысл — Горького уже не будет в Сорренто. Повидаться с ним хочется, но я не очень буду убиваться, если поездка не состоится. Как-никак — она разобьет мою работу, а я бы хотел избегнуть этого.

Выйдет ли что-нибудь с романом Бенуа?

У меня ничего нового — работаю педантично, как немецкий профессор. Наверное, выйдет дрянь. Здесь теперь

---

[1] Франсис Карко *(фр.)*.

избирательная кампания bat son plein[1]. Надо по совести сказать, что демократия представляет собою часто зрелище шумное, суетливое и омерзительное. Для нас, конечно, «наблюдателей»,— очень интересно.

Надеюсь, что дня через два-три получу от Вас благую какую-нибудь весть, тогда настрочу послание пообширнее, а пока желаю здравствовать в мире и веселии с присужденным мужем и единоутробным скульптором.

Жму руку.

P. 19/IV—28 Ваш *И. Бабель*

59. А. Г. СЛОНИМ

28 апреля 1928 г., Париж

Ура, получил двести долларов! Ура! Можно себе представить, какие чудеса настойчивости Вы проявили, милая Анна Григорьевна. Спасибо, не просто спасибо для вежливости, а от глубины организма!..

Письма мои и телеграммы, увы! Вас, вероятно, замучили. Если Модпик в припадке безумия выдаст 500 рублей, то — как я Вас уже просил в прошлом письме — пошлите почтовым переводом в Центросоюз 250 рублей, а остальные зажмите в кулак и держите крепко! Ну их к бесу, с их отсылками, всю душу вымотали, лучше я здесь буду выискивать жертву...

Завтра второй тур французских выборов. Вот дела делаются! Дожить бы, увидеться с Львом Ильичом и рассказать ему, что я знаю о французской демократии, а знаю я уже порядочно. Тартарены из Тараскона переживают полосу расцвета — впрочем, как и во всяком строе есть «холодное и горячее»...

«Поставщик» мой сообщил мне, что он отправит Вам романы Карко только в понедельник, за что я измерзавил его, но, находясь на чужой и нейтральной территории, не мог принять более действительные меры воздействия...

После двухмесячного перерыва выглянуло солнце, чего и Вам желаю. Шовинистические французы говорят, что такое живительное солнце бывает только во Франции и из всей Франции только в Париже. Ладно...

Таперича до свиданья, и кланяюсь Вам от бела лица до сырой земли, и Вы обо мне еще услышите!!!

P. 28/IV—28 Ваш *И. Б.*

---

[1] В полном разгаре *(фр.)*.

60. Ф. А. БАБЕЛЬ

〈21 мая 1928 г., Париж〉

〈...〉 В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно,— ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса. Сборник пошлю вам завтра. Пожалуйста, сохраните его, надо все-таки собирать коллекцию 〈...〉

И.

61. А. Г. СЛОНИМ

27 мая 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. В четверг в Candidé[1] (правая еженедельная литературная газета) началась печатанием автобиография Муссолини. Газету я Вам послал в день выпуска заказной бандеролью (теперь я думаю — не лучше ли было бы послать и на адрес какой-нибудь редакции) и последующие номера буду посылать аккуратно. Этим материалом Вы обязательно воспользуйтесь — я думаю, любое издательство возьмет его (с купюрами, если надо, или сопроводив предисловием). Получение газеты очень прошу подтвердить мне воздушной почтой. Кроме того, несколько дней тому назад вышли мемуары Айседоры Дункан, книга, возбудившая сенсацию своей откровенностью и оригинальностью. Многие сравнивают ее с Confessions Roussean[2]. Я дочитаю ее сегодня и завтра пошлю Вам заказной бандеролью. Это, по-моему, должно пойти.

«Красная нива» просила меня присылать им очерки и рассказы французских писателей. Я это буду делать, и у меня будет, таким образом, случай свести Вас с Ингуловым, редактором «Красной нивы», моим старым приятелем. Это, я думаю, самое верное дело, от него я ожидаю для Вас наибольших результатов.

Получил ли Илюша две маленькие книжки о скульпторах?

---

[1] Кандид *(фр.)*.
[2] «Исповедь» Руссо *(фр.)*.

⟨...⟩ Простите, что пишу так хаотически и таким экстраординарным почерком — у меня всего несколько минут до закрытия почты, я ужасно тороплюсь, хочется, чтобы это письмо ушло завтра на рассвете.

До свиданья, милые мои москвичи.

Ваш *И. Бабель*

P. 27/V—28

P. S. 200 рубл. получил. Да благословит Вас наш старый бог!

62. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

8 июня 1928 г., Париж

Милый Зозуля. Сима с «дитём» еще не были у нас, а может, и были, но нас не застали, мы на несколько дней уезжали в Бретань, к океану. Сделали больше тысячи километров на автомобиле, очень было хорошо. Не ложно говоря, будем страшно рады повидаться с Вашей женой и девочкой.

Денежные мои дела Вы нисколько не нарушили, но вот, пожалуйста, займите Анне Григорьевне 40 рублей для меня. Ей эти деньги нужно отослать в одно место немедленно, а гонорарий у меня предвидится только через несколько дней.

Как получаются у Вас картины? Вот ругайте меня дураком, а я их вижу, и они, кажется мне, хороши.

Работать я работаю, немного, конечно, много не умею, но гораздо методичнее, чем раньше; боюсь, как бы господь бог меня за эту методичность не наказал. Верный своей системе — я буду откладывать печатание как можно дольше.

Как поживают Лазарь Шмидт и Кольцов, кланяйтесь им от меня, кланяйтесь как можно душевнее. Если у Вас или у них есть какие-нибудь поручения (личные или журнальные), напишите мне, я все немедленно исполню; времени у меня порядочно, работаю я часа четыре в день, остальное время «фланирую» или, как сказал бы репортер, «наблюдаю».

Собираетесь ли Вы осенью за границу? Не смогли бы мы с Вами вместе учинить какую-нибудь эскападу? Мне здесь при всяких обстоятельствах еще несколько месяцев прожить придется.

Ну, до свиданья, до скорого, хорошо бы...

Любящий Вас *И. Бабель*

Евг[ения] Бор[исовна] кланяется и ждет обещанного письма.

Париж, 8/VI—28

63. А. Г. СЛОНИМ

8 июня 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Получили ли Вы номера Candidé и мемуары Дункан?

⟨...⟩ В здешних газетах было объявление, что на днях можно ждать опубликования рассказа авиаторов, перелетающих теперь Тихий океан. Это материал, который обязательно пойдет в Москве, я буду следить за этим делом, и как только статья появится, пошлю Вам ее воздушной почтой.

Неужели эти дураки не воспользуются мемуарами Дункан? Ведь действительно интересная книга.

Я совершил четырехдневную поездку в Бретань к океану на автомобиле, очень было хорошо — теперь наверстываю потерянное время и работаю, сколько могу.

Ну, до свиданья, дорогое «доверенное лицо». От всей души кланяюсь Льву Ильичу и Илюше.

Ваш *И. Бабель*

П. 8/VI—28

64. А. Г. СЛОНИМ

26 июня 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна.

Переводы для «Красной нивы» начнут поступать к Вам с начала будущего месяца. Очередной номер «Candide» я выслал. Ищу теперь только что вышедшую (или, может, она выйдет через день-два) книжку о знаменитом загадочном мультимиллионере Базиле Захарове (акционере величайших оружейных заводов мира). Книжка эта для Советской России, для разоблачения махинаций финансовых кругов и пушечных королей в деле подготовки войны представляет чрезвычайный интерес. Заявите ее, не теряя времени, в Госиздате или лучше в Зифе. Если найдете нужным, можете позвонить Владимиру Ивановичу Нарбуту о том, что, по моему мнению, книгу эту следует издать во что бы то ни

стало. За июнь я не получил от моего контрагента «Нового мира» ни одной копейки. Очень прошу Вас позвонить в контору «Нового мира» и попросить их выслать мне деньги за июнь телеграфно, без всякого промедления, потому что, гм-гм, жить, как бы это сказать, не на что, и, кроме того, деньги за июль попросите выслать в начале месяца, по возможности 1-го июля. Это очень для меня важно. Я думаю, что для Вас не составит труда позвонить заведующему конторой и, в случае надобности, проследить исполнение моей просьбы.

Вот и все дела.

Тружусь. Конца трудам не видно. Еще годов на пять работы есть, а потом начну свиней разводить. Скучаю по России. Как только выполню намеченную мною программу — полечу в Россию с восторженным кудахтаньем.

Всем вам, как пишут мужики,— поклон с сердечной любовью.

П. 26/VI—28 *И. Б.*

P. S. Описание перелета через Тихий океан еще не вышло. Книгу обещают выпустить очень скоро.

65. Ю. П. АННЕНКОВУ

Париж, 28/VI—28 *28 июня 1928 г., Париж*

Дорогой Юрий Павлович. Целую неделю ждал от Вас письма. Отчаявшись получить его, я принял приглашение одного замечательного француза приехать к нему погостить. Выезжаю туда (в Нарбонн — чудесное, говорят, место) завтра, пробуду там дня четыре, а потом, друг мой, надо ехать к маме в Брюссель. В Брюсселе я тоже пробуду недолго, и тогда бы можно дернуть к морю. Но Вы-то как долго останетесь в Сент-Маре? Как Вам там живется? Работаете ли? Напишите мне, не откладывая, для того, чтобы я мог сообразить — застану ли я Вас еще в Сент-Маре после поездки в Брюссель. Черт Вас дернул так долго молчать. Вместо Нарбонн я поехал бы к Вам!.. Но теперь отказаться нельзя, за мной пришлют автомобиль и пр. ...

В Париже жара и лето в цвету. Душа просит моря и солнца, но такое время настало для нас, что душу, что ни день, надо осаживать.

Будьте веселы и безмятежны. Е[вгения] Б[орисовна] кланяется от бела лица до сырой земли.

Ваш *И. Бабель*

66. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7/VII—28 *7 июля 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна!

⟨...⟩Я много работал и разъезжал (правда, победнее, чем американские миллионеры) в последний месяц,— работал, потому что надо, а разъезжал, потому что здоровье мое оставляет желать лучшего. Я затеял «Сизифов труд», почти для меня непосильный, и мозги часто мне изменяют, переутомляются, мне нужно призвать на помощь всю силу воли для того, чтобы выйти победителем из борьбы (а это борьба), которую я теперь веду,— войны с собственными нервами, с мозгами, с утомляемостью, с собственной бездарностью, с припадками слабости, с условиями чужбины. Жаловаться тут, конечно, не на что. Жизнь тогда только и похожа на что-нибудь стоящее, когда борешься.

С высылкой очередного номера «Кандида» я запоздал, потому что был в деревне; с опозданием, но все же я его выслал. Остальные буду посылать правильно. Письмо Нарбуту я напишу, когда выйдет книжка о Базиле Захарове, это случится, я думаю, через день-два; я пошлю ее Вам одновременно с письмом к Нарбуту. Статью от французского журналиста для «Красной нивы» получил, но она нуждается в коренной переделке, мне придется написать ее почти наново, поэтому нельзя было ее послать Вам. Подождем следующей. В Россию я рвусь всей душой — и думаю, что до конца этого года смогу выехать. Все зависит от того, как пойдет моя работа. А ее столько, размахнулся я так широко, что поневоле все идет медленно, а кроме того, «поспешишь — людей насмешишь». До свиданья, бедная моя спасительница, да благословят боги Вас, и супруга вашего, и сына вашего, и угодья ваши, и скот ваш, и всех нас грешных! Аминь!

И. Б.

P. S. Если не сочтете это бестактным, позвоните еще раз в контору «Нового мира» — чтоб они пораньше бы выслали деньги в этом месяце.

И. Б.

67. А. Г. СЛОНИМ

20 июля 1928 г., Париж

Дорогая Анна Григорьевна. Я пишу Вам теперь редко и скупо, потому что, если говорить по совести, то нынешнее мое состояние проще всего назвать словом болезнь. Борьба с нею занимает у меня столько времени, что для самых важных и душевных моих обязанностей не остается сил.

Послезавтра мы едем с Е[вгенией] Б[орисовной] в Бельгию к моей сестре и матери, рассчитываем поселиться с ними в маленькой приморской деревушке и пожить, сколько поживется, потом ненадолго вернусь в Париж — и затем в Россию, не в Москву, а в Россию, потому что у меня такое чувство — все, что я мог сделать за границей,— сделано.

«Кандид» я Вам посылаю аккуратно, не понимаю, почему Вы не получили последних номеров. Книга о Захарове все еще не вышла, письмо Нарбуту я пошлю одновременно с отсылкой книги Вам.

⟨...⟩ Несмотря на наш отъезд, пишите по-прежнему в Париж, письма перешлют, а если осядем где-нибудь, я адрес сообщу Вам немедленно...

Я подумал о том, что не надо сообщать Центросоюзу, где Вы возьмете 300 рублей для отдачи им,— а просто им сказать, что Вы получили от меня денежное такое поручение и выполните его первого. Право, я хотел бы поскорее вернуться в Россию уже только для одного того, чтобы перестать мучить Вас. Ну, до свиданья, милые мои, пора уже писать «до скорого свидания». Я думаю о всех вас с нежностью и с добрым чувством.

Ваш *И. Бабель*

P. 20/VII—28

68. А. Г. СЛОНИМ

St. Idelsbad (parcoxyde),
Villa Gustave Belgique
31/VII—28

31 июля 1928 г., Бельгия

Милая Анна Григорьевна!

Не могу сказать Вам, как переполнена благодарностью душа моя за то, что добровольно Вы расхлебываете заваренную мной кашу. Я здесь кое-как работаю, без Вас я не мог бы этого делать. И если из моей работы выйдет толк,— право, не малая заслуга будет принадлежать Вам. Я постепенно сокращаю фронт моих метаний, дел, отношений и, несмотря на все мелкие и гнусные неприятности, не

теряю куражу ни на минуту и линию свою буду гнуть до тех пор, пока не согну ее. Что это с Львом Ильичом? Не переутомился ли он? Какие мы неверные, хрупкие машины,— и если бы их колеса не были одушевлены волей, то вся эта история вообще ни к черту бы не годилась. Надо бы Льву Ильичу, конечно, в деревню, к солнцу и воде — но что советовать, Вы сами знаете... Я всеми силами души желаю ему выздоровления.

Получили ли вы книгу Лоуренса? Трудно найти лучшую книгу для перевода. Будет совершенно бессмысленно, если издательства откажутся от нее. Жалко упустить такой случай. Напишите мне, что Вам ответят в Зифе ⟨...⟩

«Новому миру» я отправлю сегодня ясное и искреннее послание. Я скажу им, что, несмотря ни на что, я не изменю ни на йоту систему своей работы, не ускорю ее насильно ни на один час и никаких точных сроков не назначу. Все, что я напишу, я отдам им, а к прекращению «пенсиона» я готов. Всем «подведомственным мне лицам» я объявил, что с радостью вхожу в период денежной нужды, что жизнь свою я перестрою так, чтобы не зависеть от литературных заработков, и что только при соблюдении этого условия из моих дел выйдет толк. Пробуду я здесь числа до 20-го августа, потом уеду в Париж и там буду готовиться к путешествию на родину. О сроках я, конечно, сообщу Вам. Работал ли в последнее время Илюша? Доволен ли он своей поездкой в Ташкент? Постараюсь из здешних глухих мест отправить письмо воздушной почтой. Страна Фландрия чудесна. Мне это нравится больше Франции. Сердце мое лежит, оказывается, больше к германским северным народам. Раньше никогда бы я этого о себе не подумал. Погода, впрочем, плохая. Купаться все еще нельзя. Я-то этого не замечаю, у меня делов много, но спутники ропщут. Писать можете мне по адресу, изложенному на конверте. До свидания, мои спасители.

И. Бабель

69. В. П. ПОЛОНСКОМУ

St. Idelsbad,
Villa Gustave Belgique
31/VII — 28

31 июля 1928 г., Бельгия

Дорогой Вячеслав Павлович! Мне переслали из Парижа письмо Вашего секретариата, формально правильное и чудовищно несправедливое и мучительное по существу. Я отвечу на него как можно искреннее, скажу, что думаю.

А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно,— не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов. Месяца два тому назад я попытался поднатужиться, смазать, поспешить и поплатился за это страшным мозговым переутомлением, неработоспособностью, выбытием из строя на полтора месяца. Больше это не повторится. По-прежнему стою я на том, чтобы всю сделанную работу сдать «Новому миру», попрежнему я полагаю, что несколько вещей я успею сдать до 1 января. Если редакция прекратит мне выплату денег — я ни в чем не изменю своего отношения к «Новому миру» и никому, кроме как Вам, рукописей не пошлю. Возможно, что денежная нищета послужит мне только на пользу и я смогу на пять месяцев раньше привести в исполнение задуманный мной план. План этот заключается в том, чтобы на ближайшие годы перестроить душевный и материальный мой бюджет таким образом, чтобы литературный заработок входил в него случайной и непредвиденной частью. Тряхнука я стариной, нырну в «массы», поступлю на обыкновеннейшую службу — от этого лучше будет и мне, и моей литературе.

В России я буду в начале октября. Пишу Вам с побережья Северного моря, гощу у сестры. В конце августа вернусь в Париж. Я затеял там собирание материалов на очень интересную тему. Поиски эти возьмут у меня месяц, а потом домой.

Горестное письмо «Нового мира» смягчено известием о возвращении Вашем в редакцию. В последние месяцы русская литература не балует нас добрыми вестями, поэтому нынешний день для меня, для любителя российской словесности,— радостный, а не грустный. Признание это тем более имеет цены, что оба ваши предшественника были давнишние мои личные друзья. До свидания, Вячеслав Павлович.

Любящий вас *И. Бабель*

P. S. Сделайте одолжение: попросите секретариат написать мне, будут они мне посылать деньги или нет. Мне это, как Вы понимаете, важно знать.

И. Б.

70. Л. В. НИКУЛИНУ

Остенде, 7/VIII—28 *7 августа 1928 г., Остенде*

Дорогой Лев Вениаминович. По доходящим до меня слухам, театр МГСПС отлично и до конца справляется с парижской буржуазией, но пусть он возьмется за Остенде! Даже его фантазии не хватит! Повидал я всякой всячины на моем веку — но такого блистающего, умопомрачительного Содома и во сне себе представить не мог. Пишу я Вам с террасы казино, но здесь я только пишу, а кушать пойду в чудеснейшую рыбачью гавань, где фламандцы плетут сети и рыба вялится на улице. Выпью за Ваше здоровье шотландского пива и съем фрит мули. Будьте благополучны.

Ваш *И. Бабель*

71. А. Г. СЛОНИМ

Остенде, 7/VIII—28 *7 августа 1928 г., Остенде*

Милые защитники и покровители. Пишу вам с террасы казино и то, что на сем виде изображено, то и вижу. И следовательно, перед моими глазами расстилаются самые богатые, бездельные люди мира и самые красивые и голые женщины — какие только есть на нашей планете. Ни во сне, ни наяву не мог я этого себе представить. Тут что за англичанина ни возьми — он мог бы выстроить машиностроительный завод и проложить асфальтовую дорогу на 100 километров...

Биографию Линдберга пока не нашел. Если здесь найду — вышлю из Брюсселя.

Ваш *И. Б.*

72. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 30/VIII—28 *30 августа 1928 г., Париж*

Дорогой Л. В. Я до сих пор не привел свою литературу в вид, годный для напечатания. И не скоро еще это будет. Трудновато мне приходится с этой литературой. Для такого темпа, для таких методов работы нужна бы, как Вы справедливо изволили заметить, Ясная Поляна, а ее нет, и вообще ни шиша нет, я, впрочем, этих шишей добиваться не буду

и совершенно сознательно обрек себя на «отрезок времени» в несколько годов на нищее и веселое существование. Вследствие всех этих возвышенных обстоятельств — я с истинным огорчением (правда, мне это было очень грустно) отправил Вам телеграмму о том, что не могу дать материала для газеты. В Россию поеду в октябре. Где буду жить — не знаю, выберу место поглуше и подешевле. Знаю только, что в Москве жить не буду. Мне там (в Москве) совершенно делать нечего... Какой такой дом Вы выстроили и где?

Я сейчас доживаю здесь последние дни и целый день шатаюсь по Парижу — только теперь я в этом городе что-то раскусил. Видел Исаака Рабиновича, тут, говорят, был Никитин, но мы с ним, очевидно, разминулись, а может, я с ним увижусь. Из новостей — вот Анненков тяжко захворал, у него в нутре образовалась туберкулезная опухоль страшной силы и размеров. Позавчера ему делали операцию в клинике, где работал когда-то Дуайен. Мы очень боялись за его жизнь, но операция прошла как будто благополучно. Доктора обещают, что Ю. П. выздоровеет. Бедный Анненков, ему пришлось очень худо. Пошлите ему в утешение какую-нибудь писульку.

Прочитал сегодня о смерти Лашевича и очень грущу. Человек все-таки был такой — каких бы побольше!

Ну, до свидания, милый товарищ, с восторгом пишу: до скорого свидания.

Ваш *И. Бабель*

73. И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 31/VIII—28 *31 августа 1928 г., Париж*

Дорогой мой! Только что получил твое письмо. Очень жалко Надежду Израилевну, она все-таки была недюжинный и достойный человек, и жалко вас. Я хорошо знаю, что это такое — смерть в доме. Что теперь будет делать бедный Верцнер?.. Будут ли Верцнеры по-прежнему жить в Одессе? Напиши мне, пожалуйста, от какой смерти умерла Надежда Израилевна. Мама и Мера, когда узнают об этом, будут в совершенном отчаянии.

Я собираюсь выехать в Россию в конце сентября или в начале октября. Лева уезжает в Америку 26-го сентября. Так как он не может взять мать с собой, то бедная Женя должна будет остаться со старухой в Париже еще на неопределенное время. Вот крест!.. Где я буду жить в Рос-

сии, еще не знаю. Не думаю, чтобы в Москве. О работе моей я сам не могу сказать — двигается она или нет. A force de travailler[1] — настанет такой день, когда тайное для самого меня сделается явным. Работать мне много трудней, чем раньше,— другие у меня требования, другие приемы,— и хочется перейти в другой «класс» (как говорят о лошадях и боксерах), в класс спокойного, ясного, тонкого и не пустякового письма. Это, нечего говорить, трудно. Да и вообще я такой писатель — мне надо несколько лет молчать, для того чтобы потом разразиться. Раньше были перерывы в восемь лет, теперь будут поменьше. И на том спасибо.

В «Пролетарий» пойди, потому что деньги очень нужны. Пойди для того, чтобы ответить на их предложение, а не вносить свое. Впрочем, я об этом всем писал тебе. О результатах сообщи воздушной почтой. Я рассчитываю, что мама и Мера приедут в Париж провести со мной последние две-три недели; если тебе не лень будет, пришли мне, дорогой мой, какую-нибудь наиболее показательную беговую программу. «Конармию» я получил своевременно. Спасибо.

Ну, до свидания, теперь уж действительно до скорого. Люсе и Вере передай, что мало у них, наверное, друзей, которые так понимали бы и чувствовали, что у них на сердце, как я.

Твой *И. Бабель*

74. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7/IX—28 *7 сентября 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна. Пишу Вам сего числа в 12 часов ночи. Только что вернулся из еврейского квартала St. Paul возле Place de la Bastille[2]. Ко мне приехали из Брюсселя прощаться мама с сестрой (я уже писал Вам, что выезжаю в Россию в последних числах сентября). Я их угостил сегодня еврейским обедом — рыба, печенка кугель, не хуже, чем в Меджибеже у цадика — и провел по необычайным этим уличкам — удаленным как будто от Парижа на сотни километров и все-таки в Париже,— по грязным извилистым уличкам, где звучит еврейская речь, продаются любителям свитки Торы, где у ворот сидят

---

[1] В результате работы *(фр.)*.
[2] Площадь Бастилии *(фр.)*.

такие старухи, которых можно увидеть разве только в местечках под Краковом.

⟨...⟩Я по-прежнему много работаю, яростно, уединенно, с далеким прицелом — и если второй мой выход на ярмарку суеты окончится жалкими пустяками, то утешение у меня все же останется — утешение одержимости.

Получил недавно чудное, душевное, чуточку грустное письмо от Льва Ильича. Я ответил ему в Ессентуки. Я ужасно радуюсь тому, что квартира Ваша готова, что и для меня есть в ней угол, но не знаю, скоро ли мне придется в нем приютиться. Работа моя далеко не кончена, Москва, боюсь, собьет меня с панталыку, а сбиваться у меня теперь нету времени. Все же то, что у меня есть в России дом, согревает мою душу. Напишите мне — как Вы нашли новую квартиру, трудно ли было переезжать. Льву Ильичу надо бы теперь иметь особые легкие хорошие условия работы — его надо выправить, развеселить,— нестерпимо думать, что такому человеку трудно живется...

Вернулся ли Илюша? Я послал ему несколько маленьких книжонок, получились ли они?

⟨...⟩Очень много я наболтал сегодня. Намеренно я сокращаю ряды окружающих меня людей. Если подумать — то только у меня и есть друзей, что вы и Лившиц.

До свиданья, не сердитесь на меня.

Любящий вас *И. Бабель*



75. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 13/IX—28 *13 сентября 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна. Получил Вашу телеграмму, поплакал над ней и смирился духом. Грустно только то, что Вам были лишние огорчения. Ну, да авось они забудутся в той суете, которая Вас теперь одолевает. Под суетой этой я разумею — переезд на новую квартиру, нелегко это, наверно, осуществить...

Вернулся ли Лев Ильич? Как его здоровье? Какой будет Ваш новый адрес? У нас теперь помимо брата Евгении Борисовны гостят моя мать и сестра — прощаемся. С ними прощаюсь и с Парижем, который теперь под ясным, розовым, осенним солнцем очень хорош. Будьте веселы и здоровы.

Ваш *И. Б.*

76. А. Г. СЛОНИМ

Берлин, 8/X—28 *8 октября 1928 г., Берлин*

Милые соотечественники. Три дня живу в Берлине, и живу очень великолепно. Завтра выезжаю в Варшаву, а оттеда через небезызвестную Шепетовку в Киев. Из Варшавы пришлю вам роскошнейший вид этого столичного города. Больше ничего писать не могу, потому что упоен сосисками. Боже, до чего они прекрасны — сосиски.

И. Бабель

77. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 16/X—28 *16 октября 1928 г., Киев*

Дорогой Вячеслав Павлович!

Приехал только вчера, и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня), обратиться к Вам; похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском.

Родина — приехал я через станцию Шепетовку — встретила меня осенью, дождем, бедностью и тем, что для меня только в ней и есть — поэзией. Я совсем смущен теперь, гнусь под напором впечатлений и новых мыслей — грустных и веселых мыслей. Когда осяду и опомнюсь — напишу Вам подробно и о делах, а пока здравствуйте.

Любящий Вас

И. Бабель

78. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 17/X—28 *17 октября 1928 г., Киев*

Друзья моего сердца, приехал позавчера. Сколько дней здесь пробуду — не знаю, делов много. Привез вам ничтожное количество гостинцев, которые завтра отправлю почтовой посылкой, остальные идут с чемоданом, который прибудет позднее и с которым вышло неладно, потому что я отправил его в адрес киевской таможни, а она, оказывается, расформирована и вещи в моем отсутствии будут смотреть в Шепетовке. Мой адрес пока: Киев, Красноармейская, 30, С. А. Финкельштейну, для меня. Завтра напишу подробнее.

Ваш *И. Бабель*

P. S. Сообщите новый адрес — если он уже факт.

79. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨20 октября 1928 г., Киев⟩

⟨...⟩ Я занят с утра до вечера делами литературными, коммерческими, налоговыми — ношусь по всяким учреждениям, ору, клянчу,— думая, что все уладится хорошо. Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь. ⟨...⟩

И.

80. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 23/X—28 *23 октября 1928 г., Киев*

Милая Анна Григорьевна. Получили ли вы маленькую посылочку? Я писал уже Вам, какое бедствие постигло мой основной чемодан (а следовательно, частично и Вас). Он блуждает по всей Европе, последние сведения такие, что его почему-то направляют в Эйдкунен. Чудовищная история. На моем месте всякий порядочный англичанин

или немец подал бы на парижское отделение Совторгфлота в суд. Они буквально разоряют меня, да кроме того, в этом чемодане очень ценные, с трудом подобранные материалы. Прочитал вчера вечером в газете о деле Будасси. Бедный Шлом тут же. Чувствую я, что в газетной рецензии не все концы сведены друг с другом — не знает ли Лев Ильич подробностей этого дела?

Милая доверенная, я получил сведения о том, что в Роскомбанке есть, наконец, разрешение для меня о переводе 1000 рублей за границу. Мне очень важно (а Евг[ении] Бор[исовне] и матери моей еще важнее) узнать — могу ли я перевести эти деньги только в адрес Торгпредства или часть их по моему усмотрению? Постарайтесь это узнать похитрее, понезаметнее — и я паду Вам в ноги. Деньги я для этого отсыла готовлю. Мне здесь с Вуфку кое-что причитается. Это Вам не Париж, где ложись, вытягивай ноги и помирай.

Почему Вы мне ничего не пишете? И какой ваш адрес? Я трепещу, что все мои письма и посылка не доходят. Мне можно писать: или Главный почтамт, до востребования, или Красноармейская, 30, кв[артира] д-ра Финкельштейна. В Киеве пробуду еще не меньше двух недель. Мне хочется узнать о вас многое — переехали ли вы, как ваше коллективное здоровье, какова мораль? Несмотря на то что после прежней моей квартиры нынешняя кажется мне несказанно нищей, унылой и грозно бестолковой — все же здесь душа моя расправляется. Ничего не поделаешь — здесь я на месте.

До свиданья, милые благодетели.

И. Б.

81. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 27/X—28 *27 октября 1928 г., Киев*

Милые новоселы. Очень бы хотел посмотреть на «нашу» новую фатеру. Опишите мне ее, очень интересуюсь.

Получили ли вы посылку, отправленную на старый адрес? Наконец прибыло извещение, что мой чемодан очутился на станции (пограничной) Бигосово!!! — теперь его надо оттуда вызволять, что, я надеюсь, мне и удастся к общей радости моей и моих знакомых. Жду цидульки от Анны Григорьевны. Писать лучше всего: Главный почтамт, до востребования. Не выдохлось ли кофе, посланное вам? Я здесь, наверное, пробуду еще недели две, а потом в де-

ревню, в глушь, в Саратов, к черту на рога для приобретения полного покоя.

Да, совсем забыл — читайте Правду! В каждой цивилизованной стране такая критика стоит нового издания — т. е. 1100 рублей. Жду с надеждой и тайным сладострастием.

Ваш *И. Бабель*

82. Ю. П. АННЕНКОВУ

Киев, 28/X—28 *28 октября 1928 г., Киев*

Милые друзья мои. Очень превосходно живу в Киеве. Правда, квартира, отведенная мне, лишена всяких удобств, и другой, более требовательный, человек — роптал бы, но доброго состояния моего духа никому, даже Буденному, поколебать не удастся. Пишу эту цидульку для того, чтобы сказать Вам, что я с благодарным счастливым чувством вспоминаю наши посиделки. Скоро напишу подробнее. Адрес: Киев, Главный почтамт, до востребования.

Ваш *И. Бабель*

83. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨28 октября 1928 г., Киев⟩

⟨...⟩Сегодня воскресенье — свободный день. Я выспался, напился в «едальне» превосходного чаю, закусил горбушкой превосходного черного хлеба с маслом, прочитал в «Правде» письмо Буденного Горькому, возвеселился, даже разбух от удовольствия и вот от полноты чувств пишу вам, милые мои, поклон. Все было бы хорошо, если бы не мамина болезнь. Утешьте, напишите поскорее.⟨...⟩

И.

84. И. Л. ЛИВШИЦ

Киев, 23/XI—28 *23 ноября 1928 г., Киев*

Исачок. Давненько от тебя нет писем. И в особую мрачность погружает мою жизнь то гнусное обстоятельство, что ты не присылаешь мне беговых программ. Ну что стоит? Ну где «человечество»? Лень и затурканность советских служащих не поддается описанию. Видно, что ты не

читаешь в «Правде» листка РКИ — под контроль масс. Я читаю аккуратно и ненавижу вас, разгильдяев, бюрократов и комчванцев. Честно говорю тебе — купи програм-му, все равно жить не дам... Я тебя угадаю. В дополнение к вышеизложенному — прошу передать прилагаемое письмо адресату. Телефон ейный, кажется, 2-56-44. Я получил от нее очень милое письмо, а адреса своего она не дала. Если позвонишь, она, я думаю, пришлет за письмом.

Получил только что известие, что чемодан прибыл. Завтра полечу за ним на вокзал. Трепещу — в каком-то виде он прибыл, не общипаны ли мы... Отпишу немедленно...

Что слышно в Госиздате? Не давай этим сукиным сынам покою. С ними добром ничего не сделаешь. Угрожай, а если угроз они не испугаются — то так и будет. Ты мне не сообщил, кто там теперь заведует, кто пастух и кто подпасок?.. Чувствую я, что в Москве литературные дела таковы, что нервные люди большими массами скоро стреляться начнут. Пастухи от этой стрельбы почешут сапогом за ухом и неукоснительно станут пасти оставшихся...

Объясни мне толком: где ты служишь, что рационализируешь, где плачешь и кому даешь фиги в кармане? Я, как говорится, тяну лямку и поживаю очень превосходно.

Завтра по выяснении чемоданной эпопеи напишу.

Внемли критике и ответь на интересующие вопросы. Стиль не важен. Пиши, если желаешь, протоколом. Дамам твоим шлю тысячу поклонов.

И.

P. S. Мама была очень больна. Сердечный припадок. Теперь лучше.

Вот, брат, наши дела...

85. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 28/XI—28 *28 ноября 1928 г., Киев*

Дорогой Вячеслав Павлович!

В третий раз принялся переписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая, на этот раз явно последняя. Ничего не поделаешь. О том, как мне солоно приходится, не хочу и говорить.

Голова побаливает часто. Былой работоспособности нет, маленько, видно, переутомился. Все же, думаю, преодолею.

Анонс Ваш на 29 год будет выполнен. По совести могу сказать, что делаю все от меня зависящее. Изредка попадаются мне на глаза отчеты о литературных совещаниях. По-моему, нервным людям стреляться впору, а веселым только и остается, что гнуть свою веселую линию. Так как я причисляю себя ко второй категории, то и живу безмятежно.

Противоестественных, антилитературных переворотов в своих мозгах не допускаю и чувствую себя поэтому превосходно. Впрочем, все то, что говорится о распространении массовой литературы,— правильно. Спасибо, что из десяти мыслей — одна верна. Если принять в расчет, что вещают одни только должностные лица, то придется признать, что процент велик. В Киеве пробуду еще недолго. Собираюсь двинуться на Северный Кавказ. О всех моих начинаниях и передвижениях буду Вас извещать.

Мой адрес пока: «До востребования. Главный почтамт. Киев». Очень обрадуюсь, если напишете. От всего сердца желаю Вам бодрости, здоровья, веселья. Веселый человек всегда прав.

Ваш *И. Бабель*

86. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 29/XI—28 *29 ноября 1928 г., Киев*

Милая Анна Григорьевна. Подарки Ваши возбуждают в Киеве общее восхищение. Дай Вам бог здоровья за Вашу ласку.

Вексель завтра оплачу по телеграфу.

Получил ли Илюша кофту?

Деньги на сохранение я Вам своевременно вышлю. Самый лучший адрес — до востребования, Главный почтамт. У Финкельштейнов я бываю реже, чем на почте.

Номера «Правды» с письмом Буденного у меня, к сожалению, нету. Не держу у себя дома таких вонючих документов. Прочитайте ответ Горького. По-моему, он слишком мягко отвечает на этот документ, полный зловонного невежества и унтер-офицерского марксизма.

Живу благополучно, тружусь в мире и тишине. Скоро, верно, двинусь из сих мест. О всех шагах моих Вы будете извещены. Обнимаю мужчин и целую Вашу ручку, заступница, благодетельница и умнеющая дама.

Ваш *И. Б.*

P. S. Как живется Вам в новой квартире?

87. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 15/XII—28 *15 декабря 1928 г., Киев*

Не могу сказать тебе, mon vieux[1], как ты удружил мне присылкой программ. Я их заучиваю наизусть. И вторую ночь сплю, как спит... Таня. А журнальчик просто интересен. Падам до нуг — присылай мне его каждую неделю. Честное слово, он нужен мне для литературных работ. Ну что тебе стоит покупать его каждую неделю (деньгами сочтемся) и надписывать мой адрес...

И к этому радостному подарку был присовокуплен неисповедимый Длигач, ну его ко всем чертям. Умильный этот юноша полагает, что в литературу можно пробраться по протекции. Глядя на жалкое его лицо, у меня не хватило сил разубедить его в бессмысленности и ложности этого мнения, и я обещал и, увы, я обещал написать в «Пролетарий». Прилагаю то, что я сумел выдавить из себя. Если считаешь нужным, передай записку Ацаркину. Если не считаешь нужным, позвони ему от моего имени. Пущай, во всяком случае, считается, что я обещание свое выполнил, и пущай Длигач расточится с моего горизонта.

Когда получишь сведения от лит-худа, сообщи их мне, пожалуйста. Насиловать их, конечно, не надо, но напоминать о себе необходимо, я по горькому опыту знаю, что необходимо.

На моем фронте, как говорится, без перемен. Докучает некоторое (временами очень сильное) умственное утомление, но я повел с ним борьбу и сдаваться не намерен. Работа от этого тягостного препятствия идет медленно, трудней, чем надо, но мне к трудностям не привыкать.

Думаю, что век мой в Киеве не долгий. Может быть, скоро я сообщу тебе мой новый адрес. Где ты работаешь теперь и сколько выгоняешь?

Исполнил ли — передал ли ты письмо Бобровской — нет ли в телефонной книжке фамилии Гинзбург, ее адреса?

С тем до свидания. Будь весел и благополучен. Где обретаются Саша и Вера Верцнер? Как Сашино дитё? Поцелуй за меня Люсю и Танюшу.

Твой *И.*

---

[1] Старина *(фр.)*.

88. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 19/I—29 *19 января 1929 г., Киев*

Что ты смолк, mon vieux? Напиши открытку, стоит пятак, и при желании много можно поместить. Я доживаю в Киеве последние недели. Главный маршрут — Ростов, но не исключена возможность, что заеду на несколько дней в Одессу. Там наклевывается дело. Если для Одессы есть поручения — исполню. Когда поеду — напишу. Был ли ты в худ. секторе? Будь другом, пройди все инстанции справок, чтобы мне окончательно быть fixe[1], предвидятся от переиздания какие-нибудь деньги или нет. Я по-прежнему работаю вразвалочку, как будто у меня в каждом кармане по Ясной Поляне,— но призрак голода вырисовывается все ощутительнее. И еще слезная просьба — я уже выучил наизусть все программы и жажду новых, а главное журналов, а то снова начнет томить бессонница. Так как ты, сукин кот, прикидываешься поклонником таланта, то шли «конские» журналы. От этого литературе большой выигрыш. Ну, будь здоров и весел со чадами твоими и домочадцами. И не забывай любящего тебя

И. Б.

89. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 25/I—29 *25 января 1929 г., Киев*

Дорогой мой. Посылаю письмо Сандомирскому (так, кажется, зовут заведующего литературно-художественным отделом?). От них я ничего не получал. Прошу тебя, заклей это письмо и передай его в день его получения. Я предпочитаю действовать через тебя (и, значит, затруднять тебя), потому что при личном нажиме дело пойдет быстрее (если оно вообще пойдет), кроме того, ты сможешь написать мне свои впечатления — выйдет что-нибудь или нет. Вот тебе и поручение, о котором ты просишь. Ответа жду скорого, а то мне хочется уже отсюда уезжать. Был проект — недели на две завернуть в Одессу, но этот проект, кажется, придется оставить и я прямо проследую в Ростов, где постараюсь бросить якорь на возможно долгий срок. Твои же улещивания насчет Москвы — не пройдут. Видят черти, что человек хорошо живет, в кои-то веки заработал,

[1] Точным *(фр.)*.

маленько отрешился от суеты, расправил крылья — так обязательно его в обезьяньи лапы... Не пройдет, mon vieux. Я теперь положил в сердце моем жить с расчетом, а расчет у меня дальний, требующий дьявольского терпения, спокойствия и, как бы это сказать, крупицы мудрости... Единственно, что может меня сбить с панталыку,— это иждивенцы, которых нужно кормить, но вот тут-то и помоги, высеки деньги из Госиздата.

Из событий, достойных быть отмеченными, могу тебе сообщить, что у меня появился изумительный, только что полученный из Берлина и купленный мною по случаю маленький фотоаппарат. Он составляет сейчас основную прелесть моей жизни, увлечение фотографией сейчас буйное. Буду присылать тебе снимки.

Очень огорчительные сведения о твоей службе. Я не совсем понял — за какую же ты цифру борешься. Неужели за 275 рублей? Вот времена настали... Как это ты с такими жалкими деньгами оборачиваешься?..

Мне одному, конечно, любых денег может хватить (за комнату, к вашему сведению, плачу 8 рублей и до ветру бегаю за полверсты, бо никакой индустриализации в нашей округе и в помине нету — водопровода нету, канализации нету, электричества нету — и чего только у нас нет, как острят индустриализаторы)...

Вчера узнал о болезни Александра Константиновича. Очень грустно. Ветер вернулся на пути своя...

Да, программы... «Облегчи мне тяжкую жисть», вышли чудодейственный этот пук (главное—журналы), и я тебя отблагодарю еще на этом свете. Против бессонницы нету лучшего средства, и для безмятежного счета времени — очень хороший инструмент...

О твоем дитяти мне много рассказывал умильный Длигач (кстати, он выудил-таки у меня письмо к Лежневу, это горчичник, а не человек), а какое произведение вышло у Саши? Где он теперь с супругою, заробляет ли? У нас в Киеве такая зима, что впору стихи писать. Перед моим окном на полянах льются бриллиантовые реки, снега сияют... Только мы, деревенские жители, можем изрядно поговорить с богом, как «звезда с звездою говорит»...

Ну, наболтал... Пора обедать. Буду поджидать от вас, дорогие земляки, ответа. Как здоровье Люси? У нас тоже есть беда — мама оправляется очень медленно. Старушка сдала, и от этого сознания замирает сердце. До свидания.

Твой *И*.

90. А. Г. СЛОНИМ

16/III—29 *16 марта 1929 г., ⟨в поезде⟩*

Mes chers amis[1]. «Степанидин» (по имени прачки, у которой я квартировал) период моей жизни кончился и начинается северокавказский, сулящий неведомо что... Скучный почтовый вагон влечет меня к Ростову, куда приедем завтра к вечеру, потому что из-за заносов сильно запаздываем. Мой первый адрес: Ростов Дон, до востребования, Главный почтамт. По прибытии на место напишу более вразумительно. Очень уж трясет... Какая протяженная страна — Россия, сколько снегу, осовелых глаз, обледенелых бород, встревоженных евреек, окоченевших шпал (?) — как мало пассажиров 2 класса, к которым я имею честь принадлежать...

И. Б.

91. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Кисловодск, 28/III—29 *28 марта 1929 г., Кисловодск*

Дорогой В. П.

Письмо Ваше настигло меня в Кисловодске. Я через час уезжаю отсюда на Терек, оттуда вернусь в Ростов. Из Ростова напишу Вам подробно. Моя база надолго — Сев. Кавказ. Адрес (впредь до изменения) — Ростов н/Д, Главный почтамт, до востребования. Живу хорошо. Тружусь, как в юности,— вольно... Если с голода не подохну — все будет хорошо. До Ростова, милый друг В. П.

Ваш *И. Б.*

92. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 8/IV—29 *8 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович! Отправил Вам открытку из Кисловодска. Не знаю — получили Вы ее и действителен ли еще адрес — Остоженка, 41? Моя база теперь — Сев. Кавказ, постоянный адрес — Ростов н/Д., Главный почтамт, до востребования. Летом буду работать и бродяжить, собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабар-

[1] Мои дорогие друзья *(фр.)*.

ду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом. Не соберетесь ли в «наши» края? Встретились бы и пожили вместе...

Дни мои (ночи сплю, если не страдаю бессонницей) проходят интересно, но трудно. В смысле работы я нажал на себя с излишним усердием, и снова стала побаливать голова. Все же появляются контуры возводимого здания. Да вот беда — раньше я все размахивался на романы, а выходили рассказцы короче воробьиного хвостика, а теперь какая, с божьей помощью, перемена. Хочу отделать штучку страниц на восемь (потому что ты ведь умрешь с голоду, сукин сын,— говорю я себе), а из нее, из штучки, прет роман страниц на триста. Вот главная перемена в многострадальной жизни, дорогой мой редактор,— жажду писать длинно! Тут мне, видно, и голову сложить... И так как я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому,— то можете вы вообразить, как, собственно, выглядит моя жизнь?.. В августе пришлю вам первое рукописание. Это верно и честно. У меня есть основание так говорить. Помешать мне может только смерть, главным образом голодная смерть, потому что все мыслимые и немыслимые деньги кончаются. Нельзя ли возобновить до августа старинный наш договор? Вот можете смеяться сколько хотите — а у Вас не будет более верного сотрудника, если Вы вызволите меня в последний раз. Я с ужасом думаю о том, что придется согласиться на предложение одной организации и состряпать сценарий. Неохота смертная, не могу Вам сказать, какая неохота. Я настроился возвышенно, преступно тратить силы и время на ненужную дребедень, а сил и времени уйдет уйма, потому что я не умею халтурить, уйдут драгоценнейшие месяцы. Впрочем, я не уговариваю. Надо думать, Вы мне не верите. А я вот чувствую, что не верить мне — это ошибка.

Сделайте милость, пришлите ответ на это письмо обратной почтой. Пробудясь от сладостного сна, я сосчитал сегодня утром свои ресурсы — их четырнадцать рублей. Как говорится — надо решаться. И потом еще просьба. До меня давно уже доходят слухи, что очередные издания «Конармии» и «Одесских рассказов» — исчерпаны. Надо признать, что Госиздат в отношении меня никогда не торопился с переизданием: то, что проделывается с «Конармией», отвратительно. Я запросил Сандомирского, после Вас — второго моего кредитора (кстати, кто это Сандомирский?), он очень любезно и дружественно ответил по всем пунктам

и обошел молчанием вопрос о переиздании. А тысчонка эта спасла бы меня и рикошетом все мои обязательства. Будьте другом — позвоните Сандомирскому. Вам-то он, я думаю, ответит с полной определенностью.

Вот и все дела. Пойду сейчас на Дон смотреть на ледоход. Сегодня здесь первый весенний день, а еще вчера была зима. Я много бы хотел Вам написать, но от весны ли, от чего ли другого болит голова. Отложим до следующего раза. Дайте руку. Будьте веселы и философичны.

Ваш, искренне Вам преданный

И. Бабель

93. И. Л. ЛИВШИЦУ

Ростов н/Д, 8/IV—29 — *8 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Mon vieux. Несколько дней тому назад вернулся в Ростов, застал телеграмму от Сандомирского. Он просит участвовать в каком-то альманахе. Я ответил сегодня, что рассказ могу дать осенью, и снова спросил о судьбе переиздания. Не знаешь ли ты, почему это дело не двигается? Может, мне и спрашивать неудобно? Ты ведь «унутренний» человек, очень прошу тебя, узнай. А то я боюсь — безденежье помешает мне работать. Я уж и Полонского просил разузнать, в чем дело. Выйдет что-нибудь или нет — как ты думаешь? Для меня это дело (гиблое дело) имеет капитальнейшую важность.

Из Брюсселя, друг мой, сведения, наполняющие меня смертельной тревогой. У мамы базедова болезнь, и ей очень худо. Нету передышки.

Как вы-то живете? Как дочка? Я, видно, буду бродяжить все лето, благо есть много мест, где меня поят и кормят. Не забывай меня, не ленись писать. У нас сегодня первый весенний день, и, верно, от этого целый день болит голова. Привет твоим. Целую тебя.

И. Б.

94. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 10/IV—29 — *10 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Для меня настали грустные времена. Болезнь моей матери приняла грозный оборот. У нее особо опасная форма базедовой болезни. Возможно,

в ближайшее время придется прибегнуть к последнему средству — операции, удалению щитовидной железы. Старушке — 65 лет. Она истощена предшествующей болезнью. Вы понимаете, что все это значит. Вы знаете еще, что мать — одна из немногих моих привязанностей, вернее всего — единственная и неистребимая любовь. Я разметал всех, и они угасают вдали от меня.

Если у Вас, милый друг, есть деньги — пошлите по телеграфу 50 рублей в Киев, Марии Яковлевне Овруцкой, Киевское Отделение Государственного Банка, Иностранный Отдел. Эта дама, служащая в Иностранном Отделе, обещает мне перевести матери 25 долларов. Постарайтесь сделать это.

Я очень грустен сегодня. В другой раз напишу лучше. Почему Вы ничего не пишите о своем здоровье — Вы как будто прихварывали? Какие планы на лето? Может, встретимся на юге? Хорошо бы... Я думаю, что мог бы раздобыть для Вас место на группах (?).

Как Вы на этот счет? У меня здесь есть кое-какие знакомства.

Уехал ли Л. И. на Урал?

Душой и сердцем я со всеми вами. Целую Вашу руку.

И. Б.

95. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Хреновое, 15/IV—29 *15 апреля 1929 г., Хреновое*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Повинуясь неясным велениям бродячей моей судьбы, очутился я в деревне, в Воронежской губернии. Пробуду я здесь среди заводских жеребцов, жерёбых кобыл и только что народившихся жеребят недолго, несколько дней, потом вернусь в Ростов н/Д. Так что адрес прежний. Я хотел Вам сказать, что отправил еще одно письмо Сандомирскому. Я узнал, что на юге нигде моих книг достать нельзя, и отписал ему насчет переиздания. Говорили ли Вы с ним? Я написал ему еще и о том, что если даже малое количество книг и осталось, то Гиз все же мог бы заключить договор чуточку раньше срока и этим помочь сотруднику.

С трепетом жду Вашего письма. Письмо это — решение участи. Дайте руку.

Ваш *И. Бабель*

96. А. Г. СЛОНИМ

Ростов на Дону, 9/V—29 *9 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогая Анна Григорьевна. Недели две тому назад я проел последний собственный грош и с тех пор живу подаянием. Госиздат, несмотря на то, что я не выполнил первого договора, снисходит к моим бедствиям и ведет переговоры о втором. Гиз сделал мне предложение, я написал контрпредложение, но ответа еще нет. А ответ нужен скоропостижно, потому что обидно, сделав больше половины дела, умереть с голодухи — не докончив. Больше всего угнетают, конечно, иждивенцы; я-то сам живу святым духом и на такое существование не ропщу. Переговоры от имени Гиз'а ведет со мной заведующий литературно-художественным отделом Сандомирский. Пожалуйста, позвоните ему от моего имени, узнайте, как обстоит дело, и попросите ускорить решение, высылку денег и договора. Я предложил им высылать мне условленную сумму помесячно, но хотел бы получить за первые два-три месяца вперед для того, чтобы расплатиться с долгами. Канитель эта с Госиздатом тянется давно, и, несмотря на очень хорошее ко мне отношение, я вижу, что без личного вмешательства, без человеческого голоса в телефон не обойтись. Займитесь этим делом, милая Анна Григорьевна, и протелеграфируйте мне, je suis an bout de mes forces[1].

Прибавьте к листу Ваших благодеяний еще одно. Я все мечтаю о том, что отслужу.

Каковы Ваши планы относительно Кавказа? Помните, что нужно написать заблаговременно. Я в последнее время чувствовал себя — душевно и физически — неважно. Меня посещают смешные бедствия. Поселился я за городом на даче, чтобы работать в одиночестве, и не приметил, дурак, что забор моей дачи упирается в аэродром. И вот аэропланы трещат над головой целый день, какая тут работа? Это для меня большая беда. Вы знаете, что это значит — на Руси на великой менять квартиру...

От матери сведения более утешительные, ей чуточку легче. С душевным трепетом буду ждать от Вас вестей. Привет Вам и мужчинам от преданного, любящего (и, верно, смертельно Вам надоевшего)

И. Б.

P. S. Если не трудно (и если сохранилась) — пришлите мне Лоуренса по-французски. Я хотел бы перечитать эту книгу.

---

[1] Я уже совершенно выбился из сил *(фр.)*.

97. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 17/V—29 *17 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой мой В. П. В последние недели я довольно много работал, бродяжил, загорал под южным солнцем.

Получил от Гиз'а предложение — заключить договор на предбудущую книгу — 350 р. за печатный лист при 5000 экземплярах. Я ответил — 500 р. при 7000 экз. Выходит одно на одно. Жду от них ответа, хотя ждать трудно, денег ни копья, иждивенцы теснят. Запросил я, думаю, дешево: не знаю совсем нынешних гонораров. Если сочтете удобным — подтолкните Халатова или Сандомирского (дипломатично), чтобы ответили поскорее. Обращаюсь к Вам как к верному другу литературных моих мучений и «заинтересованному лицу». Договор с Гиз'ом позволил бы мне выплатить долги — моральные и материальные, я бы здорово распустил крылья. Помогите. С Гиз'ом мы как будто друзья, но Вы знаете — это чудовищное предприятие — высекать из сего учреждения договор и деньги по почте.

Пишу, стоя на одной ножке, на почте. Через несколько дней, когда внешние мои дела образуются, отправлю Вам длинное послание.

Когда у Вас отпуск? Я все буду вертеться здесь, на Северном Кавказе.

До свиданья, дорогой мой редактор, друг и благодетель.

И. Бабель

98. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 24/V—29 *24 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна, прибежище мое и сила. Я согласен, о чем Вам телеграфировал. Думаю, что высланная Вам доверенность достаточна для подписания договора. Я писал Сандомирскому и настаиваю на том, чтобы при подписании договора получить за два месяца — т. е. за май и июнь. Нужно расплатиться с долгами и послать деньги за границу, есть возможность, о нужде там говорить нечего. Одновременно пишу Сандомирскому. Помните, бедное мое доверенное лицо, что недостаточно подписать договор, глав-

ное искусство заключается в том, чтобы получить в Гиз'е (в первый раз — потом пойдет) деньги. Сделайте это гигантское усилие. Ей-богу, теперь ко всем моим мыслям при писании прибавилась еще одна — не посрамить Вас. Постараюсь. Надо просто сказать — без Вас мне пришлось бы худо. Если встретятся неожиданности — телеграфируйте. О получении денег тоже телеграфируйте. Я укажу — куда их отправить.

Пишу на почте. Вечером вернусь на свою дачу, завтра напишу Вам на свободе.

Вы оказываете мне решающую помощь в моей жизни. Благодарю Вас.

И. Бабель

99. Н. А. ГОЛОВКИНУ

Ростов н/Д, 9/VI—29 *9 июня 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой т. Головкин.

Значит, мы оба живы. Это очень хорошо. Еще мы завинтим дела. Не могу Вам сказать, как я обрадовался, получив от Вас весточку. Видно, не скоро еще нас черти приберут.

Договоры Вы, верно, поручаете составлять уполномоченным дьявола. Я написал Ионову, что я думаю об этом адском измышлении. Подписал я его в надежде разжалобить Вас после представления материала.

Получив это послание, забудьте о шапке, о предстоящем отпуске, о чистке соваппарата и, схватив в кулак деньги, мчитесь на телеграф. Как бы мне не издохнуть до получения денег. Очень уж Вы задержали отсылку договора. В надежде на гонорарий я приобрел себе выдающегося качества парусиновые штаны и вышитую малороссийскую рубашку. И такой это был необдуманный поступок, что обедаю я теперь только в гостях. Шлите деньги, а то некому будет писать.

Ваш *И. Бабель*



100. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 26/VII—29 *26 июля 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Три недели странствовал по Украине, несколько дней т[ому] н[азад] вернулся в Ростов. Теперь надо месяц посидеть на месте — потрудиться. Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность. Эх, кабы нервам моим было бы не пять с половиной тысяч лет, а тысячи на четыре лет меньше — завинтили бы мы дела! Надо бы обратиться к доктору — да боюсь, вдруг он откроет мозговую какую-нибудь болезнь... Как бы там ни было, сквозь магический кристалл кое-что я начинаю различать.

Договора для подписания еще не получил. Начну печататься в «Новом мире», нигде, кроме как в «Новом мире» — je vous jure[1].

После московских дел и дрязг Вы, верно, блаженствуете. Да продлится это блаженство возможно дольше... Я регулярно буду подавать Вам о себе вести, прошу платить тем же.

Примите поклон и дружбу от любящего Вас

И. Б.

101. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 22/VIII—29 *22 августа 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Страшно рад, что устроение Ваше благополучно совершилось. Набирайтесь здоровья, в Ростове Вы имели утомленный вид.

Не могу Вам не сообщить, что «дача» наша не отвечает Вам взаимностью, все нашли, что моя хозяйка — отличный и очень выдержанный человек.

Поездка моя в Кисловодск лопнула. Получил письмо от

---

[1] Я Вам клянусь *(фр.)*.

Воронского. Он болен, грустен, несчастен, там нужен мой приезд, поеду к нему через несколько дней. Адреса свои Вам сообщу. Очень сожалею, что не увижусь с Вами в Кисловодске, но чувствую, что душевный долг мой состоит в том, чтобы поехать в Липецк.

Завтра спрошу в магазине Совкино пленки для Л. И. Поклон ему. Как живется Вам в Кисловодске, в чем состоит Ваше лечение? Пишу на почте, не взыщите, из дому напишу вразумительнее.

Ваш *И. Б.*

102. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 26/IX—29 *26 сентября 1929 г., Ростов н/Д*

Как течет жизнь, милая Анна Григорьевна? Каковы результаты Минвода, как бьется сердце социалистического реконструктора нашего хозяйства? Я чувствую, что ростовский мой период кончается. Поехать к Евгении Борисовне дело необычайно трудное, надо будет похлопотать в Москве. Впрочем, поездка в Москву дело все-таки отдаленного будущего. Я живу в известной Вам кухне трудолюбиво и спокойно. Грязь в нашей округе такая, что в город не выберешься, и одиночество мое очень возросло.

Ваш *И. Б.*

103. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 8/X—29 *8 октября 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Черт меня знает, какие только места я за последние два месяца не облазил. Договор мотался за мной по десяти почтовым отделениям. В Ростове я уже недели две, все мусолил договор, но подписать не решился. Посылаю его вам с всеподданейшими замечаниями. Составлял эту бумагу король юрисконсультов, не человек, а дьявол. В п. 1 я прошу вычеркнуть слово «всех», потому что два рассказа мне придется дать в альманахи (не в журналы, а альманахи). Но событие это произойдет через несколько месяцев после того, как я начну и буду продолжать печататься в «Новом мире»,— так что ущерба его приоритету не выйдет. Вместо десяти печатных листов я написал шесть для пущей верности, хотя, надо надеяться, будет больше, иначе мне пропасть. Срок я поставил более просторный, потому что, потому что... Вя-

числав Павлович, дело обстоит просто. Я хочу стать профессиональным литератором, каковым я до сих пор не был. Для этого мне нужно взять разгон. Темп этого разгона определяется мучительными (для меня более, чем для Издательства) моими особенностями, побороть которые я не могу. Вы можете посадить меня в узилище, как злостного должника (взять, как известно, нечего: нету ни квартиры, ни угла, ни движимого имущества, ни недвижимого — чем я, впрочем, горд и чему рад). Вы можете сечь меня розгами в 4 часа дня на Мясницкой улице — я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова. При таких барских замашках, скажете вы, не бери, сукин сын, авансов, не мучай, подлец, бедных сирот юрисконсультов... Верно. Но, право, я сам не знал размеров постигшего меня бедствия, не знал всех каверзных «особенностей», будь они трижды прокляты, матери их сто чертей!!! Теперь, как только вылезу из этих договоров, заведу себе побочный заработок, чтобы не зависеть от дьявола, жаждущего моей души. Я бы и сейчас это сделал — завел бы побочный заработок,— да нету времени, надо писать. К чему веду я эту речь? К тому, что пройдет немного времени — и я стану у вас аккуратным работником. Всей силой души я хочу (и делаю для этого все, что могу) предупредить сроки, превысить количество. Если вы верите в это мое стремление (а по логике вещей в него нельзя не верить), то поймете, что в нашем договоре я не ищу лазеек (на кóго они мне беса?), а минимальных, твердо выполнимых условий для спокойной работы. Потом — на четыреста рублей никак не могу согласиться,— тогда мне лучше в водовозы идти, тогда жрать будет нечего.

Издав вышеизложенные вопли, перехожу к веселым материям.

Если отвлечься от дел да от плохого здоровья — все обстоит благополучно, и выпадают такие дни, что на душе бывает весело. Погода у нас на ять, сады на нашей улице одеты в багрец и золото, рыбу мы в изобилии ловим в гирлах Дона и благословляем небо, что проживаем в конуре, а не в столице. Вас же о самочувствии спрашивать не решаюсь — так, пожалуй, можете ответить, что закачаешься. До свиданья, Вячеслав Павлович. Не поддавайтесь нашептываниям дурного духа и не верьте, что я сволочь. Я не сволочь, напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают.

Ваш *И. Бабель*

P. S. В договоре я избегал дополнительного срока 1/I—30, потому что 8/10 моего материала будет готово только в будущем году.

И. Б.

104. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 10/X—29 *10 октября 1929 г., Ростов н/Д*

Милая А. Г. Промедление с высылкой денег не имеет никакого значения. Ne vous faite, par de la bile[1] из-за этого. Пошлете по прежнему адресу (Хреновое, Ворон[ежский] округ, Госконзавод, В. А. Щекин), когда будет.

Я писал Вам уже, что не видел Л. И. До сих пор не могу оправиться от этого плачевного случая и громлю почтово-телеграфных чиновников.

В сознании моем постепенно начинает укореняться мысль о поездке к Евгении Борисовне. Трудное дело. Она пишет, что визу выхлопотала. Когда будет у Вас время и охота — сделайте одолжение,— зайдите к французскому консулу, справьтесь — есть ли виза — и узнайте на *какой срок* (это самое важное, раньше декабря мне не выбратся) и нужно ли ехать в Москву за получением этой визы. Впрочем, может быть, это все можо сделать по телефону, чтобы не затруднять Вас? В Москве перед отъездом (если он состоится — пока никому об этом) мне придется побывать. Бумаги больше нет, до следующего письма.

Привет растратчику.

Ваш *И. Б.*

105. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 19/XI—29 *19 ноября 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Спасибо за справку. О том, что деньги в Хреновом получились, мне известно давно. Через несколько дней поеду «инкогнито» в Москву. Так как я и там хочу продолжать работать с прежней невозмутимостью, то прошу о моем приезде *никому* не говорить. Наконец-то я увижу ваше обиталище. Не удивляйтесь, если по вашему адресу начнут прибывать для меня письма. Итак, до скорого свидания. Я ему очень радуюсь.

Ваш *И. Бабель*

---

[1] Не расстраивайтесь *(фр.)*.

106. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 16/II—30 *16 февраля 1930 г., Киев*

Дорогая А. Г. Уезжаю в Борисопольский район сплошной коллективизации. Сколько там пробуду — не знаю, как поживется. Район мой — это недалеко от Киева, поэтому я просил Вас (телеграфно) направлять корреспонденцию сюда (буду присылать за ней человека). В Киеве после снежной метели наступила весна. Какие у Вас новости? Как коллективное ваше здоровье? С места напишу.

Ваш *И. Б.*

107. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 28/III—30 *28 марта 1930 г., Киев*

Уже в деревне я почувствовал недомогание, поспешил в Киев, здесь свалился и две недели хворал отвратительнейшим бронхитом. Теперь оправился и приступил к работе, увы, очень скучной — отрабатываю аванс Вуфку, пишу сценарий для культурфильма; работа сама по себе достойная и многому учит — но все-таки жалко, что приходится отрываться от прямого дела. Впрочем, может, перебивка будет мне полезна. В связи с этим фильмом я уезжаю завтра в Днепропетровск и Днепрострой — там будет развертываться действие, и мне надо изучить работу нескольких заводов. Итак, мой адрес (впредь до изменения) — Днепропетровск, до востребования. Туда, пожалуйста, переотправьте всю мою корреспонденцию.

Я очень рад тому, что Мосфинотдел вспомнил обо мне. Это очень важно для будущего, когда придется (если придется) получать заграничный паспорт. А. Г., я препровождал Вам доверенность на получение у Арцыбасовой восьмидесяти рублей. Думаю, что на первый взнос хватит, даже если придется сразу заплатить штраф. Кстати, узнайте, за что штраф, нельзя ли его сложить? Укажите, что меня не было последний месяц в Москве, что я был на «коллективизации» — извещение получилось в моем отсутствии и никак не могло догнать меня и прочее и прочее. Кстати, надо указать, что неправильно указано имя Иван и адрес — Чистый переулок. Одновременно отправляю письмо Арцыбасовой с просьбой, как можно скорее, по возможности первого выдать Вам деньги (а то как бы много пени не наросло),

а остальную же сумму прошу ее выслать (и тоже как можно скорее) в Киев, Русский Драматический театр, ул. Ленина, 5, Евгении Исидоровне Вильнер. У этой Вильнер я перед отъездом авансируюсь или попрошу ее отослать мне деньги в Днепропетровск. Предварительную беседу с Арцыбасовой можно вести по телефону.

Сто рублей, по указанию Евгении Борисовны, я отослал, все ее поручения исполнил и написал ей.

Ближайшие мои планы таковы — написать сценарий в Днепропетровске, отвезти его в Киев, распутаться с Вуфку — и потом в Москву. Как это выйдет со сроками — пока сказать невозможно.

Я не писал Вам все время потому, что физически чувствовал себя отвратительно и душевно был не очень весел. Бездомность начинает отражаться на моей продуктивности, пора заводить оседлость, а Вы знаете, как это мне трудно сделать. Два дня подряд пытался с Вами и с Тарасовым-Радионовым поговорить по телефону, но, на мое счастье, не было связи — вот и решил отправить письмо. С Тарасовым попытаюсь связаться еще сегодня ночью. Вы, надеюсь, ему сообщили (по телефону 4-15-30) о том, что меня нет в Москве.

Вот и все дела как будто. Жизнь в деревне не очень способствовала веселью. Грустные вести от Вас, от Евгении Борисовны тоже давят на сердце. Оно ноет и болит, вернее, побаливает. Да тут еще вынужденная остановка в Киеве, в ненавидимом мною городе, напоминающем мне все то, что я хочу забыть.

Болести Л. И. не идут у меня из головы. Если поразмыслить трезво, то у всякого работника умственного труда наступают периоды истощения и особой нервной слабости. Надо взять отпуск и использовать его получше. Но можно ли это сделать?

Очень буду ждать от Вас письма в Днепропетровске. Привет Илюше. Я надеюсь, что и он мне напишет о своих делах.

Ваш *И. Б.*

108. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨27 апреля 1930 г., Москва⟩

⟨...⟩ Все у меня благополучно, работаю, чувствую себя очень хорошо, смерть Владимира Маяковского внесла только смятение. Основная причина, как говорят, неудачная лю-

бовь, но, конечно, тут есть и годами накопленная усталость. Разобрать трудно, п[отому] ч[то] предсмертное письмо его не дает никакого ключа. Мама верно помнит, как он, громадный и цветущий, приходил к нам еще в Одессе... Чудовищная смерть⟨...⟩

И.

109. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨26 мая 1930 г., Москва⟩

Я думаю, что у тебя и у мамы мания беспокойства принимает форму душевной болезни. Поистине это чудовищно. Очевидно, вы не переносите простейших прикосновений жизни — или вообще не имеете представления о том, что такое жизнь, как надо отбирать радости ее от горестей, вы не знаете меры горестей и истинной их классификации.

Всякое житейское происшествие принимает у вас размеры déme surés[1], и одна из главных моих задач при свидании с вами — это вернуть вас к ощущению действительности... Трудности борьбы (и самой тягостной борьбы, работы внутреннего совершенствования) мне известны лучше, чем вам, но никогда la joie de vivre[2] не оставляет меня, а я видел дела на моем веку... И никак меня особенно природа не создала, а я не ленюсь воспитывать в себе мужество, упрямство, спокойствие. Право, Мерочка, или вообще надо решить, что прозябание наше на этой планете вещь нестерпимо грустная, или... опомниться и познать меру вещей... За последние годы я пассивно только принимал участие в вашей жизни — но вот теперь собираюсь железной рукой прекратить эту мерлехлюндию... Люди стареют, люди хворают — таков ход вещей, но зачем ладонями заслонять от себя солнце... И тебя и маму я прошу исключить из сферы беспокойства меня и всё, что со мною связано. У нас и дом будет, и покой, и работа — и все мы вместе будем — всё это сделается — нечего издавать тут сопли и вопли — сопли на вопли... Я тебе верно говорю, что никогда не чувствовал себя в таком ударе, как сейчас, никогда так твердо не стоял на ногах — поэтому все охи по поводу моей персоны кажутся мне просто глупыми, удивительно

---

[1] Огромные *(фр.)*.
[2] Радость жизни *(фр.)*.

глупыми. Мне, дураку, кажется, что надо радоваться, имея сына с такой несокрушимой философией — а тут сопли на вопли... Фэ — это глупо... И я все больше любуюсь Наташей, с ней, очевидно, можно сговориться ⟨...⟩

И.

110. В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

17 июля 1930 г., Москва

Только что приехал из деревни и прочитал в № 28 «Литературной газеты» сообщение об интервью, якобы данном мною на «пляже французской Ривьеры» буржуазному польскому журналисту Александру Дану.

В этом интервью, в выражениях совершенно идиотических, я всячески поношу Красную Армию, власть Советов и плачусь на слабость моего здоровья, причем в этой слабости обвиняю все ту же советскую власть.

Так вот,— никогда я на Ривьере не был, никакого Александра Дана в глаза не видал, нигде, никогда, никому ни одного слова из приписываемой мне галиматьи и гадости не говорил и говорить, конечно, не мог.

Вот и все.

Но какова должна быть гнусность всех этих Данов, готовность к шантажу и провокации белых газет для того, чтобы напечатать такую чудовищную, бессмысленную, лживую от первой до последней буквы фальшивку?

И. Бабель

Москва, 17/VII—1930 г.

111. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 10/XII—30 *10 декабря 1930 г., Молоденово*

Дорогой В. П.

Проваливаясь в сугробах, я пробрался сегодня на станцию и позвонил домой, в Москву. Мне сказали, что от «Известий» есть письмо «под обратную расписку». Угадываю содержание этого письма. Так вот — вещи, предназначенные для «Нового мира», несколько дней тому назад (буквально несколько дней) закончены. Надо переписать их начисто. Я не могу этого сделать. Вы не сочтете капризом или бессмысленной фанатичностью, если я скажу, что мне

надо опомниться, отойти, забыть и потом со свежей головой дать le dernier coûp[1]! В последние месяцы у Вас не было «контрагента» более мучительно добросовестного. Я обрек себя на «заточение» и тюремное одиночество — чего больше?.. Так вышло, что только несколько месяцев тому назад уменье писать, простое уменье, вернулось ко мне,— и видят все бухгалтерии всего мира — я не пренебрег этим возвращением. Очень прошу Вас приехать ко мне в гости — и я не постыжусь предъявить Вам «вещественные доказательства». Печататься я начну в 1931 году — и для того, чтобы больше не было мучительных этих перерывов, надо подготовиться. Материал я предполагаю сдать весной и в дальнейшем буду аккуратен и «периодичен», как любой фельетонист... Есть литераторы с гладкой судьбой, есть литераторы с трудной судьбой (правда, есть еще третьи — безо всякой судьбы). Я принадлежу ко вторым — и оттого, что эти ухабы не поддаются бухгалтерскому учету, неужели надо в них кидаться вниз головой?..

Я прошу у трудной моей судьбы последнюю отсрочку. Помогите мне получить ее.

Ваш *И. Бабель*

Собираюсь на несколько дней в Москву; я явлюсь тогда и к Вам на последнее растерзание, и — правда, мы условимся относительно нашего «выходного дня». У нас хорошо тут. Я за Вами вышлю лошадей в назначенный день, и мы разопьем в избе деревенского сапожника самовар мира.

Ваш *И. Б.*

112. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 13/XII—1930 *13 декабря 1930 г., Молодёново*

Дорогой В. П. Мне передали «цидульку» конторы. И смех и грех... Привлечь меня к суду — это значит подарить мне деньги. Я вызываю всех писателей СССР на «конкурс бедности» со мной, у которого не только что квартиры нет, но даже и самого паршивенького стола. Я сочиняю на верстаке (в самом буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карповича, деревенского сапожника. Носильное же платье мое и белье, даже по сухаревской оценке, не превышают ста — может, двухсот рублей. C'est tout[2].

---

[1] Последний бой *(фр.)*.
[2] Это все *(фр.)*.

Не судиться надо со мной, а дать мне последнюю отсрочку, о чем я и отсылаю официальную просьбу.

Через несколько дней приеду в Москву. Я рассчитываю увезти Вас хоть на день в мое логово.

Преданный Вам

И. Бабель

113. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

13 декабря 1930 года, Молодёново

Работа для «Н. М.» вчерне мною закончена. Требуется еще некоторое время для того, чтобы придать ей годный для напечатания вид.

Прошу отсрочить мне представление рукописи до апреля (включительно) 1931 г. Заверяю редакцию, что это будет последняя отсрочка. Материал, который я представлю, в смысле гонорара намного превысит полученный мною аванс.

И. Бабель

Молоденово, 13/XII—30

114. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨14 декабря 1930 г., Москва⟩

⟨...⟩ Что же касается видимого неблагополучия литературной моей биографии — то до сих пор я блистательно опровергал страхи близоруких моих поклонников, это будет и впредь. Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении,— и когда эти два качества напрягаются до высшей степени, тогда только я чувствую la joie de vivre[1], что имеет место и теперь. А для чего же живем в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства. Что же худо? Худо единственно то, что я удален от своей семьи, привязанность к которой с каждым днем я ощущаю все сокрушительнее. Разделенность эта на 100% вызывается объективными условиями, совладать с ними иначе, чем делаю я — невозможно, если хотеть соблюсти чувство достоинства и чистоту и гордость в работе ⟨...⟩.

И.

---

[1] Радость жизни *(фр.)*.

115. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨15 декабря 1930 г., Москва⟩

⟨...⟩ Только что мне сообщили из Госиздата, что последнее издание «Конармии» разошлось в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней — и требуется новое переиздание, за которое полагается новый гонорар... Я написал Жене, что, похоже, эта лошадка нас и до весны довезет... И лошадка-то второго сорта — а вот пойди разбери читателя.

Засим — будьте здоровы! Будьте обязательно здоровы.

Исаак Спиноза

116. Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 27/I—31 *27 января 1931 г., Молодёново*

Ma tres chère Lucie[1]. Яшка Охотников скоропостижно увез меня сегодня в 9 часов утра. Жрать здесь нечего, холодновато и нету керосину. Не придется ли помирать?..

Просьба. Я рассчитываю, что Вы ее исполните, потому что она и Вашему сердцу будет близка. Надо послать Мери несколько хороших новых книг — Петра I, может быть, Веру Инбер и другое — по вашему усмотрению. Заказной бандеролью. Издержки будут возмещены. Между строк Жениных и маминых писем я читаю, что Мери больна попрежнему, и очень больна. На душе очень тяжело. Саша как-то говорил, что может достать табак. Если это не мена, то пусть оставит для меня. Папиросы я перед отъездом достал, все же собирайте для меня un petit...[2]

Привет всей famille, salut[3].

Любящий Вас *И. Б.*

117. А. Г. СЛОНИМ

Молодёново, 8/II—31 *8 февраля 1931 г., Молодёново*

Милая «Анюта». Ладыгин был рожден своим отцом-штабс-капитаном для того, чтобы начать с подпоручиков и кончить подполковником,— изменившиеся обстоятель-

---

[1] Моя очень дорогая Люся *(фр.)*.
[2] Понемногу... *(фр.)*
[3] Семье, привет *(фр.)*.

ства сделали его зоотехником. Офицерская эта душа все данные ему поручения переложила на Вас, за что и получила от меня жестокий разнос. Это не мешает мне испытывать к Вам глубокую благодарность за присылку музейных экспонатов. Последний мой приезд в Молодёново грустен — я хвораю от переутомления, простудился вдобавок и, объезжая лошадей, отморозил себе нос. Жрать было нечего. Теперь полегчало. Присланные Вами письма заключают в себе мало веселого — старушка снова больна, сестра дежурит при ней дни и ночи, она измучена, в отчаянии и прочее. Одна только дщерь не доставляет пока никаких огорчений. Я твердо решил сделать для освежения мозгов небольшой Ausflug[1], недели на две, куда-нибудь на юг. В Москву приеду числа 12-го и заявлюсь немедленно.

Отсюда мораль — если заводить себе родственников — так из мужиков, и если выбирать себе профессию — так плотницко-малярную.

Ваш *И. Б.*

P. S. Английская газета будет привезена аккуратнейшим образом. Привет Вашим соседям по квартире.

118. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨11 февраля 1931 г., Молодёново⟩

⟨...⟩ Программа такова — несколько дней пробуду в Москве, потом поеду на юг через Киев. В Киеве мне нужно побывать в Правлении Вуфку, для которого я эпизодически исполняю кое-какие безымянные работы, потом хочу еще побывать в приснопамятной Великой Старице, оставившей во мне одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь. Потом проеду южнее на несколько дней в новые еврейские «мужичьи» колонии. Потом обратно в Молодёново ⟨...⟩

И.

---

[1] Экскурсия *(нем.)*.

119. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 5/III—31 *5 марта 1931 г., Киев*

Милая «Анюта». Поездка моя пока что складывается неудачно. Я хвораю. Выехал из Москвы в прелестный, солнечный день, на Украине же застал зиму, ветры, снежные метели. Бронхит у меня такой жестокий, что я неделю провалялся. Счастливо вышло, что не застал номера в гостинице, заехал к Макотинским, и они трогательно за мной ухаживают. Вчера выполз на почту, получил Ваше заказное. Письмо Евгении Борисовны содержит мало веселья — одно только дите и процветает, женщины же рвут и мечут, требуя сокращения сроков.

Je ferai mon possible[1]. Адрес пока неизменный. Я боюсь двигаться в недра с таким здоровьем — да еще и холодно очень.

Хочется надеяться, что у Вас все благополучно. Желаю я Вам этого благополучия от полноты сердца. Привет домашнему хозяину и юному артисту.

И. Б.

120. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Киев, 6/III—31 *6 марта 1931 г., Киев*

Дорогие земляки. Поездка складывается неудачно. Я болен (очевидно, бронхит) — много дней не выхожу из квартиры. Правда, за мной ухаживают — я остановился у хороших людей. Зима здесь не хуже московской, но труднее переносима из-за отсутствия «приспособлений». Курс я попрежнему держу на еврейскую колхозную колонию. Очень больно, что задерживаюсь. Может, числа 10-го выеду. О передвижениях своих буду сообщать. Адрес пока — Киев, до востребования. Не звонила ли вам Бабаева? Если приедут хозяева квартиры — пожалуйста, возьмите на сохранение мои многострадальные вещи — список к ним приложен. От Мери и Жени неутешительные сведения. До свидания.

Любящий вас *И. Б.*

---

[1] Я сделаю все возможное *(фр.)*.

121. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Киев, 24/III—31 *24 марта 1931 г., Киев*

Незабываемые земляки. Вернулся из Макарова в Киев. Собираюсь в Москву и Молодёново. Я не доволен поездкой. В том рабочем и сосредоточенном состоянии, в каком я находился, мне трогаться с места не следовало — а то получилась бессмыслица: из-за передвижений (по нынешнему времени мучительных) я не работал, из-за желания работать не передвигался как следует. Вышло ни то ни се. Придется наверстывать в Молодёнове. От родни стационарные, неутешительные сведения, только дщерь веселится. Впрочем, от Жени вот уже месяц как нет писем. С тем до скорого свидания.

Ваш *И. Б.*

122. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 24/III—31 *24 марта 1931 г., Киев*

Милая и достолюбезнейшая сердцу моему А. Г. Вернулся из Макарова и с упоением думаю о возвращении к молодёновскому очагу. Путешествие мое во всех смыслах неудачное и бессмысленное. В том рабочем состоянии, в каком я был, мне нельзя было трогаться с места — а так наломался только; из-за необходимости работать не увидел того, что хотел, благодаря неудобным (до мучительства) передвижениям не смог работать. Я не помню в своей жизни поры, когда я был бы так мрачен, как теперь. Вся надежда — на бальзам молодёновского заточения. Рассчитываю выехать отсюда через несколько дней — так что корреспонденцию, буде таковая имеется, пересылать не надо. Привет доценту и вице-скульптору — поклон с любовью.

И. Б.

123. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 14/IV—1931 г. *14 апреля 1931 г., Молодёново*

Дорогие домашние хозяйки и их домашние хозяева. Как всегда, когда в дело замешан Яшка Охотников, отъезд мой совершился с большими волнениями и скоропостижно.

В довершение бед у меня очень болела голова — и я не

смог с вами попрощаться. Так как мне шутить и прохлаждаться больше нельзя, то я, наверно, посижу здесь по-настоящему. Может, приеду на день, на два в Москву за продовольствием, но вас бы я хотел видеть в Молодёнове.

Из-за этой дурацкой поездки дела мои пришли в такое расстройство, дел так много, что я еще и на завод не выходил. Позвоню вам в ближайшие дни. Пыл мой на будущей неделе остынет — и я очень бы хотел, чтобы вы приехали.

Привет Танюше и Вере.

И. Б.

124. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨24 мая 1931 г., Молодёново⟩

⟨...⟩ День 22-го провел за городом на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что вот до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой — какого другого в мире нет ⟨...⟩.

И.

125. Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 25/V—31 *25 мая 1931 г., Молодёново*

Chère Lou[1]. Дни мои в Москве так «уплотнены» и трудны, общение с «нужными» людьми (все еще нужными) так мучительны, что к горлу подкатывает иногда отчаяние и бешенство, от которого только и бежать в дремучие леса да в келью. Вчера на душе так было худо, что я воспользовался первым случаем и, не собрав даже необходимого количества папирос,— исчез. Впрочем, и здесь теперь много людей — свадьба, много пьяных и прочее. Но вот нужных людей нет.

Завтра пойду к Лавровой и потом позвоню вам по телефону, обо всем договоримся.

Ваш *И. Б.*

---

[1] Дорогая Лу *(фр.)*.

126. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨17 июня 1931 г., Москва⟩

⟨...⟩ По отзывам — сочиняю я теперь лучше, чем раньше,— так что слова твоего Слонима относятся к прошлому и для меня значения не имеют. Впрочем — надо мне отдать справедливость — к критике, хвалебной и ругательной — я отношусь с полным самообладанием и знаю ей цену — чаще всего цена ей пятак ⟨...⟩.

И.

127. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨3 июля 1931 г., Молодёново⟩

⟨...⟩ Я здесь сразу отошел после Москвы и работаю с прежним упоением. Мне пришлось сдать кое-какие рукописи, но редакторы требуют добавления; они правы, рассказы слишком злободневны, и для того, чтобы печататься — надо бы подбавить современного материала — что я и делаю теперь. Правы-то редакторы правы, настала пора и вперед заглядывать, а не только на ближайшие две недели, но мне-то усилие большое надо сделать, для того чтобы превозмочь все нарастающее нетерпение. Я счастлив тем, что у меня есть два щита от бед — работа, которую я люблю, и Молодёново, моя крепость ⟨...⟩.

И.

128. А. М. ГОРЬКОМУ

6 июля 1931 г., ⟨Молодёново⟩

Дорогой Алексей Максимович, я переписал еще несколько старых рассказов. (Новые не замедлят последовать.) Если будет время — прочитайте, пожалуйста.

Ваш *И. Бабель*

6/VII—31

129. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨7 июля 1931 г., Молодёново⟩

⟨...⟩ Жить мне стало много веселее, чем раньше, не помню, писал ли я вам, что в одном километре от Молодё-

ново, в бывшем Морозовском доме поселился Алексей Максимович (для него выбрали лучшее из подмосковных мест), и так как правила, регулирующие людской поток вокруг него на меня, по старой памяти, не распространяются — то я иногда хожу по вечерам в гости... До чего поучительно и приятно неожиданное его соседство, нечего и говорить... Вспоминается юность, и хорошо то, что отношения, начавшиеся в юности, до сих пор не изменились ⟨...⟩.

И.

130. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 10/IX—31 *10 сентября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П.

Только что дописал рассказ для «дебюта» в «Новом мире». По прежним правилам я отложил бы его на год, но теперь обстоятельства (а в соответствии с ними и правила) изменились. В ближайшие две недели отделаю и в конце сентября сдам.

En m'accordant cette grâce[1], вы дадите мне возможность печататься в «Новом мире» без перебоев из номера в номер. Право, надо помочь мне окончить мучительное мое настроение по всем правилам акушерства, то есть без выкидышей, без преждевременных родов. Нормальные сроки сами собой подошли.

Ваш *И. Бабель*

131. В. А. РЕГИНИНУ

Молоденово, 13/X—31 *13 октября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. А.

Посылаю выправленную рукопись. Не могу не повторить, что такой переписки — поистине позорной — никогда и нигде не видел.

Обязательно надо будет прочесть сверстанные листы.

Буду в Москве после 20-го. Немчинский, надеюсь, уплатил по моим запискам. Остаток составит 250 р.

Надо приступить к артиллерийской подготовке для следующей выкачки из ГИХЛ'а. Мне до 1/XI надо уплатить фининспектору 630 р. Бухгалтерию можно утешить тем, что наличных не потребуется.

Ваш *И. Б.*

---

[1] Даровав мне такую милость *(фр.)*.

132. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 13/X—31 *13 октября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П. Отослал в редакцию выправленную рукопись «Гапы Гужвы». Пришлось изменить название села — для избежания сверхкомплектного поношения.

Договор я хотел бы заключить такой — на четыре рассказа со сроком сдачи не позднее 1/III—32 г.; сдавать таким образом, чтобы обеспечить печатание в каждой книжке журнала. Гонорарий — три тысячи рублей; выплаты ежемесячные, начиная с октября по 750 р. в месяц. На эти рассказы (они подлиннее прежних) ушло столько времени, мозгов и сердца, что и при этом гонораре «себестоимость» далеко не будет соблюдена.

Я все отрабатываю авансы, денег ни копейки , а до первого ноября мне нужно уплатить фининспектору шестьсот тридцать рублей. Если редакция согласится на мои условия, то договор хорошо бы ввести в действие с октября. Приеду я в Москву на день, на два к 20 числу, тогда можно и руку приложить. В город буду теперь приезжать еще реже, чем раньше. Вот два дня сижу в деревне и никак не могу опомниться от того, что видел и слышал по нашей отрасли в Москве, не могу приняться за работу...

Сообщаю Вам номер моей сберкнижки (это на тот случай, если удастся получить деньги в октябре) — сберкасса № 30 на Тверской, сберкнижка № 779501.

Простите за то, что обременяю всеми этими «подлыми» делами, но к кому же мне обратиться...

Привет К. А.

Ваш *И. Бабель*

133. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨14 октября 1931 г., Молодёново⟩

⟨...⟩ Перед отъездом я просил Катю послать вам и Жене по номеру журнала «Молодая Гвардия». Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено,— когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно. В этом же месяце появятся два рассказа в «Новом

мире» — один из той же серии, другой деревенский. Всем, кто слушали — нравится, но... но покой ушел из моей жизни. После длительного перерыва я соприкоснулся с литературным базаром, многое меня взволновало, в деревне я отхожу и снова принимаюсь за работу. Фенюшка, взялся за гуж — не говори, что не дюж; отступать теперь некуда, надо гнуть линию... Родным моим, да и мне самому, тяжко приходится от этой линии, но я знаю, что скоро замолю свои грехи перед вами. Как видите, началось последнее действие драмы или комедии — не знаю, как сказать... Не толкайте меня, mes enfants[1], под руку,— если бы вы знали, до чего нужны твердость и спокойствие этой руке ⟨...⟩

И.

134. С. М. МИХОЭЛСУ

Молодёново, 28/XI—31 *28 ноября 1931 г., Молодёново*

Дорогой С. М.

Я жив и пишу рассказы, не пьесу, а рассказы. Замерзшая пьеса лежит, лежат сотни исписанных листов. Самое удивительное в этом деле, что я ее все-таки напишу; она не дается, но мы ее оседлаем. От этих рассуждений никому не легче, ни Вам, ни Вашей бухгалтерии. Все-таки не стоит сажать меня в долговую яму. Гордость моя заключается в том, чтобы не платить кредиторам по 20 копеек за рубль, а бедствие в том, что о рубле, его качестве и удельном весе у меня собственное представление. Если вы согласны ждать еще — ждите, и это будет правильно, если нет — я верну деньги. Я начал печататься, и гонорарий помаленьку будет капать.

Кто-то передавал мне, что у вас директором — Токарев. Правда ли это? Если он в Москве, кланяйтесь ему от меня.

Мне очень хочется, чтобы Вы приехали в Молодёново. У нас нет комфорта, но красота неописанная. Дороги еще нет, но как только ляжет снег, я пришлю за Вами гонца, Вы передадите ему, к какому поезду высылать лошадь, и мы весь Ваш выходной день будем говорить о любви и пить вино.

Привет от всего сердца Е. М.

Ваш *И. Бабель*

---

[1] Мои дети *(фр.)*.

135. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 2/XII—31 *2 декабря 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П.

Посылаю корректуры. Рассказы, которые я теперь печатаю, написаны несколько лет тому назад и в последние месяцы отделаны (относительно). Я стал не тот, мысли не те, жизнь ушла вперед. Жалко прожитых годов (внутреннего моего настроения), не хочется их оставить без следа, вот хвосты и тянутся. В интересах моих и журнала печатать эти рассказы в комбинации с новыми; новые поспевают, полоса у меня рабочая.

Если бы начать печататься на несколько месяцев позже — вышло бы много веселее и значительней. Я бы хотел оттянуть и декабрьские, но Вы, верно, не согласитесь, бейте в мою голову.

Попытаюсь вызвать Вас по телефону из бывшего горьковского дома, а не то в начале будущей недели приеду на день в Москву.

Ваш *И. Б.*

136. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨7 декабря 1931 г., Москва⟩

⟨...⟩ Редакции рвут на части — я не поспеваю за их требованиями. Неужели вы до сих пор не получили октябрьской книжки «Нового мира»? Лит. журнал «Звезда» вам выслан. Обязательно надо было послать «Молодую Гвардию» Жене ⟨...⟩

И.

137. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨2 января 1932 г., Москва⟩

⟨...⟩ Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как «Карл Янкель». Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами

рано, посмотрим, что будет дальше. Единственное, что достигнуто,— это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было. Внешне же это проявляется пока недостаточно, случайно, скомканно, не в том порядке, как надо. Впрочем, до всего дойдет очередь ⟨...⟩

И.

138. В. А. РЕГИНИНУ

Молодёново, 9/IV—32 *9 апреля 1932 г., Молодёново*

Дорогой В. А.

Один рассказ переписал, приступаю ко второму. Привезу через несколько дней. Вот только с распутицей беда, как бы нас не отрезало от мира.

Постарайтесь до моего приезда продвинуть гонорар за новый рассказ и помогите тетке получить остающиеся двести рублей.

Душевная, важная к Вам просьба: распорядитесь об отправке заказной бандеролью — 2—3 и 4 номеров «30 дней» моей матери и Евг[ении] Борисовне. Адреса: Madame Babel, 8 Avenue Emil Zola, Paris 15 и Madame Chapahnikoff, 52 rue del Bollandistes, Bruxelles, Belgique.

Пожалуйста, сделайте это.

Живу хорошо, работаю.

Ваш *И. Б.*

139. Т. Н. ТЭСС

Молодёново, 24/IV—32 *24 апреля 1932 г., Молодёново*

⟨...⟩ Третий день болит голова. Дьявольский климат. При таком климате надо бы каждому гражданину, ни в чем особенном не замеченному, раздавать по карточкам, по крупице радия, чтобы он лучеиспускал. Неумолчно ревет корова. Она требует трех вещей — травы, солнца и супружества. Ревет она упрямо, забирая все выше, вытягивает морду из стойла и таращит глаза. С таким откровенным характером, конечно, ей легко живется на свете...

Вернусь я в Москву 1 или 2 мая. Желаю Вам от господа бога хорошего расположения духа, хороших мыслей и адекватного их выражения.

И. Бабель

140. А. Г. СЛОНИМ

Москва, 17/VIII—32 *17 августа 1932 г., Москва*

Дорогая А. Г. Живу так плохо, как только можно себе вообразить. Несколько месяцев ничего не работаю; душевно и физически изнемогаю. По-прежнему переходы от отчаяния к надежде. В довершение ко всему — все время болит сердце. Мой старый «покровитель» сделал последнее усилие, жду его результатов. Евгения Борисовна ничего не пишет. Если вдуматься в эту историю — холодновато становится.

Из семейства Вашего часто вижусь с уважаемым mr. votre fils[1], квартирные его неурядицы еще не кончились, но, думаю, все обойдется. Просить у Вас прощения не буду, боюсь показаться бестактным. Родителями моими я рожден не для того, чтобы быть несчастным, и в этом противоестественном состоянии теряю ощущение действительности. В Москве Вы меня, конечно, еще застанете.

Ваш *И. Б.*

141. А. Г. СЛОНИМ

St. Jacut de la Mer
19/IX—32 *19 сентября 1932 г., ⟨Бретань⟩*

Дорогие и незабываемые земляки. Фамилию мою в Париже не застал и отправился за ними в Бретань. Они лечатся здесь от многочисленных болезней. Знакомлюсь с inénarrable m-elle Babel[2]. При весе в 1 пуд — в ней на 10 пудов лукавства, жадности, живости — и при этом есть стиль — так, по крайней мере, мне кажется. По-французски она говорит, как Parisienne de Paris[3], по-русски много хуже. Живем мы в рыбацкой деревушке недалеко от Динара, съедаем по тринадцать французских блюд ежедневно, не считая.

И. Б.

---

[1] Вашим сыном *(фр.)*.
[2] Уморительная мадемуазель Бабель *(фр.)*.
[3] Истая парижанка *(фр.)*.

142. А. Г. СЛОНИМ

⟨Сентябрь 1932 г., Бретань⟩

Petit dejeuner u che compplet[1]. Собираюсь отправиться на ловлю омаров и лангуст, завтра пойду на foire[2]. Надо воспользоваться случаем, забросившим меня в Бретань, и походить по этой стране. К 1-му поедем в Париж. Не помню, оставил ли я вам адрес — 10 Avenue Pasteur, Paris 15ᵉ. Привет Илюше. Я напоминаю ему о том, что надо отлить бюст и прислать мне фотографию. Я очень хочу показать Евгении Борисовне. Она кланяется Вам от всего сердца. Материнские обязанности Е. Б. исполняет с каким-то даже остервенением, но ce cas est difficile[3]. Все страсти, которые отец в себе подавил, в дочери свободно выступают наружу.

Ваш *И. Б.*

143. А. Г. СЛОНИМ

Paris, *5/X—32* *5 октября 1932 г., Париж*

Дорогая А. Г. Несколько дней тому назад приехали в Париж. Привыкаю к семейной жизни, занят «организационными вопросами» — устраиваю себе угол для работы,— в Москве потеряно много месяцев. После Молодёнова — Avenue Pasteur[4], после мужиков, молчавших как земля,— трехлетнее, буйное, картавящее существо в локонах, хлопающее меня по щекам и обзывающее «petit cochon»[5] или «дюрак» — переход резкий. Стараюсь к нему привыкнуть.

Что у Вас? Как дела Илюши с бюстом и прочее? Множество приветов Л. И. Пишите мне!

Ваш *И. Б.*

---

[1] Первый завтрак целиком (*фр.*).
[2] Ярмарка (*фр.*).
[3] Это трудный случай (*фр.*).
[4] Авеню Пастера (*фр.*).
[5] «Поросенок» (*фр.*).

144. Б. Б. СОСИНСКОМУ

Париж, 23/XI—32 *23 ноября 1932 г., Париж*

Дорогой Б. Б.

Вырезку получил. Спасибо. О деле «Рассвета» я слышал, но прочесть было интересно.

Особой встречи с «сиятельным князем» искать, конечно, не надо. Мы могли бы сообщить друг другу много поучительного. У меня есть московские программы, фотографии и проч.; со своей стороны я хотел бы узнать о состоянии рысистого дела во Франции. Если представится случай — хорошо, но настойчивости в этом направлении проявлять не следует. В ближайшие дни собираюсь позвонить Андрееву и уговориться о встрече.

Ваш *И. Б.*

145. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 8/II—33 *8 февраля 1933 г., Париж*

Милая А. Г. Без бед ни в каком Париже не обходится. Несколько недель я был угнетен полной и мучительной неработоспособностью, потом маленько воспрянул, тогда нас посетил «всеобщий грипп». Хворала Евгения Борисовна, хворал отпрыск, от отпрыска заразилась моя мать (приехавшая в гости из Брюсселя) — пролежала десять дней, и венец всего — как последствие гриппа с ней случился страшный сердечный припадок. Неделю я не ложился и жил в тревоге. Теперь дело пошло на поправку.

Планы таковы — в начале марта поехать в Сорренто, оттуда в Москву. Как видите — появление парижанина в Машковом переулке не за горами. Дщерь наша цветет — веселит и оживляет весь дом; за недолгую свою жизнь она успела уже произнести несколько гениальных изречений, придумать несколько слов — т. е. живет так, как ей полагается. Вчера ее снимали, как только получу карточки, пошлю вам.

Я, кажется, писал уже Вам, что по необходимости веду образ жизни добродетельный и трудовой. Сделал я в смысле количества мало, но мысли кажутся мне проще и яснее, чем раньше. Маленько мешает строго (строжайше) ограниченный прожиточный минимум. Сытость, одежда — об этом всем не думаешь, но человек развращается быстро, а дальнейшему развитию аппетита поставлены пределы.

О житье Вашем осведомляла меня тетка — у нее все плохо.

Сосед мой Штайнер только теперь выбрался из Вены — возможно, что по дороге в Москву он заедет дня на два в Париж. Я очень рад тому, что он снова водворится в Б. Николо-Воробинском, на него можно положиться...

До сих пор я думал, что рекорд медлительности в «трудах» незыблемо укреплен за мной,— похоже, что Илюша у меня этот рекорд отобьет. Кланяйтесь ему от меня; очень бы хорошо получить от него письмо.

Бумаги я здесь мараю много — не хочется прибегать к испытанному этому способу, чтобы передать Вам мысли мои и впечатления — в не столь продолжительном времени за стаканом доброго чая (не глупо ли я это написал?) Вы услышите, à mon avis[1], интересные вещи.

Я рад за Л. И. Если работает — значит, здоров или приблизительно здоров. Больших карманов пусть себе не шьет — но лезвия Жиллет будут.

Наша «фамилия» кланяется Вам. Как только карточки будут готовы — пришлю наши личности.

До свидания.

Ваш *И. Б.*

146. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 22/II—33 *22 февраля 1933 г., Париж*

Дорогой Л. В. Не могу сказать, как обрадовала меня Ваша открытка, как я рад за Вас всем сердцем... Наконец-то. Писать не писал, а думал и вспоминал о Вас постоянно — в особенности во время прогулок по Av. Wagram...[2] Хороший город Париж — еще лучше стал... Американцы и англичане с шальными деньгами исчезли. Париж стал французским городом и от этого поэтичнее, выразительнее, таинственнее... Боюсь, что на Монпарнасе мы не встретимся. В начале лета я буду в Москве,— в марте хочу поехать в Италию. Не входит ли Италия в ваш маршрут? Ответьте мне. Во всяком случае сообщите адреса. Не прихватить ли мне Турцию и вернуться через Константинополь? Напишите о делах российских... Читали соборно фельетон Ваш о Пильняке — помирали со смеху — превосходно написано.

---

[1] По моему мнению *(фр.)*.

[2] Авеню Ваграм *(фр.)*.

Вообще последнее время с моего благословения Вы расписались здорово.

У меня здесь отпрыск трех с половиной лет — существо развеселое, забавное и баловливое. Эренбург богат — американцы в который раз купили у него «Жанну Ней» для фильма. Я же, напротив, очень беден. Есть ли у меня знакомые в турецком нашем представительстве?.. Ответьте поскорее. Где Ел. Григ.?.. Как здоровье ее?

Ваш *И. Б.*

147. Ю. П. АННЕНКОВУ

11/III—33 *11 марта 1933 г., ⟨Париж⟩*

Дорогой Ю. П.

На улице стоит проклятый мороз и не дает работать, сплю плохо, а работать надо не только для души, но и для заработка, который, как известно, на чужой стороне дается трудно. Я надеюсь, что через несколько дней плохая моя жизнь кончится и мы ознаменуем с Вами начало новой, хорошей. Как только сие случится, прибегу к Вам, надо думать, в середине будущей недели. Валентине Ивановне кланяемся несчетно раз.

Ваш *И. Б.*

148. А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 18.III—33 г. *18 марта 1933 г., Париж*

Дорогой Алексей Максимович!

Томлюсь. Хочу ехать в Сорренто, в Москву — и не могу, нет денег. Написал в Москву, жду ответа. Пытаюсь заработать здесь, что трудно. Мне сделали предложение кинематографические фирмы; я поставил условия, очень их ограничивающие. Не знаю, примут ли. Подожду еще неделю, больше не выдержу. Если денег не добуду — займу у кого-нибудь и поеду. Несмотря на столь неопределенные обстоятельства — все-таки до свидания. Привет семье.

Ваш *И. Бабель*

149. А. Г. СЛОНИМ

Сорренто, 15/IV—33 *15 апреля 1933 г., Сорренто*

Рай земной, надо думать, должен выглядеть как Capo de Sorrento[1]. Перед окном Неаполитанский залив, в дымке Везувий, который всегда курится, у порога оливковые, апельсиновые, лимонные рощи, дьявольские всякие ароматы и наваждение цветов. Живу здесь пятый день и никак не могу опомниться. Успел побывать в Риме и Неаполе, перед отъездом собираюсь поколесить по Италии. От Вас давно нет известий. Мой адрес: Sorrento, Italia, Poste restante. Je vous salue de tout mon coeur...[2]

И. Б.

150. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨5 мая 1933 г., Сорренто⟩

⟨...⟩ Вчера провели весь день с Алексеем Максимовичем Горьким в Неаполе. Он показывал нам музеи — античную скульптуру (до сих пор опомниться не могу), картины Тициана, Рафаэля, Веласкеса. Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здорово. Когда мы вошли вечером в ресторан (расположенный высоко над Неаполем, вид города оттуда волшебен), где его знают уже 30 лет, все встали со своих мест, официанты кинулись целовать ему руки и сейчас же послали за старинными певцами неаполитанских песен. Они прискакали — семидесятилетние, все помнящие А. М.— и пели надтреснутыми своими голосами так — что я, верно, во всю мою жизнь этого не забуду. А. М. плакал безутешно — пил и, когда у него отбирали бокал, говорил: в последний раз в жизни... Незабываемый для меня день. Стараюсь изо всех сил ускорить приезд Жени и Наташи. Надеюсь, что они приедут недели через полторы. Мне не советуют посылать пьесу, надо бы, конечно, везти самому, я еще не решил, как поступить. Горькие уезжают девятого — есть советский пароход, идущий из Лондона в Одессу, им, конечно, выгодно поехать на нем. В доме остаюсь я да Маршак — великолепный наш детский поэт, надеюсь, он подружится с Наташей. У Маршака тоже есть в Брюсселе сестра; очень возможно, что мы поедем в Бельгию вместе.

---

[1] Мыс Сорренто *(фр.)*.

[2] Я вас приветствую от всего сердца... *(фр.)*

А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. А. М. обещал прислать из Москвы гонорар валютой⟨...⟩.

И.

151. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Сорренто, 11/V—33 *11 мая 1933 г., Сорренто*

Горький уехал восьмого. Поездом они отправились до Генуи, там пересядут на советский пароход, идущий прямым рейсом до Одессы. Я провожал «хозяина» до Неаполя, остался там на два дня, вернулся вчера вечером. Мы одни с Маршаком в громадной вилле, если бы Женя с Наташей поскорее приехали. Задерживают, конечно, материальные затруднения, надеюсь, что их удастся преодолеть. Начинаю переписывать пьесу, через несколько дней пошлю ее в Москву.

Горький просил меня написать несколько статей о Неаполе. Дело это близко моему сердцу — попытаюсь.

И.

152. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Рим, 20/V—33 *20 мая 1933 г., Рим*

У меня головокружение от всех этих колизеев, форумов, Сикстинских капелл, Рафаэля, Пантеона... Хотел уехать сегодня, но не могу оторваться, когда-то еще придется вернуться сюда... Вот и пришлось увидеть то, о чем я с детства прочел сотни книг.

В Париж выеду послезавтра.

И.

153. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Флоренция, 24/V—33 *24 мая 1933 г., Флоренция*

Конец венчает дело — ничего более прекрасного, чем Флоренция, на своем веку не видел. От всех этих Микельанджело, Рафаэлей, Тицианов хожу как в чаду. Ночью еду

в Париж, куда должен прибыть завтра в десять часов вечера — там небось прихлопнут всякие дела. Сейчас пойду покупать гостинец Наташе.

Посылаю Вам лоджию со статуей Бенвенуто Челлини на первом плане.

И.

154. А. М. ГОРЬКОМУ

Флоренция, 24/V—33 *24 мая 1933 г., Флоренция*

Дорогой Алексей Максимович.

Глаза мои видят, ноги мои ходят, я во Флоренции. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым...

Собираюсь в Париж. Меня торопят с представлением сценария. Кое-что обдумал. В июне рассчитываю увидеться с Вами в Москве и очень этому радуюсь.

Маршака оставил в неудовлетворительном состоянии. Ничего не мог поделать: мне надо ехать; беспокоюсь об нем.

Когда приеду — расскажу Вам и Яковлеву, что я увидел в Неаполе; очень будет хорошо, если у нас выйдет «сочинение»...

Поклон от всего сердца чадам и домочадцам.

Ваш *И. Бабель*

155. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 29/V—33 *29 мая 1933 г., Париж*

Милая А. Г. Вчера вернулся в Париж после полуторамесячного пребывания в Италии. Не успел побывать в Венеции — не хватило денег. Все затмила Флоренция. Впечатление неизгладимое на всю жизнь. Алексей Максимович поручил мне одну работу, которую надо исполнить здесь, потому я не мог приехать вместе с ним. Тоска по России все сильнее. Вернусь во второй половине июня.

В работе — неудачи. Пьесу написал — не вышло. Не могу пока определить — окончательная эта неудача или еще поправимо. Сдал А. М. несколько рассказов для второго номера альманаха «Шестнадцатый год», один рассказ как будто ничего, остальные, по-моему, серы. Дочка за полтора месяца очень изменилась, хорошо говорит по-русски, меньше шалит. Сегодня отдал напечатать ее негативы, когда будет готово — пошлю Вам. Это должна была сделать Евгения Борисовна, но по забывчивости своей ничего не исполнила. Не переслала мне даже в Сорренто Ваше пись-

мо, я только здесь узнал о нем. Пробки, конечно, привезу. Напишите обо всех поручениях, теперь время. Привет мужчинам. Я радуюсь тому, что свиданье наше не за горами.

Ваш *И. Бабель*

156. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 30/VII—33 *30 июля 1933 г., Париж*

Л. В. Вместо того, чтобы объявлять меня жуликом (легкое занятие), послали бы мне друзья мои денег на дорогу или хотя бы ж. д. билет. Пять месяцев тому назад я написал об этом, никто не ответил. Что это значит? Это значит, что я предоставлен самому себе в чужой враждебной обстановке, где честному сов. гражданину заработать невозможно. Едучи сюда, я рассчитывал, что у Евгении Борисовны будут деньги на обратный путь, но американский дядюшка кончился, наступила misere noire[1], долги и проч. Унижение и бессмыслица состоят в том, что человек, лично ни в чем не нуждающийся, приспособленный в тому, чтобы обходиться без всяких просьб, принужден прибегать к ним, и так как он делает это против своего чувства, против своей гордости, то и выходит это у него плохо. Жизнь этого человека ломается надвое, ему надо принять мучительные решения. Сочувствия не нужно, но понимание товарищей — хорошо бы.

Это о «мире», теперь о себе. Живу отвратительно, каждый день отсрочки мучителен; кое-как состряпал кратчайший ex posé[2]. Если понравится и заплатят — выеду на этой неделе, если не понравится (изложено отнюдь не в духе Патэ) — тогда... не знаю, что делать, объявить себя разве банкротом, попросить в полпредстве ж.-д. билет и тайком бежать от кредиторов...

Voila[3], невесело. Мне до последней степени нужно быть в Москве 10/VIII, иначе рухнут давнишние заветные планы. И так с верой в «божью помощь» — a bientôt...[4]

Целую руки и низко кланяюсь Е[лене] Гри[горьевне]

Любящий Вас *И. Б.*

Эренбург был в Лондоне, захворал там, теперь он в Швеции.

---

[1] Черная нужда *(фр.)*.
[2] Экспозе (выдержка из чего-либо) *(фр.)*.
[3] Вот *(фр.)*.
[4] До скорой встречи... *(фр.)*

157. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 21/IX—33 *21 сентября 1933 г., Москва*

Жизнь налаживается. Читал доклад о заграничной поездке — хуже, чем мог бы это сделать. В газетах переврали, но это неизбежно. Переделываю теперь «труд», написанный в Париже, конец там вышел неудачен. Освободиться бы от этого, тогда дорога открыта — можно заняться множеством интересных дел. Посылают в командировку на Се[верный] Кавказ и Украину. Возможно, побываю в Одессе. Думаю, что в октябре начну работать на экспорт — так чтобы была помощь маме и Жене. Если не считать нищеты — в Париже все благополучно.

У нас чудовищная осень — не то что каждый день дожди, и слякоть, и сумрак, а каждый час льет; феноменальный урожай этого года ощутительно страдает.

Вчера у меня в гостях были Лившицы и Семичевы; выпивали, закусывали, играли на граммофоне. В гостях у нас отличный инженер из Вены — ведем за трапезой легкий разговор на венском диалекте за сигарой и венским кофе. «Паллацо» мое в порядке.

Катины дела я нашел в плачевнейшем состоянии. Помаленьку их поправляем.

Пишите, от вас ничего нет. Каковы воспоминания о племяннице? Я скучаю здорово.

И.

158. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 29/X—33 *29 октября 1933 г., Нальчик*

Живу в благословенной стране — езжу с «хозяином» ее по горам и долам, вспугиваем волков и зайцев, ловим лососей в Тереке. Все дышит здесь изобилием, какого много лет не было. Урожай баснословный, стройка везде кипит, здесь и жить радостно. Постараюсь здесь пробыть как можно дольше; материал и для нас и для заграницы можно собрать необычайный. Из-за всех этих странствий текущие дела маленько запустил — постараюсь наверстать. Кроме того — совсем оторвался от всех корреспондентов и очень тревожусь — что с вами, со всеми моими тремя поколениями? Получили вы телеграммы мои с указанием адреса? Где мама? Подожду еще день и буду снова телеграфировать. Не оставляйте меня без известий. Повторяю в Н-й раз ад-

рес: Нальчик, Се[верный] Кавказ, до востребования. Я теперь сделался на некоторое время оседлым жителем, писать буду аккуратно — потому, конечно, что беспрестанно думаю о вас.

И.

159. Л. М. ВАРКОВИЦКОЙ

Нальчик, 29/X—33 *29 октября 1933 г., Нальчик*

Милая Л. М. Приехал из Парижа и снова странствую. Объехал Черноморское побережье, теперь живу в Нальчике (Кабардино-Балкарская область), где и задержусь. Письмо Ваше переслали, книжку нет, запросил моих домашних. Сейфуллиной напишу, и вообще, когда приеду в Москву — расшибусь и сделаю все, что надо.

Не поговорить ли Вам пока с Маршаком? Прилагаю письмо к нему. Он один из организаторов нового детского изд-ства и может дать Вам нужный совет. Адреса его не знаю, в письме и личные мои дела, пожалуйста, передайте поскорее.

Срок возвращения в Москву сообщу Вам, в Ленинграде должен быть обязательно. Если время терпит — дождитесь моего возвращения.

Я уверен, что все дела Ваши уладить легко. Не надо и говорить, с какой радостью я увижу Вас — сердце мое предано прошлому.

Будьте другом — напишите о себе и о тройке — какие они и как распределились на сей планете.

Мой адрес: Нальчик, Се[верный] Кавказ, до востребования.

Если не трудно, пришлите мне сюда экземпляр книги, а то я на моих соседей больших надежд не возлагаю. До свиданья.

Bién à vous[1] *И. Б.*

160. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨12 ноября 1933 г., Нальчик⟩

⟨...⟩ Работать еще не начинал, все кочую по этой стране чудес. Сегодня уезжаю в немецкий колхоз (один из богатейших и благоустроеннейших колхозов края), там

[1] Искренне ваш *(фр.)*.

возьмусь за ум. Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров, среди альпийских пастбищ и на виду у всего кавказского хребта, от Новороссийска до Баку — жарили целых. Несколько дней провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык ⟨...⟩

И.

161. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 23/XI—33 *23 ноября 1933 г., Нальчик*

Не знаю, что приключилось с моим Штайнером в Москве — молчит, несмотря на повторные мои телеграммы и корреспонденции, не пересылает. О Жене узнал только от Вас. Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской) — жемчужине среди советских областей — и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно. Был в горах у подножия Эльбруса (все плакал, что семейство мое не видит этих красот), кочую по казачьим степям, скоро собираюсь обосноваться на одном месте, чтобы возобновить потерянную связь с миром. Думаю, что при правильном использовании и настоящем изучении нынешняя моя поездка может дать большие результаты и даже в смысле свидания с семьей в конечном счете. Пишите.

И.

162. А. Г. СЛОНИМ

Нальчик, 28/XI—33 *28 ноября 1933 г., Нальчик*

Mio amico[1] А. Г.

Живу месяца полтора в Кабардино-Балкарской области и житьем этим наслаждаюсь. Дела и люди удивительно интересные. Сегодня уезжаю в Балкарские ущелья, потом брошу якорь в колхозе и там сяду за письменный (или какой-нибудь вообще) стол. Адрес мой впредь до изменения: Нальчик (Северный Кавказ). До востребования. Как протекли Ваша и Л. И. поездки? Каково объединенное ваше

---

[1] Мой друг *(ит.)*.

здоровье? Теперь признаюсь, что многое за последние годы просмотрел и за многим не уследил — надо наверстывать. Попросите Илюшу написать мне. Очень хочется знать, как он работает. В Москве морозы, здесь их нет, и я дышу порядочно. В ближайшие дни предстоит сделать несколько сот километров на лошади по местам головокружительной красоты...

Ваш *И. Б.*

163. Л. Н. ЛИВШИЦ

Нальчик, 1/XII—33 *1 декабря 1933 г., Нальчик*

Жду ответа на телеграмму. Грустно, если Изя не воспользуется возможностью провести месяц в Кисловодске в хорошем доме отдыха и дешево.

По-моему, лечиться и отдыхать в Кисловодске зимой лучше, чем летом. Мы сможем видеться — обосновался я сравнительно недалеко; был в Нальчике, теперь переезжаю в колхоз — верстах в 50 отсюда.

Телеграфировать я выбрался поздно, но это не от подлости моей, а оттого, что столько дел и неожиданных впечатлений обрушилось на меня — только теперь я опоминаюсь... Кроме того, все кочевал — не знал, где брошу якорь. Работать было невозможно. Передо мной открылась страна чудес (Кабардино-Балкарская область). Попытаюсь в колхозе приковать себя к письменному столу.

Адрес мой: Нальчик (Северный Кавказ), до востребования. Письма будут мне доставлять. Хотелось бы (да и необходимо совершенно) пробыть здесь подольше, боюсь, что Штайнер вызовет меня в Москву. Как вы живете? Кланяюсь Вере и Танюше. Все думаю о вас, о друзьях, о родных, сентиментален стал.

И. Б.

164. О. Г. И А. Я. САВИЧ

Нальчик, 3/XII—33 *3 декабря 1933 г., Нальчик*

Все скитаюсь, незабываемые и любезные сердцу парижане. Обскакал Черноморское побережье, кочевал месяца полтора по ущельям Балкарии и долинам Кабарды (Кабардино-Балкарская область, достойная, по моему мнению, не только внимания соотечественников, но и прочих), теперь

утверждаюсь в колхозе, после чего перееду в украинский колхоз, интеллигентной жизни вести не собираюсь. Единственно, что постарел; бродяжить хочется, но уже со всей фамилией. Кстати о фамилии — видите ли вы их, пьете ли совместно Cafe crême[1]?

Ночуя где-нибудь в ауле, вспоминаю Париж, и жизнь кажется неправдоподобной. Не забывайте меня, подайте голос.

Эренбургу и Путеру пишу особо.

Любящий вас *И. Б.*

165. Ф. А. БАБЕЛЬ

Нальчик, 4/XII—33 *4 декабря 1933 г., Нальчик*

Бесценная мамашенька. Получил письмо твое от 25.XI со вложением личности (очень удачно получившейся). Что же касается среднего возраста — то унывать нечего, у нас ты была бы в моде. Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем наблюдают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «инспектор по качеству» и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий невиданный новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превратил маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину.

Разреши тебе также сообщить, что даже в Нальчике (климатической станции, где дышишь как рыба в воде) 20°мороза, но воздух такой прозрачности, а в доме я так закован печами и всяческим благоустройством, на улице передвигаюсь на линкольне — так что мороза и не чувствуешь. С нетерпением жду дня, когда можно будет перебраться в колхоз верстах в 40 от Нальчика, где ждут меня теплая изба, снега и очень интересное окружение. Адрес остается пока прежний.

От Жени писем давно нет, но стороной знаю, что у нее благополучно. Из-за моих странствий был перерыв в кор-

[1] Кофе со сливками *(фр.)*.

респонденции, но теперь, как видишь, я осел, наладился и пишу аккуратно. Относительно свидания нашего я не разделяю твоего пессимизма. Теперь все соображения отпадают, кроме моей работы, от нее все зависит. Теперь ничем не дам сбить себя с пути, буду жить там, где мне это полезно для работы, и трудиться без остановки,— это может обеспечить и свидание наше, и средства для вас. За письменный стол я уже сел и мысли кое-как двигаются, по-моему, лучше, чем за последние годы.

Как я скучаю по фамилии — рассказывать тебе не надо. Трудно иногда приходится, ищешь утешения в труде, в непреклонном желании это рассеяние прекратить раз и навсегда. Меня ждут, на этом кончаю. Je vous embrasse, mes enfants[1].

И.

166. И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 7/XII—33 *7 декабря 1933 г., Нальчик*

Mon vieux[2].

Удивлен отсутствием ответа на мою телеграмму — не случилось ли у тебя чего?

Получил от Партиздата предложение написать брошюру срочно об МТС или колхозах. Я этим занимаюсь сейчас и сижу здесь для этого. Постараюсь сделать, но срок мне нужен — не несколько дней, как телеграфирует Шеломович, а несколько месяцев. Только что в этом смысле отправил ему спешное письмо (адреса не знаю, написал просто Партиздат).

Завтра переезжаю на более или менее продолжительное жительство в колхоз в километрах 50-ти отсюда, адрес остается прежний. Из деревни напишу. Привет фамилии.

И. Б.

167. И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 9/XII—33 *9 декабря 1933 г., Нальчик*

Mon vieux.

На телеграмму ты не отвечаешь. Христос с тобой, хотя, конечно, хамство.

---

[1] Я вас обнимаю, мои дети *(фр.)*.
[2] Старина *(фр.)*.

Есть дело: получил сегодня из обкома материалы по Кабардино-Балкарской области, материал выдающегося интереса. Общеизвестно, что здесь даны непревзойденные образцы колхозного строительства. Можно бы к лету приготовить ряд очерков полубеллетристического, полустатейного характера. Я бы взялся — если бы Партиздат выдал на пропитание тысячи полторы-две (очень нужно).

Если считаешь уместным, достойным и небезнадежным — предложи. Ответ телеграфируй срочно в Нальчик, обком ВКП, Родионову, мне.

В ответ на телеграмму Шеломовича я писал ему, что собираюсь работать над такими очерками,— не знаю, дошло ли письмо, улицы не мог указать.

Завтра переезжаю в колхоз, километрах в 50-ти отсюда, адрес остается прежний — Нальчик.

Работаю много. Похоже, что ко мне вернулась «форма», какой не было несколько лет. Может, что и выйдет.

Привет Люсе, Вере и Танюше.

И. Б.

168. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская,
13/XII—33 *13 декабря 1933 г., станица Пришибская*

Живу в коренной чистокровной казачьей станице. Переход на колхозы происходил здесь с трениями, была нужда — но теперь все развивается с необыкновенным блеском. Через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все, что эти станицы видели в прошлом, а жили они безбедно. Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются, действительно, безбрежные перспективы, земля преображается. Сколько здесь пробуду — не знаю. Быть свидетелем новых отношений и хозяйственных форм — интересно и необходимо. Адрес мой прежний: Нальчик. Оттуда будут пересылать. Могу доложить, что закончил пьесу. В ближайшие дни перепишу ее и пошлю в Москву. Самое замечательное в этом казусе, что я начал уже и другую — и похоже, на какой-то чистый ключ набрел, научился на прежних работах. Здесь зима необыкновенной мягкости и красоты. Много снега. Чувствую себя хорошо. За обедом едим жареных фазанов и пьем молодое вино, доставляемое из немецких колхозов.

И.

169. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская,
19/XII—33 *19 декабря 1933 г., станица Пришибская*

Из Нальчика переехал в еще более глухое место, письма идут сюда на «почтовых» и получаются с громадным опозданием. Стараюсь писать часто. Спасибо за то, что препроводили Женино письмо. В смысле материальном единственное, чем я могу ей помочь,— «продукцией». Усиленно работал над пьесой и закончил ее с главным расчетом на Женю. Постараюсь отослать поскорее, надеюсь, что она ей пригодится. Трудно в таких делах загадывать о будущих доходах, но материалу надо посылать как можно больше. Перемена впечатлений после переезда, жизнь, маленько ушедшая от меня вперед,— все это заставило проделать большую душевную и умственную работу в последние месяцы; сразу наладиться с писанием было невозможно, теперь работаю с большим воодушевлением и думаю, что после пьесы смогу уже в январе послать Жене очередные материалы. Все это лежит у меня на сердце, буду тянуться изо всех сил.

Живу здесь (увы, по сравнению с моими «кройвим») очень хорошо — тепло, тихо, интересно. Зима необычно мягкая, снежная, солнечная; хозяйка — глупая и судорожно услужливая хохлушка. Жарит мне гусей, пышки и варит украинский борщ. Полдня работаю, полдня провожу с казаками в колхозных дворах или уезжаю в соседние кабардинские селения. В ближайшие дни собираюсь в Нальчик (адрес, помните, прежний).

Насчет паспорта я напишу нашему послу, и все будет сделано мгновенно. Надо постараться, чтобы мама поскорее уехала в гости к внучке. Обдумаем, как это сделать.

Сейчас отправляюсь на птицекомбинат, необыкновенно интересное учреждение, в одной версте от станицы. Это самая большая (так уж у нас повелось) птицефабрика в мире с инкубатором на 160 тысяч яиц, с десятками тысяч наседок — леггорнов и род-айландов. Завтра открывается грандиозный батарейный цех, рассчитанный на прокормление миллионов цыплят в год.

И.

170. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская,
23/XII—33 *23 декабря 1933 г., станица Пришибская*

Открытка сия, может быть, получится к Новому году, потому примите поздравление от родственника, который помнит о вас неустанно, куда бы ни забросил мятежный дух и во все минуты бытия его. Живу тепло, тихо, в окружении людей, достойных внимания, и очень, как никогда, воодушевлен всякими мыслями. Рукопись переписываю и дня через два пошлю в Москву, вот начнется суета литературной братии...

Пока этого нет — хорошо, только вот дочка не идет из головы.

И.



171. А. Н. АФИНОГЕНОВУ

Нальчик, 29/XII—33 г. *29 декабря 1933 г., Нальчик*

Дорогой т. Афиногенов.

Телеграммы Ваши получил с громадным опозданием — меня не было в Нальчике.

Предложение, конечно, принимаю. Надеюсь, телеграмму мою Вы получили; не знаю Вашего адреса, направил в Оргкомитет. Прошу выдать некоторую толику аванса доверенной моей А. Н. Пирожковой, если возможно, хорошо бы... Насчет гонорара сговоримся, когда приеду — надо думать, в январе. Срок напечатания, в зависимости от театральных дел, тоже, я думаю выяснится в январе.

Сегодня уезжаю на несколько дней в Горловку, в Донбассе, потом рассчитываю вернуться сюда. Сообщаю на всякий случай адрес — секретарю райкома Фуреру для меня.

Ваш *И. Бабель*

172. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 29/XII—33 *29 декабря 1933 г., Нальчик*

26-го вечером приехал из Пришибской — два дня провел превосходных с товарищами на охоте (необыкновенно удачной), убили 15 диких кабанов. Сегодня уезжаю по делам в Горловку, в Донбасс — предполагаю оттуда вернуться в Пришибскую, может быть, придется заехать в Харьков. В ближайшие десять дней думаю выяснить срок возвращения в Москву. Получил от Жени письмо; она пишет, что Наташа все возится с желудком. Получил последнее мамино письмо. Из Горловки напишу. Адрес укажу телеграфно. Прошу вас, живите хорошо в будущем году.

И.

173. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨20 января 1934 г., Горловка⟩

Сижу на чемодане, поэтому краток. Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции ⟨...⟩.

И.

174. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 18/II—34 *18 февраля 1934 г., Москва*

Похоронили сегодня Багрицкого, старинного моего земляка, друга, замечательного поэта, за развитием которого я следил и помогал, чем мог. Организм его был ослаблен и не выдержал воспаления легких.

Получил от Жени телеграмму, что у них все благополучно. Завтра едет к ним один француз, передаю привет.

Драматургический мой зуд продолжается — подыскиваю какое-нибудь новое Молоденово, чтобы можно было работать, а то в Москве если не одно дело выскакивает, то другое. Написанная уже пьеса будет поставлена одновременно в двух театрах — у Вахтангова и в Еврейском,

под режиссерством Михоэлса. Что касается гонорара, то постараюсь, чтобы Женя еще в марте получила его.

Я здесь поневоле веду «светский» образ жизни — потоком идут люди, и так как много из них интересных, и жизнь в Москве вообще чрезвычайно интересна, то времени для себя остается мало, вот и собираюсь в келью.

Очень устал за эти три дня бдения — пережил я с Багрицким весь церемониал, хочу отдохнуть.

До завтра, милые мои.

И.

175. Т. О. СТАХ

М., 26/III—34 *26 марта 1934 г., Москва*

Милая Т. О. Где же Бэбино письмо, о котором Вы сообщили. Приглашение остается в силе, надеюсь, что летом мы приведем сей прожект в исполнение, я-то буду рад. Суета по-прежнему одолевает меня, но меньше, большую часть времени провожу за городом и собираюсь совсем туда переселиться. Работаю над сценарием по поэме Багрицкого — студия Украинфильма. Повезу его в Киев и по дороге остановлюсь в Харькове. Поговорим тогда.

Получил письмо от Жени. Парижский мой отпрыск требует отца и порядка, как у всех прочих послушных девочек... Я в тоске от этого письма.

Привет Стаху и Бэбе.

Ваш *И. Б.*

176. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨13 мая 1934 г., Москва⟩

⟨...⟩ Главные прогулки по-прежнему — на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова, чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик едва двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много веселых вечеров за бутылкой Кианти ⟨...⟩.

И.

177. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨18 июня 1934 г., Успенское⟩

⟨...⟩ Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь.

По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий ⟨...⟩

И.

178. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 14/XI—34 *14 ноября 1934 г., Москва*

Уважаемые дальние родственники,

пишу я редко не от неблагополучия какого-нибудь (потому беспокоиться вам нечего), а от сложности жизни. Сложность сия проистекает от трех причин: первая — литература, вторая — денег надо добывать больше, чем следует, и затем мягкость характера, отягчают просьбами и хлопотами.

Работаю я больше, чем когда-либо, но, как видите, внешнего толка пока нет. Жизнь не хочет помедлить у письменного стола и пяти минут, выразить в художественном образе философию этого бурного движения задача благодарная, но такой трудности, с какой я в жизни моей еще не встречался. На компромисс — внутренний или внешний — идти я не умею, вот и приходится терпеть, углубляться и ждать. Много времени и сил отнимают всякие безымянные работы для денег, добываю я их столько, что хватило бы выстроить дом и дачу и купить автомобиль и кататься по всем Крымам и Кавказам, но все уходит на ликвидацию старых парижских долгов и на посылки Енте, причем для нее это капля в море, малоощутительная, а у нас это состояние; так что и морального удовлетворения, сознания того, что я действительно ей помогаю, нет у меня. Все это надо в корне переменить, и если бы получить передышку, отвлечься от заказных работ, обратиться к рассказам (для переводов) — это было бы посущественней, но передышки этой никак выкроить не могу. Из всего этого следует, что у меня нет ни минуты свободного времени. Писанье — это сейчас не сидение за столом, а езда, участие

в живой жизни, подвижность, изучение материалов, связь с каким-нибудь предприятием или учреждением, и иногда с отчаяния констатируешь, что не поспеваешь всюду, куда надо.

Я уже писал вам, что материальные условия улучшаются здесь у нас с поразительной быстротой, воспитать Наташу можно здесь неизмеримо лучше, чем во Франции, сидение там теряет всякий смысл. Наступает зима, и я не могу настаивать на немедленном переезде, но с января — февраля поведу настоящую кампанию. Здесь камень преткновения Б. Д., но я все это дело собираюсь изложить Лёве в выражениях категорических. Я считаю, что и маме пора повидаться с родиной, ее жизнь здесь можно оборудовать легчайшим образом, срок ее приезда предоставляю вашему решению, но я бы хотел повидаться с ней как можно скорее.

Хлопоты за Иосифа благополучно закончились — через день-два он будет в Москве. Квартиру им тоже вернули — все это мне не легко далось.

Жильцы мои, возбудившие столько толков, постепенно рассеиваются, и к первому декабря никого не останется. Как только это осуществится, поеду в Киев; поездка необходимая и давно откладываемая. Вообще я мечтаю о том, чтобы создать базу где-нибудь под Одессой. Темп жизни в Москве настолько лихорадочен, что с моими навыками и потребностью в длительном размышлении трудно приходится. Москва сейчас один из самых шумных городов Европы, а по размаху строительства, по революции, совершаемой каждодневно с ее улицами и площадями, за ней, конечно, никакому Нью-Йорку не угнаться. Вообще с каждым днем яснее у нас проступает образ невиданного по мощи государства, и осуществимость лозунга «догнать и перегнать» теперь ни у кого не возбуждает сомнений. Я себе устраиваю два дня каникул — и пошлю вам книг и газет, они становятся у нас все интереснее. Таперича — так как вы свободнее меня, то не ведите учета, дебета и кредита нашей корреспонденции, а пишите мне как можно чаще, тоска моя по всех вас очень велика. О Наташе я не говорю, но бунт против того, что я принужден жить без нее, скоро разразится, это я чувствую.

До свиданья, милые мои. Напишите мне о мамином приезде.

Ваш железобетонный сын и брат

И.

179. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨26 ноября 1934 г., Москва⟩

⟨...⟩ В стране нашей происходят чудеса, невиданно быстрый подъем благосостояния, такого напора энергии и бодрости поистине мир еще не видел, все, в ком есть «живая душа», стремится сюда; об этом надо очень подумать... Без преувеличения можно сказать, что нет города, где было бы интереснее жить, чем в Москве.

Я человек замученный делами, наукой, работой, волной людей, заливающей меня, поэтому не ведите бухгалтерский учет моих писем и сами пишите почаще. Целую всех, дорогие мои ⟨...⟩.

И.

180. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨23 декабря 1934 г., Москва⟩

⟨...⟩ Чувствую себя хорошо. Жизнь у нас необыкновенно интересна, но профессия, мною выбранная, вкусы мои, правила — всё или ничего — никогда не давали повода предполагать, что личная моя жизнь будет легка, будет шествием по розам и что каждый мой шаг должен вызывать ликование моих родных и знакомых. При рождении своем я не давал обязательства легкой жизни. Не будучи хвастуном, я имею право сказать, что так называемые трудности сносятся мною с легкостью и мужеством, не часто встречающимися, и если я молчу об них, то это не доблесть моя и не дурной характер, а естественное и законное отвращение к такому неинтересному и незначительному сюжету. Вы создаете себе в отношении меня страхи там, где их нет и в помине. Единственная моя болезнь — это разлука с мамой, со всеми вами. Вместо того, чтобы ныть, помогите мне, приезжайте жить вместе со мной ⟨...⟩.

И.

181. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨3 февраля 1935 г., Москва⟩

⟨...⟩ В Москве Съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Северного Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На

них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять часов утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо 〈...〉

И.

182. Ф. А. БАБЕЛЬ

〈24 февраля 1935 г., Москва〉

〈...〉 Новость: решились напечатать «Марию» — она появится в мартовском или апрельском номере журнала. Это хорошее предзнаменование для постановки.

Комедия моя медленно, но движется вперед — если бы мне ее закончить к Маю — вот дело было бы... Со мной странное превращение — прозой не хочется писать, только в драматической форме 〈...〉

И.

183. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

〈27 июня 1935 г., Париж〉

Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumière[1] и, м[ожет] б[ыть], опубликовать их 〈...〉

И.

184. Т. Н. ТЭСС

〈1 июля 1935 г., Париж〉

〈...〉 Хочу сделать баланс моим знаниям и мыслям об этом городе. Он так же прекрасен, как и раньше. Путешествие мое с Пастернаком достойно комической поэмы. Конгресс оказался действительно более серьезным, чем я предполагал. Чаще других вижусь с Тихоновым, Толстым, Коль-

---

[1] Городе-светоче *(фр.)*.

цовым. Вчера открывали в Villejuif[1] проспект имени Горького — необыкновенно трогательно. В Москву приеду в конце июля 〈...〉.

И. Б.

185. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 19/VII—35 *19 июля 1935 г., Париж*

Дорогая А. Г. Еду в Бельгию, поживу несколько дней с матерью, потом Варшава; очень хочется сделать там остановку. С сестрой Вашей обязательно увижусь. Адрес мой: Poselstwo Sowieckie, Poznanske 15, Warszawa. В Брюсселе сейчас всемирная выставка. Пребыванием своим в Париже я очень доволен — один день 14 июля чего стоит. Вас еще рассчитываю застать в Москве. Изо всех сил кланяюсь Вашим мужчинам. A bientôt[2].

И. Б.

186. Л. Г. БАГРИЦКОЙ

Одесса, 21/IX—35 *21 сентября 1935 г., Одесса*

Милая Лидия Густавовна.

Снова хожу с глубоким волнением по одесским улицам и греюсь у моря. Лето стоит во всем блеске. По два раза в день ем скумбрию во всех видах. Первые дни прожил в Лондонской, много часов провели с Олешей на лавочке, на бульваре... Не соберетесь ли Вы на родину? Она бедновата, но прекрасна по-прежнему.

От всего сердца кланяйтесь Севе, Ольге Густавовне и Нарбутам. Мой адрес — Главный почтамт, до востребования.

Ваш *И. Бабель*

187. А. Г. СЛОНИМ

Одесса, 9/X—35 *9 октября 1935 г., Одесса*

Милая А. Г. Я совершил путешествие по колхозам Киевской области, третью неделю живу в Одессе — и жил бы превосходно, если бы не тревожные сведения о здоровье

---

[1] Вильжюиф *(фр.)*.

[2] До скорой встречи *(фр.)*.

матери и если бы не головная боль от гайморита. Дни стоят сияющие. Бывший бог наказывает меня за то, что я оставил удивительный этот город. Тут обильная пища уму и сердцу — солнце, каждый день десять часов солнца...

Работаю лучше, чем в Москве.

Адрес мой — Главный почтамт, до востребования. Низко кланяюсь Вам и мужчинам.

И. Б.

188. С. И. ВАШЕНЦОВУ

Сталино, 5/XII—35 г. *5 декабря 1935 г., Сталино*

Дорогой Сергей Иванович.

Мои отметки указывают на фразы неуклюжие, тяжеловесные, темные по смыслу, неблагозвучные... Таких много.

Тщательная редакция, по-моему, необходима. Надо отдать справедливость переводчику — смысл передан им точно, к тому же текст дьявольски, необыкновенно труден. Стиль Жида в этой книге — с занозами, крючками, остановками, прерывистыми душевными вздохами, но хотелось бы русскому тексту придать более прозрачности и легкости.

Вчера окончился слет литкружков Донбасса. Он представлял высокий интерес. Завтра начну странствия свои по шахтам и затем — по колхозам Киевщины. Работаю, сколько могу.

Привет Мунблиту.

Ваш *И. Бабель*

189. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨2 июня 1936 г., Москва⟩

⟨...⟩ В течение июня я стану домо- и землевладельцем. В тридцати километрах от Москвы, в густом сосновом лесу выстроен комфортабельнейший дачный поселок — для меня там строится двухэтажный дом — со всеми удобствами, к нему примыкает полгектара лесу. Это было бы совершенно идеально, если бы поселок не был писательский; но все мы решили жить особняком и друг к другу в гости не ходить ⟨...⟩.

И.

190. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨17 июня 1936 г., Москва⟩

⟨...⟩ Начал с шутки — кончать приходится серьезно. Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает André Gide[1]. Поеду его встречать ⟨...⟩.

И.

191. Ф. А. БАБЕЛЬ

Москва, 19/VI—36 *19 июня 1936 г., Москва*

Дорогая мамахен. Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь — чтить его память — это значит жить и работать — и то и другое делать хорошо.

Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба. День жаркий, летний. Немножко отойду, напишу еще.

И.

192. И. Л. ЛИВШИЦУ

Одесса, 8/VIII—36 *8 августа 1936 г., Одесса*

Одесса бедная наша не отремонтирована, обшарпана и прекрасна по-прежнему. Погода превосходная и даже не жарко.

Начал лечиться. Живу у моря, вблизи Лермонтовского курорта для удобства. К твоему приезду будет настоящий дом.

Пиши мне для практики, а то ты так ленив писать, что можешь забыть русскую грамоту.

Опекай Э. Г., а то она пропадет. Давай ей денег — и терроризируй ее для того, чтобы она работала.

Адрес мой постоянный: Главный почтамт, до востребования. Пиши обо всем — как в журнале, на бегах, дома. Я буду писать.

И.

---

[1] Андре Жид *(фр.)*.

193. Л. М. ВАРКОВИЦКОЙ

Одесса, 29/8—36 *29 августа 1936 г., Одесса*

Милая Лиля. С начала августа — я на нашей родине. Пожилось мне здесь, увы, плохо — все время хворал (все то же — бронхи). Погода тоже не одесская — ветер, холод. Но все переменится, надо думать.

Планы у меня большие — хочу просидеть здесь подольше и работать. Адрес мой — Главный почтамт, до востребования.

Как Ваши дела — во всех направлениях? Привет Люсе (ей напишу отдельно) и уважаемым старым Вашим детям.

Напишите мне, пожалуйста.

Ваш *И. Бабель*

194. А. Г. СЛОНИМ

Одесса, 6/IX—36 *6 сентября 1936 г., Одесса*

Дорогая А. Г. Очень обрадовался Вашей открытке. Я не писал, потому что не знал — куда. В Одессе я уже месяц. Доктора нашли у меня обострение астмы и крайнее переутомление. Я чувствовал себя очень плохо, только теперь начинаю отходить — и в голове даже мысли зашевелились, не совсем похожие на тот стандарт, который был в Москве. Уезжать отсюда не собираюсь. Хочу привести себя в порядок — физически и в рассуждении работы. Погода у нас была переменная, но теперь налаживается. Так, наверное, будет и у вас. Как поживают мужчины? Страшно рад, что всем в Коктебеле нравится. Не забывайте меня и пишите почаще. Обязательно поправьтесь. Bien a vouns[1].

И. Б.

195. И. Л. ЛИВШИЦУ

Одесса, 24/IX—36 *24 сентября 1936 г., Одесса*

Послезавтра уезжаю в Ялту к Эйзенштейну. Сколько там пробуду, не знаю, во всяком случае не долго. Адрес: Ялта, кинофабрика. В Одессу вернусь в первой половине октября.

---

[1] Искренне ваш *(фр.)*.

Напиши мне в Ялту — каковы планы, когда отпуск? Подшефная пишет, что работы не дают, терпит бедствие; склони взоры.

Поздравь Николая Романовича с удачными ездками, ему напишу особо. Привет Евгению Павловичу. Попроси его впредь до отмены присылать программы в Ялту, а программы с 20-го, им уже, наверное, отосланные — нельзя ли копии прислать в Ялту? Для меня это большое развлечение. Как поживают Крючковы? Напиши обо всем подробно, у тебя корреспонденция небольшая. Кланяюсь Люсе и Тане.

И. Б.

196. С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНУ

Одесса, 26/X—36 *26 октября 1936 г., Одесса*

Кстати, comment ca va?[1] Море было спокойно, как женщина после смерти. Погода, пища и провинциальность способствуют литературным занятиям. Salut. Матерьялец скоро пришлю. Осыпаны ли Вы уже пеплом московских землетрясений?..

Антонина Николаевна берет уроки еврейского языка.

Привет Пере.

И. Б.

197. С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНУ

Одесса, 14/XI—36 *14 ноября 1936 г., Одесса*

Превосходнейший и гениальнейший синьор.

Конечно, по приезде в Одессу я маленько увлекся. Ваша телеграмма и письмо Е. К. привели меня в чувство. Е. К. с миллионом оговорок разрушает первую редакцию ненаписанных сцен (в свете чего я выгляжу законченным болваном — un bolvane accompli[2]) и дает очень дельные указания, моему духовному кругозору весьма улыбающиеся. С «прихода отца» она предлагает снять политическую подоплеку.

По-моему, это разрешает наши страдания, очень хорошо

---

[1] Как дела? *(фр.)*

[2] Полный болван *(фр.)*.

«работает» на убийство, делает отца и человечнее и «одержимее»...

Можно представить себе: милиционеры и поджигатели видят борьбу колхозников с огнем. Милиционер говорит что-нибудь вроде: «дружно взялись»... Отец угрюмо спрашивает (сознание поражения — частного и общего — уже вошло в него и все усиливает разрушительную свою работу): «А Степка где?» Милиционер: «Какой такой Степка?» Отец: «Сын мой»... Милиционер: «Тушит небось... (с ними небось)». На что отец отвечает: «Сын при отце должон быть» (чувствуется, что это мучительная, натруженная фраза — и к ней недурно поставленный Гуком в Ялте аккомпанемент — т. е.— пожар, всякие обвалы и проч.) *.

Излагать младенческий мой лепет, не следя за игрой Вашего лица (для того, чтобы умолкнуть на полуслове!),— вещь в высшей степени затруднительная, но soit[1]!

Психологически получается, несомненно, правильно, но поскольку вся сцена нужна только для ритма (по содержанию можно обойтись без) — вот я и сомневаюсь...

Теперь вздор моего сочинения номер два: если сцена смерти Степка должна быть душещипательная (с чем я согласен), то всякую смысловую нагрузку с мальчика надо снять, передав ее другим актерам, а при мальчике оставить Эйзенштейна, который «обеспечит» всякие ракурсы, pietà'ы[2] и проч. Выход пошлый, тысячелетний, но другого при сцене в лоб пока что не видать. Я по-прежнему за то, чтобы мальчика после «дядя Вася»... показывать только один раз — в сцене смерти. Мальчики, услышав выстрелы, всполошились, побежали, видят: вышка пуста, лужа крови, след крови — они идут по этому следу, но как находят и слово «отец» — по глубокому моему убеждению — лишнее. Допустимо ли так?

Самохин в капкане, и за этим раздается веселый ровный голос Рыбочкина — о чем-то совершенно боковом (и хорошо бы смешном). «А Сидорыч как схватится за балку, как обожгётся — смехота...» После чего (голос Рыбочкина) «открывается занавес» и мы видим его, совершающего перевязку, с лицом, допустим, залитым слезами, видим всю pietà, и Рыбочкин продолжает: «Здесь тебя подлечим, потом в Москву отвезем, в больницу... Больница богатая, все блестит...» Степок: «Военная больница?» Рыб[очкин]: «Обязательно военная... В палате там погра-

---

[1] Пусть так! *(фр.)*.

[2] Скорбь *(фр.)*

ничники лежат раненые, командир подводной лодки... И вот тебя вносят. (Появление начполита с лошадью в поводу (?) Пограничники и спрашивают: «Это что за мальчик? — небось яблоки воровал, с забора свалился?» А доктора им отвечают...» Степок: «Военные доктора?» Рыб[очкин]: «Обязательно военные... Им отвечают: «Нет, ребята, это парень геройский, он вроде вас воевал...»

Начполит: «Как дела, сынок?» (выражение Е. К., по-моему, хорошо). Степок (с радостным и ясным выражением): «Дела хороши...» Начполит: «Болит небось?».. Степок машет к себе начполита и шепчет таинственно, расширив глаза: «Дядя Вася, я тоже не буду стонать». Потом обращается к Рыбочкину: «И что они еще сказали — доктора?» Рыбочкин отвечает — слов не нужно (их, надо думать, и так чрезмерно много?) — музыка, что ли?

Под эту музыку мальчик умирает.

Рыбочкин (глядя на мертвое лицо): «Конец, Василий Иванович». Начполит: «Начало, Сережа» (имя Рыбочкина?). После чего рассвет...

Вот первые мысли, пришедшие мне в голову в Одессе. Их лучше бы Вам не сообщать п[отому], ч[то] первые мои мысли, как известно, не выдерживают самой снисходительной критики. Страшит меня главным образом, не выпадаю ли я из стиля, из разгона вещи... Сообщите Ваши замечания...

Теперь о делах житейских... Впрочем, еще по сценарию. Если новый смысл прохода отца принимается — надо везде вычеркнуть — «с восторгом смотрит на пламя и прочее»... Вместо — «поменьше семи годов горело» — «не вышло твое дело»...

Текст детей относительно пуговиц грязноват. Перепишу еще раз... «Спать это ни от кого... От тебя что за, это... На вон тройку?.. И ножик?.. Гляди — с орлами?.. И ножик еще? в придачу? Не хочу с такой жилой водиться»... Дальше как будто правильно, хотя — «жила» во второй раз мне не нравится, может, что-нибудь придумаю... «Это я все видел» — по-моему, неправильно. «Папаше, это я сказал» — неизмеримо сильнее и правильнее и драматичнее, умоляю не менять... Насчет текста Сидороча — Е. К. права, старый был хлеще... Свести воедино стоит... Fin[1].

Дела житейские: Е. К. и Даревский требуют меня в Москву. Я отбиваюсь. Ехать мне беда — только начал входить в литературу. По личным же делам приезд мой в де-

---

[1] Конец *(фр.)*.

кабре все равно предполагался. Жду от фабрики ответа. Им нужна консультация по поводу новой Гришиной поэмы. Во-о-ображаю. Немировский, к величайшему моему изумлению, не забыл сообщить фабрике о том, что я взял у него тысячу рублей, фабрика не забыла перевести мне втрое уменьшенный рацион, и я в настоящий отрезок времени сижу без всякой одежи, голым телом на старых бобах, прошлогоднего урожая, высохших и пожухлых... Они очень колятся...

Я Вас прошу (именно в смысле — умоляю) довести об этом до сведения Даревского...

Письмо Е. К. в отношении фильма дышит бодростью, и я ликую... и мечтаю... и истинно Вам желаю!..

Вы правы — в Ялте мы жили недурно и несомненно философично... А. Н. собирается в Москву и кланяется Вам фанатически... Скоро увидимся. Подтвердите мне получение сего послания — немедленно п[отому], ч[то] ни копии, ни набросков нету.

Привет героической Пере — раньше она была одна героическая, а теперь еще есть Испания.

Je vons embrasse, non vieux[1].

И. Б.

Поклон милому нашему Тиссэ 〈...〉

198. Т. Н. ТЭСС

Одесса, 17/XI—36 *17 ноября 1936 г., Одесса*

Умное Ваше письмо получил. То, что Вы пишете о моих «сочинениях», важно и удивительно верно, можно сказать — потрясающе верно. К чести моей — у меня уже несколько лет такое чувство. Попытаюсь доказать делом. То, что я делаю теперь, еще не есть писание начисто, но во всяком случае похоже уже на сочинительство, на профессию...

Живу, несмотря ни на что, хорошо. Только здоровье оставляет желать лучшего — не очень. Обошел и объехал весь город — лучше Мельниц нет; решил там обосноваться и предпринимаю «официальные» шаги. 〈...〉 Мне в декабре по неотложным делам надо ехать в Москву. Беда, великая беда! Вот когда надо будет показать себя «человеком»

---

[1] Я Вас обнимаю, старина *(фр.)*.

и продолжать трудиться и жить, как в Одессе. Впрочем, надеюсь, поездка не на долгий срок. 〈...〉 Может, я еще в Киев поеду или в колхоз, потом в Москву 〈...〉.

И. Б.

199. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ ВОСТОКА»

16 июня 1937 г., 〈Москва〉

С первыми номерами «Зари Востока» связана счастливая пора моей жизни в Тифлисе и начало литературной работы. Сотрудничая в газете, я ближе узнал природу и народ прекрасной, щедрой, поэтической Грузии. Образ ее живет в моей душе. Отражая волю и чаяния трудового народа, «Заря Востока», развиваясь вместе со всей страной, узнает, я верю, невиданный расцвет сил и возможностей.

И. Бабель

16.6.37.

200. НОВИКОВОЙ

〈15 августа 1937 г., Москва〉

Дорогая тов. Новикова!

Слово свое я сдержу. И проверять не придется. Для честного литератора нет проверки строже и мучительнее, чем его совесть и живущее в нем чувство прекрасного.

В нас не затихает ни на минуту жажда творчества. И, по правде говоря, я часто сознательно подавлял ее в себе, потому что не чувствовал себя достаточно подготовленным к тому, чтобы писать с истинной простотой, со страстным чувством, с ничем не ограниченной правдивостью, т. е. не чувствовал себя подготовленным к тому, чтобы писать художественно. Теперь сердце мое говорит: подготовительный этот период кончается. Пожалуйста, когда прочтете мои рассказы, скажите Ваше мнение о них.

И. Бабель

201. Н. ОГНЕВУ 〈РОЗАНОВУ М. Г.〉

28 августа 1937 г., 〈Москва〉

Дорогой Михаил Григорьевич.

Для начала — направляю к Вам приятеля моего Евгения Павловича Гончарова, первейшего в нашей стране зна-

тока по части коневодства и коннозаводства. Знания эти воодушевляют его иногда для беллетристических опытов; некоторые из них заслуживают, по-моему, всяческого внимания. Для опыта я посоветовал Е[вгению] П[авловичу] показать Вам рассказ «Сирота» — вообще, мне кажется, из рассказов его может выйти толк. Великая к Вам просьба — преклонить взор к сему мужу.

Я со своими «продуктами» рассчитываю явиться к Вам в середине сентября. Вчерне написал, теперь буду выправлять.

Всего хорошего.

Ваш *И. Бабель*

28.8.37.

202. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 10/II—37 *10 ноября 1937 г., Киев*

Дорогие и незабываемые хозяева.

До вчерашнего дня Киев был залит ярким солнцем; сегодня пасмурно, но тепло. Тружусь в заключении; меня кормят, поят, ублажают, но вздохнуть не дают. Все уже организовано — пепельница, плевательница, корзина для бумажек, чай и кофе, но сил маловато, устал и тоскую об «чистом искусстве»... Работы здесь оказалось много, но не очень трудной. Планы и сроки еще не ясны; как только определятся — сообщу.

Обязательно будьте здоровы, не ешьте крыжовенного варенья; ночью, в часы бессонницы, вспоминается иногда потерянный месяц и слезы застилают глаза. Привет Илюше и мадам Пастер.

Ваш *И. Б.*

203. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 28/XII—37 *28 декабря 1937 г., Киев*

Изя.

Поздравляю тебя и семейство с наступающим Новым годом.

Выражаю негодование тебе, и Семичёвым, и Гончарову — по поводу непонятного для меня молчания. Неужели нельзя было мне прислать несколько строк и программы, каковые представляют для меня важное лечебное средство.

Если вы все не хотите водиться со мной и переписываться — объявите мне об этом прямо, чтобы я не выглядел глупо, обращаясь к врагам.

Я занят безумно, как никогда в жизни, и это продлится до 15/I 1938 года.

Кланяюсь Люсе, Вере и Тане — а тебе не кланяюсь.

И. Б.

204. А. П. БОЛЬШЕМЕННИКОВУ

⟨29 декабря 1937 г., Киев⟩

Дорогой А. П.

5/I в моем отсутствии судисполнитель за долг Академии будет продавать мой жалкий скарб и выбрасывать на улицу книги, рукописи, белье в моем отсутствии — п[отому]ч[то] третий месяц я занят на Украинфильме экранизацией «Как закалялась сталь» — работой сверхтрудной и сверхсрочной. Уехать сейчас отсюда — значит все погубить. Просьба приостановить взыскание до возвращения моего в Москву в конце января 38 г., когда все счеты немедленно будут ликвидированы. Беда свалилась нежданно, перед отъездом я сговаривался с М. А. Лифшицем о другой работе, и он заверил меня, что никакого взыскания предпринято не будет, пока не договоримся о новой работе. Надеюсь, что Гослитиздат не обрушит на долголетнего своего сотрудника позорное и, по существу, незаслуженное им бедствие. Привет.

Ваш *И. Бабель*

205. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨16 апреля 1938 г., Москва⟩

⟨...⟩Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в т[ак] наз[ываемом] писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется, решил переехать. Поселок этот в 20 км от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)... Вот вам и наша весна. Солнце редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему ⟨...⟩

И.

206. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨29 сентября 1938 г., Москва⟩

⟨...⟩Не помню, писал ли я вам о том потрясающем впечатлении, которое произвела на меня Ясная Поляна — стоишь в аскетических комнатах Толстого — и кажется, что яростная работа мысли продолжается в них до сих пор! ⟨...⟩

И.

207. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

Переделкино, 14/10—38 *14 октября 1938 г., Переделкино*

Зозулечка.

Пишу в состоянии крайнего бешенства. Только что прискакал из города гонец с пакетом от судебного исполнителя (а я уже и думать забыл о его существовании!..),— пакет этот заключает в себе извещение о том, что если мною немедленно не будет внесено три тысячи рублей Жургазобъединению, то завтра, 15-го, в 4 часа дня имущество мое будет вывезено с квартиры. Чудовищную эту бумажку надо понять так: после того, как мною был сдан материал «Огоньку» и Литгазете, после того, как суду было послано официальное уведомление о прекращении дела — Ликвидком (или другое неизвестное мне учреждение) снова потребовал от судебного исполнителя описи и продажи моего имущества. Если раньше, упрекая в глубине души издательство в некотором отсутствии лиричности, я молчал, п[отому] ч[то] на стороне его была обыкновеннейшая правда, то нынешний образ действий является классически выраженным проявлением злостной, преднамеренной травли и неслыханного в истории советских литературных нравов издевательства.

Вы мой друг и «заложник» в «Огоньке». Поэтому я прошу Вас принять на себя (на очень короткое время) посреднические функции и передать издательству или Ликвидкому (не знаю, кто теперь этим ведает) следующее: если в течение ближайших часов я не получу извещения о прекращении иска, то я вынужден буду искать защиты от преследований в партийном, общественном и судебном порядке. Я немедленно обращусь в Отдел Печати ЦК и в Президиум Союза писателей с просьбой вмешаться в это поистине возмутительное дело.

Извините, Зозулечка, за это неприятное поручение. Я не решился бы затруднить Вас, если бы оно не представляло общественный интерес.

Меня вызывают телеграммой на совещание в Гослитиздате по поводу тематического плана, буду в Москве сегодня вечером.

Ваш *И. Б.*

208. А. Г. СЛОНИМ

30 ноября 1938 г., Переделкино

Entre nous soit dit[1] — очень плохо живется; и душевно, и физически — не с чем показаться к хорошим людям. Рассудок пока не затемнен — понимаю, что все причины в себе самом и что главная победа — над самим собой... Главная и самая трудная.

В Москве я захватан, истерзан, мелко озабочен; здесь маленько расправляюсь душой, что-то накапливаю; собираюсь немного посвежеть, приехать 5-го в Москву, поплетусь к Вам на основную свою квартиру...

И. Б.

Переделкино,
30.II.38.

209. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨20 апреля 1939 г., Ленинград⟩

⟨...⟩ Уф!.. Гора свалилась с плеч... Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий... Теперь, пожалуй, примусь за «честную жизнь»... В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду погулять после трудов праведных ⟨...⟩

210. Ф. А. БАБЕЛЬ

⟨22 апреля 1939 г., Ленинград⟩

⟨...⟩ Второй день гуляю — к тому же весна... Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассве-

---

[1] Между нами говоря *(фр.)*.

те шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу.

Сегодня ночью уезжаю ⟨...⟩

И.



211. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

⟨10 мая 1939 г., Переделкино⟩

⟨...⟩ К вашему сведению — сообщаю, что второй день идет снег... Вот вам и десятое мая... Это, пожалуй, и брюссельскому климату завидно станет... Я уже обосновался за городом и чувствую себя превосходно — надоело только печи топить. Завтра поеду на день в Москву. Думаю, не найду ли письма от Мери — как она съездила? Жаль, что мама не могла совершить с ней эту прогулку... Отправил Наташе несколько книг — внучку обеспечил, теперь надо подумать о бабушке, постараюсь достать завтра новой беллетристики... У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени. Пишите почаще, потому что длинных книг читать нет времени — и ваши послания — самое лучшее для меня чтение. Как Гриша, как Борис — часто ли вы с ним видитесь? ⟨...⟩

И.

ПРИЛОЖЕНИЕ





ДНЕВНИК 1920 г.

⟨*конармейский*⟩

Житомир. 3.6.20

Утром в поезде, приехал за гимнастеркой и сапогами. Сплю с Жуковым, Топольником, грязно, утром солнце в глаза, вагонная грязь. Длинный Жуков, прожорливый Топольник, вся редакционная коллегия — невообразимо грязные человеки.

Дрянной чай в одолженных котелках. Письма домой, пакеты в Югроста, интервью с Поллаком, операция по овладению Новоградом, дисциплина в польской армии — слабеет, польская белогвардейская литература, книжечки папиросной бумаги, спички, до(украинские) жиды, комиссары, глупо, зло, бессильно, бездарно и удивительно неубедительно. Выписка Михайлова из польских газет.

Кухня в поезде, толстые солдаты с налитыми кровью лицами, серые души, удушливый зной в кухне, каша, полдень, пот, прачки толстоногие, апатичные бабы — станки — описать солдат и баб, толстых, сытых, сонных.

Любовь на кухне.

После обеда в Житомир. Белый, не сонный, а подбитый, притихший город. Ищу следов польской культуры. Женщины хорошо одеты, белые чулки. Костел.

Купаюсь у Нуськи в Тетереве, скверная речонка, старые евреи в купальне с длинными тощими ногами, обросшими седым волосом. Молодые евреи. Бабы на Тетереве полощут белье. Семья, красивая жена, ребенок у мужа.

Базар в Житомире, старый сапожник, синька, мел, шнурки.

Здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу.

Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврей философ. Невообразимая лавка — Диккенс, мётлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за

правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова, бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблоками — 750 р. Интересная старуха, злая, толковая, неторопливая. Как они все жадны к деньгам. Описать базар, корзины с фруктами вишень, внутренность харчевни. Разговор с русской, пришедшей одолжить лоханку. Пот, чахлый чай, въедаюсь в жизнь, прощайте, мертвецы.

Зять Подольский, заморенный интеллигент, что-то о Профсоюзах, о службе у Буденного, я, конечно, русский, мать еврейка, зачем?

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворнику, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный декаданс. Сам цадик — его широкоплечая, тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн.

Лица старых евреев.

Разговоры в углу о дороговизне.

Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет.

Вместо свечи — коптилка.

Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы. Лицо цадика, никелевое пенсне;

— Откуда вы, молодой человек?

— Из Одессы.

— Как там живут?

— Там люди живы.

— А здесь ужас.

Короткий разговор.

Ухожу потрясенный.

Подольский, бледный и печальный, дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие, чужие улицы.

Кондратьев с черненькой еврейкой, бедный комендант в папахе, он не имеет успеха.

А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев).

Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синематографа, поезд сияет, грохочет, толстомордые солдаты стоят в хвост у прачек (на два дня).

Житомир. 4.6.20

Утром — пакеты в Югроста, сообщение о житомирском погроме, домой, Орешникову, Нарбуту.

Читаю Гамсуна. Собельман рассказывает мне сюжет своего романа.

Новая рукопись Иова, старик, живший в столетиях, отсюда унесли ученики, чтобы симулировать вознесение, пресыщенный иностранец, русская революция.

Шульц, вот главное, сластолюбие, коммунизм, как мы берем у хозяев яблоки, Шульц разговаривает, его лысина, яблоки за пазухой, коммунизм, фигура Достоевского, тут что-то есть, тут надо выдумать, это неистощимое любострастие, Шульц на улицах Бердичева.

Хелемская, у которой был плеврит, понос, пожелтела, грязный капот, яблочный мусс. Зачем ты здесь, Хелемская? Тебе надо выйти замуж, муж — техническая контора, инженер, аборт или первый ребенок, вот какова была твоя жизнь, твоя мать, ты брала раз в неделю ванну, твой роман Хелемская, и вот как тебе надо жить, и ты приспособишься к революции.

Открытие коммунистического клуба в редакции. Вот он пролетариат — эти из подполья невероятно чахлые еврейки и евреи. Жалкое, страшное племя, иди вперед. Описать потом концерт, женщины поют малороссийские песни.

Купание в Тетереве. Киперман, как мы ищем пищу. Что такое Киперман? Какой я дурак, замотал деньги. Он колеблется как тростина, у него большой нос, и он нервен, может быть, сумасшедший, однако обжулил, как он оттягивает уплату, заведует клубом. Описать его штаны, нос и неторопливый говор, мучения в тюрьме, страшный человек Киперман.

Ночь на бульваре. Погоня за женщинами. Четыре аллеи, четыре стадии: знакомство, беседа, возникновение желания, удовлетворение желания, внизу Тетерев, лекпом старый, который говорит, что у комиссаров все есть, и вино, но он благожелателен.

Я и украинская редакция.

Гужин, на которого сегодня пожаловалась Хелемская, ищут чего-нибудь получше. Я устал. И вдруг одиночество, течет передо мною жизнь, а что она обозначает.

Житомир. 5.6.20

Получил в поезде сапоги, гимнастерку. Еду на рассвете в Новоград. Машина Thornicroft. Все взято у Деникина. Рассвет на монастырском или школьном дворе. Спал на машине. В 11 часов в Новограде. Дальше на другом Thornicroft'е. Обходной мост. Город живее, развалины кажутся обычными. Беру мой чемодан. Штаб уехал на Корец. Одна из евреек родила, в лечебнице, конечно. Длинный и горбоносый просит службу, бегает за мной с чемоданом. Обещал завтра вернуться. Новоград — Звягель.

На грузовике снабженец в белой папахе, еврей и сутуловатый Морган. Ждем Моргана, он в аптеке, у братишки триппер. Машина идет из-под Фастова. Два толстых шофера. Летим, настоящий русский шофер, вытрясло все внутренности. Поспевает рожь, скачут ординарцы, несчастные, огромные запыленные грузовики, раздетые польские пухлые беловолосые мальчики, пленные, польские носы.

Корец, описать, евреи у большого дома, ешиве бохер в очках, о чем они говорят, старики с желтыми бородами, сутуловатые коммерсанты, хилые, одинокие. Хочу остаться, но телефонисты сворачивают провода. Конечно, штаб уехал. Рвем яблоки и вишни. С бешеной скоростью дальше. Потом шофер, красный кушак, ест хлеб пальцами, запачканными машинным маслом. Не доезжая 6 верст — магнето залито маслом. Починка под палящим солнцем, пот и шоферы. Доезжаю на телеге с сеном (забыл — инспектор артиллерии Тимошенко (?) осматривает орудия в Кореце. Наши генералы). Вечер. Ночь. Парк в Тоще. Мчится Зотов с штабом, скачут обозы, штаб уехал на Ровно, тьфу ты, пропасть. Евреи, решаю остаться у Дувид Ученик, солдаты отговаривают, евреи просят. Умываюсь, блаженство, много евреев. Братья Ученика — близнецы? Раненые зовут знакомиться. Здоровые черти, ранены в мякоть ноги, сами передвигаются. Настоящий чай, ужинаю. Дети Ученика, маленькая, но многоопытная девочка с прищуренными глазами, трепещущая девушка 6 лет, толстая жена с золотыми зубами. Сидят вокруг меня, в доме тревога. Ученик рассказывает — ограбили поляки, потом эти налетели, с гиканьем и шумом, все разнесли, вещи жены.

Девочка — вы не еврей? Ученик сидит и смотрит, как я ем, на его коленях дрожит девочка. Она напугана, погреба и стрельба и ваши. Я говорю — будет хорошо, что такое революция, говорю от избытка. С нами плохо, нас будут грабить, не ложитесь спать.

Ночь, фонарь перед окном, еврейская грамматика, болит душа, волосы у меня свежие, свежая тоска. Пот от чаю. Подмога — Цукерман с винтовкой. Радиотелеграфист. Солдаты во дворе, гонят спать, хихикают. Подслушиваю: предчувствуют, становись, скошу косой.

Лови арестованную. Звезды, ночь над местечком. Казак высокий, с серьгой, с белым донышком шапки. Арестовали сумасшедшую Стасовой — тюфяк, поманила пальцем, идем, я тебе дам, у меня бы всю ночь работала, вилась, скакала бы да не бегала. Солдаты гонят спать. Ужинают — яичница, чай, жаркое, невообразимая грубость, развалясь у стола, хозяйка, дай. Ученик перед своим домом, выставили дежурного, комедия, иди спать, я сторожу свой дом. Страшная история с арестованной сумасшедшей. Ищут — убьют.

Не сплю. Я помешал, они сказали — все пропало.

Тяжелая ночь, дурак с поросячьим телом — радиотелеграфист. Грязные ногти и деликатное обхождение. Беседа о еврейском вопросе. Раненый в черной рубашке — молокосос и хам, старые евреи бегают, женщины в разгоне. Никто не спит. Какие-то девушки на крылечке, какой-то солдат спит на диване.

Пишу дневник. Есть лампа. Парк перед окном, проезжает обоз. Никто не ложится спать. Приехала машина. Морган ищет священника, я веду его к евреям.

Горынь, евреи и старухи у крылечек. Тоща ограблена, в Тоще чисто, Тоща молчит. Чистая работа. Шепотом — все забрали и даже не плачут, специалисты. Горынь, сеть озер и притоков, вечерний свет, здесь был бой перед Ровно. Разговоры с евреями, мое родное, они думают, что я русский, и у меня душа раскрывается. Сидим на высоком берегу. Покой и тихие вздохи за спиной. Иду защищать Ученика. Я им сказал, что у меня мать еврейка, история, Белая Церковь, раввин.

Ровно. 6.6.20

Спал тревожно, несколько часов. Просыпаюсь, солнце, мухи, постель хорошая, еврейские розовые подушки, пух. Солдаты стучат костылями. Снова — дай, хозяйка. Жаре-

ное мясо, сахар из граненой стопочки, сидят развалясь, чубы свисают, одеты по-походному, красные штаны, папахи, обрубки ног висят молодцевато. У женщин кирпичные лица, бегают, все не спали. Дувид Ученик бледен, в жилетке. Мне — не уезжайте до того, как они здесь. Забирает фура. Солнце, напротив парк, фура ждет, уехали. Конец. Спас.

Вчера вечером прибыла машина. В 1 час едем из Тощи на Ровно. Горынь на солнце сияет. Гуляю утром. Оказывается, хозяйка не ночевала дома, прислуга с подругами сидела с солдатами, хотевшими ее изнасиловать, всю ночь до рассвета, кормила их беспрерывно яблоками, степенные разговоры, надоело воевать, хотим жениться, идите спать. Девочка кривоглазая разговорилась, Дувид одел жилет, талес, степенно молится, благодарит, на кухне мука, месят, зашевелились, прислуга толстоногая, босая, толстая еврейка с мягкой грудью убирает и беспрерывно рассказывает. Речи хозяйки — она за то, чтобы было хорошо. Дом оживает.

Еду на Thornicroft'е в Ровно. Две павших лошади. Сломанные мосты, автомобиль на мостках, все трещит, бесконечные обозы, скопления, ругань, описать обоз в полдень перед сломанным мостом, всадники, грузовики, двуколки со снарядами. Наш грузовик мчится бешено, хотя он весь изломан, пыль.

Не доезжая 8 верст — стал. Вишни, сплю, потею на солнце. Кузицкий, потешная фигурка, моментально гадает, раскладывает карты, фельдшер из Бородяниц, бабы платили за лечение натурой, жареными курицами и собой, все тревожится — отпустит ли его начсанчасти, показывает действительные раны, когда сходит, хромает, бросил девицу на дороге в 40 верстах от Житомира, иди, она говорила, что за ней ухаживает наштадив. Теряет хлыстик, сидит полуголый, болтает, врет без удержу, карточка брата, бывшего штаб-ротмистра, теперь начдива, женатого на польской княгине, расстрелян деникинцами.

Я медик.

В Ровно пыль, пыльное золото расплавленное течет над скучными домишками.

Проходит бригада, Зотов в окне, ровенцы, вид казаков, изумительное спокойное, уверенное войско. Еврейские девицы и юноши следят с восхищением, старые евреи смотрят равнодушно. Дать воздух Ровно, что-то раздерганное, неустойчивое, и есть быт и польские вывески.

Описать вечер.

Хасты, черноволосая и хитрая девица, приехавшая из Варшавы, ведет, фельдшер, злое словесное зловоние, ко-

кетство, вы у нас будете есть, умываюсь в проходной комнате, все неудобно, блаженство, я грязен и потен, потом горячий чай с моим сахаром.

Описать тот Хаст, сложная фурия, невыносимый голос, думают, что я не понимаю по-еврейски, ссорятся беспрерывно, животный страх, отец — не простая вещь, улыбающийся фельдшер, лечит от трипперов (?), улыбается, невидим, но, кажется, вспыльчив, мать — мы интеллигенты, у нас ничего нет, он же фельдшер, работник, пусть будут эти, но тихо, мы измучены, явление ошеломляющее — круглый сын с хитрой и идиотской улыбкой за стеклами круглых очков, вкрадчивая беседа, за мной ухаживают, масса сестер, все сволочи (?). Зубной врач, какой-то внук, с которым все разговаривают так же визгливо и истерически, как со стариками, приходят молодые евреи — ровенцы с плоскими и пожелтевшими от страха лицами и рыбьими глазами, рассказывают о польских издевательствах, показывают паспорта, был торжественный декрет о присоединении к Польше и Волыни, вспоминаю польскую культуру, Сенкевича, женщин, великодержавие, опоздали родиться, теперь классовое самосознание.

Даю стирать белье. Пью чай беспрерывно и потею зверски и всматриваюсь в Хастов внимательно, пристально. Ночь на диване. В первый раз со дня выезда разделся. Закрывают все ставни, горит электричество, духота страшная, там спит масса людей, рассказы о грабежах буденновцев, трепет и ужас, за окном фыркают лошади, по Школьной улице обозы, ночь,

. . . .

Белёв. 11.7.20

Ночевал с солдатами штабного эскадрона, на сене. Спал плохо, думаю о рукописях. Тоска, упадок энергии, знаю, что превозмогу, когда это будет? Думаю о Хастах, гниды, вспоминаю все, и эти вонючие души, и бараньи глаза, и высокие скрипучие неожиданные голоса, и улыбающийся отец. Главное — улыбка и он, вспыльчивый, и много тайн, смердящих воспоминаний о скандалах. Огромная фигура — мать, она зла, труслива, обжорлива, отвратительна, остановившийся, ожидающий взор. Гнусная и подробная ложь дочери, смеющиеся глаза сына из-под очков.

Слоняюсь по селу. Еду в Клевань, местечко взято вчера 3-й кавбригадой 6-й дивизии. Наши разъезды появились на линии шоссе Ровно — Луцк, Луцк эвакуируется.

8—12-го тяжелые бои, убит Дундич, убит Щадилов, командир 36-го полка, пало много лошадей, завтра будем знать точно.

Приказы Буденного об отобрании у нас Ровно, о неимоверной усталости частей, о том, что яростные атаки наших бригад не дают прежних результатов, беспрерывные бои с 27 мая, если не дадут передышки — армия сделается небоеспособной.

Не рано ли издавать такой приказ? Разумно, будят тыл — Клевань. Похороны 6 или 7 красноармейцев. Поехал за тачанкой. Похоронный марш, на обратном пути с кладбища — походный бравурный марш, процессии не видно. Столяр — бородатый еврей — бегает по местечку, он сколачивает гробы.

Главная улица — тоже Schossowa[1].

Моя первая реквизиция — записная книга. Со мной ходит служка Менаше. Обедаю у Мудрика, старая песня, евреи разграблены, недоумение, ждали советскую власть как избавителей, вдруг крики, нагайки, жиды. Меня обступил целый круг, я им рассказываю о ноте Вильсону, об армиях труда, еврейчики слушают, хитрые и сочувственные улыбки, еврей в белых штанах лечился в сосновом лесу, хочет домой. Евреи сидят на завалинках, девицы и старики, мертво, знойно, пыльно, крестьянин (Парфентий Мельник, тот самый, что служил на военной службе в Елисаветполе) жалуется, что лошадь распухла от молока, забрали от жеребенка, тоска, рукописи, рукописи, вот что туманит душу.

Полковник Горов выбран населением,— войт — 60 лет, дореформенная благородная крыса. Говорим об армии, о Брусилове, если Брусилов пошел, чего же нам думать. Седые усы, шамкает, бывший человек, курит самодельный табак, живет в управлении, старика жалко.

Писарь в волостном управлении, красивый хохол, идеальный порядок, переучивался по-польски, показывает мне книги, статистику в волости — 18600 человек, из них 800 человек поляков, хотели присоединить к Польше, торжественный акт о присоединении к польскому государству.

Писарь тоже дореформенный, в бархатных штанах, с хохлацкой мовой, тронутый новым временем, усики.

Клевань, его дороги, улицы, крестьяне и коммунизм далеко друг от друга.

---

[1] Шоссейная *(польск.)*.

Хмелеводство, много рассадников, четыреугольные зеленые стены, сложная культура.

У полковника — голубые глаза, у писаря — шелковистые усы.

Ночь, работа штаба в Белёве. Что такое Жолнаркевич? Поляк? Его чувства? Трогательная дружба двух братьев. Константин и Михайло. Жолнаркевич — старый служака, точный, работоспособный без надрыва, энергичный без шума, польские усы, польские тонкие ноги. Штаб — это Жолнаркевич, еще 3 писаря, заматывающихся к ночи.

Колоссальное дело, расположение бригад, нет припасов, самое главное — операционные направления, делается незаметно. Ординарцы спят на земле у штаба. Горят тонкие свечки, наштадив в шапке отирает лоб и диктует, диктует беспрерывно — оперсводки, приказания, Артдивизиону, Плетарму, держим направление на Луцк.

Ночь, сплю на сене рядом с Лепиным, латышом, бродят оторвавшиеся кони, выхватывают сено из-под головы.

Белёв. 12.7.20

Утром — начал журнал военных действий, разбираю оперсводки. Журнал — будет интересная штука.

После обеда еду верхом на лошади ординарца Соколова (больного возвратным тифом, он лежит рядом на земле в кожаной куртке, худой и породистый, с плетью в исхудавшей руке, ушел из госпиталя, не кормили, и было скучно, лежал больной в эту страшную ночь оставления Ровно, весь был залит водой, длинный, шатается, любопытно разговаривает с хозяевами, но и повелительно, точно все мужики его враги). Шпаков, чешская колония. Богатый край, много овса и пшеницы, еду через деревни — Пересопница, Милостово, Плоски, Шпаково. Есть льнянка, из нее подсолнечное масло, и много гречихи.

Богатые деревни, жаркий полдень, пыльные дороги, прозрачное небо без облака, лошадь ленивая, хлещу — бежит. Первая моя поездка верхом. В Милостове — беру подводу Шпакова — еду за тачанкой и лошадьми с предписанием от штаба дивизии.

Мягкосердечие. С восхищением вглядываюсь в нерусскую, чистую, крепкую жизнь чехов. Хороший староста, по всем направлениям скачут всадники, каждый раз новые требования, сорок подвод сена, 10 свиней, агенты Опродкома — хлеба, квитанция у старосты — овес получили — спасибо. Разведком 34-го полка.

Крепкие избы сияют на солнце, черепица, железо, камень, яблоки, каменное здание школы, полугородского типа женщины, яркие передники. Идем к мельнику Юрипову, самый богатый и интеллигентный, высокий красивый типичный чех с западноевропейскими усами. Прекрасный двор, голубятня, это умиляет меня, новые мельничные машины, былое благосостояние, белые стены, обширный двор, одноэтажный просторный светлый дом и комната—хорошая, вероятно, семья у этого чеха, отец — жилистый бедняк,— все добрые, крепкий сын с золотыми зубами, стройный и широкоплечий. Хорошая, наверное, молодая жена и дети.

Усовершенствованная, конечно, мельница.

Чех набит квитанциями. Забрали четырех лошадей и дали записки в Ровенский уездный комиссариат, забрали фаэтон, дали взамен разломанную тачанку, квитанции три на муку и овес.

Приходит бригада, красные знамена, мощное спаянное тело, уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне — ничего не брать отсюда, здесь наш район. Чех беспокойными глазами следит за мотающимся в отдалении молодым ловким комбригом, вежливо разговаривает со мной, отдает сломанную тачанку, но она рассыпается. Я не проявляю энергии. Идем во второй, в третий дом. Староста указывает, где можно взять. У старика действительно фаэтон, сын жужжит над ухом, сломано, передок плохой, думаю — есть у тебя невеста или едете по воскресеньям в церковь, жарко, лень, жалко, всадники рыщут, так выглядит сначала свобода. Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.

Обратно, вечер, во ржи поймали поляка, как на зверя охотятся, широкие поля, алое солнце, золотой туман, колышутся хлеба, в деревне гонят скот, розовые пыльные дороги, необычайной нежной формы, из краев жемчужных облаков — пламенные языки, оранжевое пламя, телеги поднимают пыль.

Работаю в штабе, (лошадь скакала здорово), иду спать рядом с Лепиным. Он латыш, морда туповатая, поросячья, очки, кажется, добр. Генштабист.

Острит тупо и неожиданно. Бабка, когда ты умрешь, и вцепился.

В штабе нет керосина. Он говорит — мы стремимся к свету, у нас нет освещения, буду играть с деревенскими девушками, протянул руку, не пускает, морда напряженная, свинячья губа вздрагивает, очки шевелятся.

Белёв. 13.7.20

Я именинник. 26 лет. Думаю о доме, о своей работе, летит моя жизнь. Нет рукописей. Тупая тоска, буду превозмогать. Веду свой журнал, будет интересная вещь.

Писаря красивые молодые, штабные русские молодые люди поют арии из опереток, развращены немного штабной работой. Описать ординарцев — наштадива и прочих — Черкашин, Тарасов,— барахольщики, лизоблюды, льстецы, обжоры, лентяи, наследие старого, знают господина.

Работа штаба в Белёве. Хорошо налаженная машина, прекрасный начальник штаба, машинная работа и живой человек. Открытие — поляк, убрали его, по требованию начдива вернули, любим всеми, хорошо живет с начдивом, что он чувствует? И не коммунист, и поляк, и служит верно, как цепная собака, разбери.

Об операциях.

Где стоят наши части.

Операция на Луцк.

Состав дивизии, комбриги.

Как протекает работа штаба — директива, потом приказ, потом оперативная сводка, потом разведсводка, тащим политотдел, ревтрибунал, конский запас.

Еду в Ясиневичи обменять экипаж на тачанку и лошадей. Пыль невероятная, жара. Едем через Пересопницу, отрада в полях, 27-й год, думаю, готова рожь, ячмень, местами очень хорош овес, мак отцветает, вишен нет, яблоки неспелые, много льнянки, гречихи, много вытоптанных полей, хмель.

Богатая, но в меру, земля.

Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, привозят из отдела снабжения, разломал стол, но достал. Дьяков, его любит команда, командир у нас геройский, был атлетом, полуграмотен, теперь «я инспектор кавалерии», генерал, Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец. Встретился с миллионером, дама под ручкой, что, господин Дьяков, не встречался ли я с вами в клубе? Был в 8-ми государствах, выйду на сцену, моргну.

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, каждый раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты.

Тачанка и пара тощих лошадей, о лошадях.

К Дьякову с требованиями, уф, заморился, раздавать белье, все в затылок, отношения отеческие, ты будешь (больному) старшим гуртовщиком. Домой. Ночь. Штабная работа.

Живем в доме матери старосты. Веселая хозяйка говорит скороговоркой, подол подоткнут, работает как муравей на своих, да еще на 7 человек. Черкашин (ординарец Лепина) наглый и надоедливый, не дает покоя, всё мы требуем, какие-то дети шляются, сено забираем, в хате, полной мух, детей, стариков, невеста, толкутся солдаты и горланят. Старуха больна. Старики приходят в гости и горестно молчат, лампочка.

Ночь, штаб, выспренний телефонист, К. Карлыч пишет донесения, ординарцы, дежурные писаря спят, на деревне ни зги, сонный писарь стучит приказ, К. Карлыч точный как часы, молчаливо приходят ординарцы.

Операция на Луцк. Ведет 2-я бригада, пока не взяли. Где наши передовые части?

Белёв. 14.7.20

С нами живет Соколов. Лежит на сене, длинный, русский, в кожаных сапогах. Румяный орловец, безобидный парень Миша. Лепин, когда никто не видит, заигрывает с наймичкой, тупое, напряженное лицо, наша хозяйка говорит скороговоркой, присказки, работает без устали, старуха свекровь — высохшая старушонка, любит ее, Черкашин, ординарец Лепина, понукает, сыпет не замолкая.

Лепин заснул в штабе, совершенно идиотское лицо, никак не может проснуться. На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба, Черкашина арестовывают, избил плетью мужика. Лепин 3 часа пишет письмо в Трибунал, Черкашин, мол, находился под влиянием возмутительно провокационных выходок красного офицера Соколова. Не советую — 7 солдат в одной хате.

Злой и тощий Соколов говорит мне — мы всё уничтожаем, ненавижу войну.

Почему все они — Жолнаркевич, Соколов здесь на войне? Все это бессознательно, инертно, недуманье. Хороша система.

Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неуже-

ли я совершил преступление, воюя с советской Россией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западноевропейским солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальности, обычаи — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан-Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевизм. Грустное и сладостное впечатление.

Свыкаюсь со штабом, у меня повозочный 39-летний Грищук, 6 лет в плену в Германии, 50 верст от дому (он из Кременецкого уезда), не пускают, молчит.

Начдив Тимошенко в штабе. Колоритная фигура. Колосс, красные полукожаные штаны, красная фуражка, строен, из взводных, был пулеметчиком, артиллерийский прапорщик в прошлом. Легендарные рассказы. Комиссар 1-й бригады испугался огня, ребята на коней; начал бить плетью всех начальников, Книгу, полковых, стреляет в комиссара, на коней, суки, гонится, 5 выстрелов, товарищи, помогите, я тебе дам, помогите, прострелил руку, глаз, осечку револьвер, а я комиссара отчитал, электризует казаков, буденновец, с ним ехать на позиции, или поляки убьют, или он убьет.

2-я бригада атакует Луцк, к вечеру отошла, противник контратакует, большие силы, хочет пробиться на Дубно. Дубно занято нами.

Сводка — взят Минск, Бобруйск, Молодечно, Проскуров, Свенцяны, Сарны, Старо-Константинов, подходят к Галиции, где будет к. маневр—на Стыри или Буге. Ковель эвакуируется, большие силы во Львове, показание Мошера. Будет удар.

Благодарность начдива за бои перед Ровно. Привести приказ.

Деревня, глухо, огонь в штабе, арестованные евреи. Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет. Эх, тускло живут россияне. Где украинская веселость? Начинается жатва. Поспевает мак, где бы взять зерно для лошадей и вареники с вишнями.

Какие дивизии левее?

Мошер босой, полдень, тупой Лепин.

Белёв. 15.7.20

Допрос перебежчиков. Показывают наши листовки. Велика их сила, листовки помогают казакам.

Любопытный у нас комиссар — Бахтуров, боевой, толстый, ругатель, всегда на позициях.

Описать должность военного корреспондента, что такое военный корреспондент?

Надо брать оперативные сводки у Лепина, это — мука. Штаб помещается в доме крещеного еврея.

Ординарцы стоят ночью у здания штаба.

Начинают косить. Я учусь распознавать растения. Завтра именины сестры.

Описание Волыни. Гнусно живут мужики, грязно, едим, лирический Матяш, бабник, даже когда со старухой говорит и то протяжнее.

Лепин ухаживает за наймичкой.

Наши части в $1^1/_2$ верстах от Луцка. Армия готовится к конному наступлению — сосредотачивает силы во Львове, подвозит к Луцку.

Взяли воззвание Пилсудского — Воины Речи Посполитой. Трогательное воззвание. Могилы наши белеют костьми пяти поколений борцов, наши идеалы, наша Польша, наш светлый дом, ваша родина смотрит на вас, трепещет, наша молодая свобода, еще одно усилие, мы помним о вас, всё для вас, солдаты Речи Посполитой.

Трогательно, грустно, нету железных большевистских доводов — нет посулов, и слова — порядок, идеалы, свободная жизнь. Наша берет!

Новоселки. 16.7.20

Получен приказ армии — захватить переправы на реке Стыри на участке Рожище — Яловичи.

Штаб переходит в Новоселки, 25 верст. Еду с начдивом, штабной эскадрон, скачут кони, леса, дубы, тропинки, красная фуражка начдива, его мощная фигура, трубачи, красота, новое войско, начдив и эскадрон — одно тело.

Квартира, молодые хозяева и богатые довольно, есть свиньи, корова, одно слово — немае.

Рассказ Жолнаркевича о хитром фельдшере. Две женщины, надо справиться. Дал одной касторки, когда ее схватило — направился к другой.

Страшный случай, солдатская любовь, двое здоровых казаков сторговались с одной — выдержишь, выдержу, один три раза, другой полез — она завертелась по комнате и за-

гадила весь пол, ее выгнали, денег не заплатили, слишком была старательная.

О буденновских начальниках — кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное — описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом — соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от Совласти.

Приказ по дивизии выполняется, сильная колонна двигается из Луцка на Дубно, эвакуация Луцка, очевидно, отменяется, туда прибывают войска и техника.

У молодых хозяев — она высокая, со следами деревенской красоты, копается среди 5-ти детей, валяющихся на лавке. Любопытно — каждый ребенок ухаживает за другим, мама, дай ему цицки. Мать — стройная и красная, лежит строго среди этих копошащихся детей. Муж добр. Соколов: этих щенят надо перестрелять, зачем плодить. Муж: из маленьких будут большие.

Описать наших солдат — Черкашина (сегодня явился маленько ущемленный из Трибунала) — наглого, длинного, испорченного, какой он житель коммунистической России, Матяш, хохол, беспредельно ленивый, охочий до баб, всегда в какой-то истоме, с расшнурованными сапогами, ленивые движения, ординарец Соколова — Миша, был в Италии, красивый, неряшливый.

Описать — поездка с начдивом, небольшой эскадрон, свита начдива, Бахтуров, старые буденновцы, при выступлении — марш.

Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток, за такую-то лошадь можешь получить 15 тысяч, за такую — 20 тысяч. Ежели поднимется, значит, это лошадь.

Берут свиней, кур, деревня стонет. Описать наше снабжение. Сплю в хате. Ужас их жизни. Мухи. Исследование о мухах, мириады. Пятеро маленьких, кричащих, несчастных.

Продовольствие от нас скрывают.

Новоселки. 17.7.20

Начинаю военный журнал с 16/VII. Еду в Полжу — Политотдел, там едят огурцы, солнце, спят босые за стогами сена. Яковлев обещает содействие. День проходит в работе.

У Лепина вспухла губа. У него покатые плечи. Тяжело с ним. Новая страница — изучаю оперативную науку.

Возле одной из хат — зарезанная теля. Голубоватые соски на земле, кожа только. Неописуемая жалость! Убитая молодая мать.

Новоселки — Мал. Дорогостай. 18.7.20

Польская армия сосредотачивается в районе Дубно — Кременец для решительного наступления. Мы парализуем маневр, предупредим. Армия переходит в наступление на южном участке, наша дивизия в армейском резерве. Наша задача — захватывать переправы через Стырь в районе Луцка.

Выступаем утром в Мал. Дорогостай (севернее Млынова), обоз оставляем, больных и административный штаб тоже, очевидно, предстоит операция.

Получен приказ из югзапфронта, когда будем идти в Галицию — в первый раз советские войска переступают рубеж,— обращаться с населением хорошо. Мы идем не в завоеванную страну, страна принадлежит галицийским рабочим и крестьянам, и только им, мы идем им помогать установить советскую власть. Приказ важный и разумный, выполнят ли его барахольщики? Нет.

Выступаем. Трубачи. Сверкает фуражка начдива. Разговор с начдивом о том, что мне нужна лошадь. Едем, леса, пашни жнут, но мало, убого, кое-где по две бабы и два старика. Волынские столетние леса — величественные зеленые дубы и грабы, понятно, почему дуб — царь.

Едем тропинками с двумя штабными эскадронами, они всегда с начдивом, это отборные войска. Описать убранство их коней, сабли в красном бархате, кривые сабли, жилетки, ковры на седлах. Одеты убого, хотя у каждого по 10 френчей, такой шик, вероятно.

Пашни, дороги, солнце, созревает пшеница, топчем поля, урожай слабый, хлеба низкорослые, здесь много чешских, немецких и польских колоний. Другие люди, благосостояние, чистота, великолепные сады, объедаем несозревшие яблоки и груши, все хотят на постой к иностранцам, ловлю и себя на этом желании, иностранцы запуганы.

Еврейское кладбище за Малином, сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское население, все повторяется,

теперь эта история — поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм.

Все чаще и чаще встречаются окопы старой войны, везде проволока, ее хватит для заборов еще лет на 10, разоренные деревни, везде строются, но слабо, нет ничего, никаких материалов, цемента.

На привалах с казаками, сено лошадям, у всех длинная история — Деникин, свои хутора, свои предводители, Буденные и Книги, походы по 200 человек, разбойничьи налеты, богатая казацкая вольница, сколько офицерских голов порублено. Газету читают, но как слабо западают имена, как легко все повернуть.

Великолепное товарищество, спаянность, любовь к лошадям, лошадь занимает $^1/_4$ дня, бесконечные мены и разговоры. Роль и жизнь лошади.

Совершенно своеобразное отношение к начальству — просто, на «ты».

М. Дорогостай разрушено было совершенно, строится.

Въезжаем в сад к батюшке. Берем сено, едим фрукты, тенистый, солнечный прекрасный сад, белая церковка, были коровы, лошади, попик в косичке растерянно ходит и собирает квитанции. Бахтуров лежит на животе, ест простоквашу с вишнями, дам тебе квитанции, право, дам.

У попа объели на целый год. Погибает, говорят, он просится на службу, есть у вас полковые священники?

Вечером на квартире. Опять немае — все врут, пишу журнал, дают картошку с маслом. Ночью в деревне, огромный багровый пламенный круг перед глазами, из разоренного села сбегают желтые пашни. Ночь. Огоньки в штабе. Всегда огоньки в штабе, Карл Карлович диктует приказание наизусть, никогда ничего не забывает, понурив головы, сидят телефонисты. Карл Карлович служил в Варшаве.

М. Дорогостай — Смордва — Бережцы. 19.7.20

Ночь спал плохо. Рези в желудке. Вчера ели зеленые груши. Чувствую себя скверно. Выезжаем на рассвете.

Противник атакует на участке Млынов — Дубно. Мы ворвались в Радзивилов.

Сегодня на рассвете решительное наступление всех дивизий — от Луцка до Кременца. 5-я, 6-я дивизии — сосредоточены в Смордве, достигнуто Козино.

Берем, значит, на юг.

Выступаем из М. Дорогостай. Начдив здоровается с эскадронами, лошадь трепещет. Музыка. Вытягиваемся по

дороге. Невыносимая. Идем через Млынов — Бережцы, в Млынов нельзя заехать, а это еврейское местечко. Подъезжаем к Бережцы, канонада, канцелярия поворачивает назад, пахнет мазутом, по откосам ползут отряды кавалерии. Смордва, дом священника, заплаканные провинциальные барышни в белых чулках, давно таких не видел, раненая попадья, хромая, жилистый поп, крепкий дом, штадив и начдив 14, ждем прибытия бригад, наш штаб на возвышенности, поистине большевистский штаб — начдив Бахтуров, военкомы. Нас обстреливают, начдив молодец — умен, напорист, франтоват, уверен в себе, сообразил обходное движение на Бокунин, наступление задерживается, распоряжения бригадам. Прискакали Колесов и Книга (знаменитый Книга, чем он знаменит). Великолепная лошадь Колесова, у Книги лицо хлебного приказчика, деловитый хохол. Приказания быстры, все советуются, обстрел увеличивается, снаряды падают в 100 шагах.

Начдив 14 пожиже, глуп, разговорчив, интеллигент, работает под буденновца, ругается беспрерывно, я дерусь всю ночь, не прочь прихвастнуть. Длинными лентами извиваются на противоположном берегу бригады, обстрел обозов, столбы пыли. Буденновские полки с обозами, с коврами по седлам.

Мне все хуже. У меня 39 и 8. Приезжают Буденный и Ворошилов.

Совещание. Пролетает начдив. Бой начинается. Лежу в саду у батюшки. Грищук апатичен совершенно. Что такое Грищук, покорность, тишина бесконечная, вялость беспредельная. 50 верст от дому, 6 лет не был дома, не убегает.

Знает, что такое начальство, немцы научили.

Начинают прибывать раненые, перевязки, голые животы, долготерпение, нестерпимый зной, обстрел с обеих сторон беспрерывный, нельзя забыться. Буденный и Ворошилов на крылечке. Картина боя, возвращаются кавалеристы, запыленные, потные, красные, никаких следов волнения, рубал, профессионалы, все протекает в величайшем спокойствии — вот особенность, уверенность в себе, трудная работа, мчатся сестры на лошадях, броневик Жгучий. Против нас — особняк графа Ледоховского, белое здание над озером, невысокое, некричащее, полное благородства, вспоминаю детство, романы,— много еще вспоминаю. У фельдшера — жалкий красивый молодой еврей — может быть, получал жалованье у графа, сер от тоски. Извините, как положение на фронте? Поляки издевались и мучили, он думает, что теперь наста-

нет жизнь, между прочим, казаки не всегда хорошо поступают.

Отзвуки боя — скачущие всадники, донесения, раненые, убитые.

Сплю у церковной ограды. Какой-то комбриг спит, положив голову на живот какой-то барышни.

Вспотел, полегчало. Еду в Бережцы, там канцелярия, разоренный дом, пью вишневый чай, ложусь в хозяйкину постель, потею, порошок аспирина. Хорошо бы поспать. Вспоминаю — у меня жар, зной, у церковной ограды солдаты с воем, а другие с хладнокровием, припускают жеребцов.

Бережцы, Сенкевич, пью вишневый чай, лег на пружинный матрац, ребенок какой-то задыхается рядом. Забылся часа на два. Будят. Я пропотел. Едем ночью обратно в Смордву, оттуда дальше, опушка леса. Поездка ночью, луна, где-то впереди эскадрон.

Избушка в лесу. Мужики и бабы спят вдоль стен. Константин Карлович диктует. Картина редкая — вокруг спит эскадрон, все во тьме, ничего не видно, из лесу тянет холодом, натыкаюсь на лошадей, в штабе — едят, больной ложусь у тачанки на землю, сплю 3 часа, укрытый шалью и шинелью Барсукова, хорошо.

20.7.20. Высоты у Смордвы. Пелча

Выступаем в 5 часов утра. Дождь, сыро, идем лесами. Операция идет успешно, наш начдив верно указал путь обхода, продолжаем загибать. Промокли, лесные дорожки. Обход через Бокуйку на Пелчу. Сведения, в 10 часов взята Добрыводка, в 12 часов после ничтожного сопротивления Козин. Мы преследуем противника, идем на Пелчу. Леса, лесные дорожки, эскадроны вьются впереди.

Здоровье мое лучше, неисповедимыми путями.

Изучаю флору Волынской губернии, много вырублено, вырубленные опушки, остатки войны, проволока, белые окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги в лесу, ясень.

По лесным тропинкам в Пелчу. Приезжаем к 10 часам. Опять село, хозяйка длинная, скучно — немае[1], очень чисто, сын был в солдатах, дает нам яиц, молока нет, в хате невыносимо душно, идет дождь, размывает все дороги, черная

---

[1] Ничего нет *(укр.)*.

глюкающая грязь, к штабу не подойти. Целый день сижу в хате, тепло, там дождь за окном. Как скучна и пресна для меня эта жизнь — цыплята, спрятанная корова, грязь, тупость. Над землей невыразимая тоска, все мокро, черно, осень, а у нас в Одессе...

В Пелче захватили обоз 49-го польского пехотного полка. Дележ под окном, совершенно идиотская ругань, притом подряд, другие слова скучны, их не хочется произносить, о ругани, Спаса мать, гада мать, крестьянки ежатся, Бога мать, дети спрашивают,— солдаты ругаются. Бога мать. Застрелю, бей.

Мне достается бумажный мешок и сумка к седлу. Описать эту мутную жизнь. Хлопец не идет работать на поле. Сплю на хозяйской кровати. Узнали о том, что Англия предложила мир Сов. России с Польшей, неужели скоро кончим?

21.7.20. Пелча — Боратин

Нами взят Дубно. Сопротивление, несмотря на то, что мы говорим — ничтожное. В чем дело? Пленные говорят и видно — революция маленьких людей. Много об этом можно сказать, красота фронтона Польши, есть трогательность, моя графиня. Рок, гонор, евреи, граф Ледоховский. Пролетарская революция. Как я вдыхаю запах Европы — идущий оттуда.

Выезжаем в Боратин через Добрыводка, леса, поля, тихие очертания, дубы, опять музыка и начдив, и сбоку — война. Привал в Жабокриках, ем белый хлеб. Грищук кажется мне иногда ужасным — забит? Немцы, эта жующая челюсть.

Описать Грищука.

В Боратине — крепкое, солнечное село. Хмиль, смеющийся дочке, молчаливый, но богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота, отхожу от болезни, для меня все крестьяне на одно лицо, молодая мать. Грищук сияет, ему дали яичницу с салом, прекрасная, тенистая клуня[1], клевер. Отчего Грищук не убегает?

Прекрасный день. Мое интервью с Костантином Карловичем. Что такое наш казак? Пласты: барахольство, удальство, профессионализм, революционность, звериная жесто-

[1] Сарай для сушки и обмолота хлеба *(укр.)*.

кость. Мы авангард, но чего? Население ждет избавителей, евреи свободы — приезжают кубанцы...

Командарм вызывает начдива на совещание в Козин. 7 верст. Еду. Пески. Каждый дом остался в сердце. Кучки евреев. Лица, вот гетто, и мы старый народ, измученные, есть еще силы, лавка, пью кофе великолепный, лью бальзам на душу лавочника, прислушивающегося к шуму в лавке. Казаки кричат, ругаются, лезут на полки, несчастная лавка, потный рыжебородый еврей... Брожу без конца, не могу оторваться, местечко было разрушено, строится, существует 400 лет, остатки синагоги, великолепный разрушенный старый храм, бывший костел, теперь церковь, очаровательной белизны, в три створки, видный издалека, теперь церковь. Старый еврей — я люблю говорить с нашими — они меня понимают. Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом, эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник, какая-то семья тупых толстоногих евреев, живущих в деревянном сарае при кладбище, три гроба евреев солдат, убитых в русско-германскую войну. Абрамовичи из Одессы, хоронить приезжала мать, и я вижу эту еврейку, хоронящую сына, погибшего за противное ей непонятное, преступное дело.

Новое и старое кладбище — местечку 400 лет.

Вечер, хожу между строениями, евреи и еврейки читают афиши и прокламации, Польша — собака буржуазии и прочее. Смерть от насекомых и не уносите печей из теплушек.

Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннобородые, не наши толстые и govial[1]. Высокие старики, шатающиеся без дела. Главное — лавка и кладбище.

7 верст обратно в Боратин, прекрасный вечер, душа полна, богатые хозяева, лукавые девушки, яичница, сало, наши гоняют мух, русско-украинская душа. Мне, верно, не интересно.

22.7.20. Боратин

До обеда — доклад в Полештарм. Хорошая солнечная погода, богатое, крепкое село, иду на мельницу, что такое водяная мельница, еврей служка, потом купаюсь в холодной мелкой речке под нежарким солнцем Волыни. Две девочки играют в воде, странное, с трудом преодолимое желание сквернословить, скользкие и грубые слова.

---

[1] Жизнерадостные *(лат.)*.

Соколову худо. Даю ему лошадей для отправки в госпиталь. Штаб выезжает в Лешнюв (Галиция, в первый раз переходим границу). Я жду лошадей. Хорошо в деревне, светло, сыто.

Выезжаю через два часа на Хотин. Дорога леском, тревога. Грищук туп и страшен. Я на тяжелой лошади Соколова. Я один на дороге. Светло, прозрачно, не жарко, легкая теплота. Фурманка впереди, пять человек, похожих на поляков. Игра, едем, останавливаемся, откуда? Взаимный страх и тревога. У Хотина видны наши, въезжаем, стрельба. Дикая скачка назад, тащу коня на поводу. Пули жужжат, воют. Артиллерийский огонь. Грищук то несется с мрачной и молчаливой энергией, то в опасные минуты — непонятен, вял, черен, заросшая челюсть. В Боратине уже никого нет. Обоз за Боратином, начинается каша. Обозная эпопея, отвращение и мерзость. Командует Гусев. Стоим полночи у Козина, стрельба. Высылаем разведку, никто ничего не знает, разъезжают верховые, имеющие деловой вид, высокий немчик — райкоменданта, ночь, хочется спать, чувство беспомощности — не знаешь, куда тебя везут, думаю, что это 20—30 человек из загнанных нами в леса, набег. Но откуда артиллерия? Засыпаю на полчаса, говорят, была перестрелка, наши выслали цепь. Двигаемся дальше. Лошади измучены, ужасная ночь, двигаемся колоссальным обозом в непроглядной тьме, неизвестно, через какие деревни, пожарище где-то сбоку, пересекают дорогу другие обозы — потрясен фронт или обозная паника?

Ночь тянется бесконечно, попадаем в яму. Грищук странно правит, нас бьют сзади дышлом, крики где-то вдали, останавливаемся через каждые полверсты и стоим томительно, бесцельно, долго.

У нас рвется вожжа, тачанка не повинуется, отъезжаем в поле, ночь, у Грищука припадок звериного, тупого, безнадежного и бесящего меня отчаяния: о, сгорили б те вожжи, о,— сгори да сгори. Он слеп, он признается в этом, Грищук, он ничего не видит ночью. Обоз нас оставляет, дороги тяжелы, черная грязь, Грищук, хватаясь за обрывок вожжи,— неожиданным своим звенящим тенорком — пропадем, поляк догонит, канонада отовсюду, обозные — мы в кругу. Едем на авось с порванной вожжой. Тачанка визжит, тяжелый мутный рассвет вдали, мокрые поля. Фиолетовые полосы на небе, с черными провалами. На рассвете — местечко Верба. Железнодорожное полотно — мертвое, мелкое, пахнет Галицией. 4 часа утра.

23.7.20. В Вербе

Евреи, не спавшие ночь, стоят жалкие, как птицы, синие, взлохмаченные, в жилетах и без носков. Мокрый безрадостный рассвет, вся Верба забита обозами, тысячи повозок, все возницы на одно лицо, перевязочные отряды, штаб 45-й дивизии, слухи тяжелые и, вероятно, нелепые, и эти слухи несмотря на цепь наших побед... Две бригады 11-й дивизии в плену, поляки захватили Козин, несчастный Козин, что там будет. Стратегическое положение любопытное, 6-я дивизия в Лешнюве, поляки в Козине, в Боратине, в тылу, исковерканные пироги. Ждем на дороге из Вербы. Стоим два часа, Миша в белой высокой шапке с красной лентой скачет по полю. Все едят — хлеб с соломой, зеленые яблоки, грязными пальцами, вонючими ртами — грязную, отвратительную пищу. Едем дальше. Изумительно — остановки через каждые 5 шагов, нескончаемые линии обозов 45-й и 11-й дивизий, мы то теряем наш обоз, то находим его. Поля, потоптанное жито, объеденные, еще не совсем объеденные деревни, местность холмистая, куда приедем? Дорога на Дубно. Леса, великолепные старинные тенистые леса. Жара, в лесах тень. Много вырублено для военных надобностей, будь они прокляты, голые опушки с торчащими пнями. Древние Волынские Дубенские леса, узнать, где-то достают мед, пахучий, черный.

Описать леса.

Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба. Следует ужас, она варит на 100 человек, мухи, распаренная и растрясенная комиссарская Шурка, свежина с картошкой, берут все сено, косят овес, картошка пудами, девочка сбивается с ног, остатки благоустроенного хозяйства. Жалкий длинный улыбающийся чех, полная хорошая, иностранная женщина жена.

Вакханалия. Сдобная гусевская Шурка со свитой, красноармейцы — дрянь, обозники, все это топчется на кухне, сыплет картошку, ветчина, пекут коржи. Температура невыносимая, задыхаешься, тучи мух. Замученные чехи. Крики, грубость, жадность. Все же великолепный у меня обед — жареная свинина с картошкой и великолепный кофе. После обеда сплю под деревьями — тихий тенистый откос, качели летают перед глазами. Перед глазами — тихие зеленые и желтые холмы, облитые солнцем, и леса, Дубенские леса. Сплю часа три. Потом в Дубно. Еду с Прищепой, новое знакомство, кафтан, белый башлык, безграмотный коммунист, он ведет меня к жене. Муж — а гробер менч[1] —

---

[1] Грубиян *(еврейск.)*.

ездит на лошаденке по деревням и скупает у крестьян продукты. Жена — сдобная, томная, хитрая, чувственная молодая еврейка, 5 месяцев замужем, не любит мужа, впрочем, чепуха, заигрывает с Прищепой. Центр внимания на меня — er ist ein[1] ⟨нрзб⟩ — вглядывается, спрашивает фамилию, не отрывает глаз, пьем чай, у меня идиотское положение, я тих, вял, вежлив и за каждое движение благодарю. Перед глазами — жизнь еврейской семьи, приходит мать, какие-то барышни, Прищепа — ухажер. Дубно переходило несколько раз из рук в руки. Наши, кажется, не грабили. И опять все трепещут, и опять унижение без конца, и ненависть к полякам, рвавшим бороды. Муж — будет ли свобода торговли, немножко купить и сейчас же продать, не спекулировать. Я говорю — будет, все идет к лучшему — моя обычная система — в России чудесные дела — экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал. Они слушают с наслаждением и недоверием. Я думаю — будет вам небо в алмазах, все перевернет, всех вывернет, в который раз, и жалко.

Дубенские синагоги. Все разгромлено. Осталось два маленьких притвора, столетия, две маленькие комнатушки, все полно воспоминаний, рядом четыре синагоги, а там выгон, поля и заходящее солнце. Синагоги приземистые старинные зеленые и синие домишки, хасидская, внутри — архитектуры никакой. Иду в хасидскую. Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать. Тихий вечер в синагоге, это всегда неотразимо на меня действует, четыре синагожки рядом. Религия? Никаких украшений в здании, все бело и гладко до аскетизма, все бесплотно, бескровно, до чудовищных размеров, для того, чтобы уловить, нужно иметь душу еврея. А в чем душа заключается? Неужто именно в наше столетие они погибают?

Уголок Дубно, четыре синагоги, вечер пятницы, евреи и еврейки у разрушенных камней — все памятно. Потом вечер, селедка, грустный, оттого что не с кем совокупиться. Прищепа и дразнящая, раздражающая Женя, ее еврейские и блистающие глаза, толстые ноги и мягкая грудь. При-

---

[1] Он *(нем.)*.

щепа — руки грузнут, и ее упорный взгляд, и дурак муж, кормящий в крохотном закутке перемененную лошадь.

Ночуем у других евреев, Прищепа просит, чтобы ему играли, толстый мальчик с твердым, тупым лицом, задыхаясь от ужаса, говорит, что у него нет настроения. Лошадь напротив в дворике. Грищуку 50 верст от дому. Он не убегает.

Поляки наступают в районе Козина—Боратино, они у нас в тылу, 6-я дивизия в Лешнюве, Галиция. Идет операция на Броды, Радзивилов вперед и одной бригадой на тыл. 6 дивизия в тяжких боях.

24.7.20

Утром — в Штарме. 6 дивизия ликвидирует противника, напавшего на нас в Хотине, район боев Хотин — Козин, и я думаю — несчастный Козин.

Кладбище, круглые камни.

Из Кривих с Прищепой еду в Лешнюв на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Едем через Хорупань, Смордву и Демидовку. Запомнить картину — обозы, всадники, полуразрушенные деревни, поля и леса, дубы, изредка раненые и моя тачанка.

В Демидовке к вечеру. Еврейское местечко, я настораживаюсь. Евреи по степи, все разрушено. Мы в доме, где масса женщин. Семья Ляхецких, Швехвелей, нет, это не Одесса. Зубной врач — Дора Ароновна, читает Арцыбашева, а вокруг гуляет казачье. Она горда, зла, говорит, что поляки унижали чувство собственного достоинства, презирает за плебейство коммунистов, масса дочерей в белых чулках, набожные отец и мать. Каждая дочь — индивидуальность, одна жалкая, черноволосая, кривоногая, другая — пышная, третья — хозяйственная, и все, вероятно, старые девы.

Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет жарить картошку, а завтра пост, 9 Аба, и я молчу, потому что я русский. Зубной врач, бледная от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошки, потому что праздник.

Долго мною сдерживаемый Прищепа прорывается — жиды, мать, весь арсенал, они все, ненавидя нас и меня, копают картошку, боятся в чужом огороде, валят на кресты,

Прищепа негодует. Как все тяжко — и Арцыбашев, и сирота гимназистка из Ровно, и Прищепа в башлыке. Мать ломает руки — развели огонь в субботу, кругом брань. Здесь был Буденный и уехал. Спор между еврейским юношей и Прищепой. Юноша в очках, черноволос, нервен, алые воспаленные веки, неправильная русская речь. Он верит в Бога, Бог — это идеал, который мы носим в нашей душе, у каждого человека в душе есть свой Бог, поступаешь дурно — Бог скорбит, эти глупости высказываются восторженно и с болью. Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путает христианство с язычеством, главное — в древности была коммуна, конечно, плетет без толку, ваше образование — никакого, и евреи — 6 классов Ровенской гимназии — говорит по Платонову — трогательно и смешно — роды, старейшины, Перун, язычество.

Мы едим как волы, жареный картофель и по 5 стаканов кофе. Потеем, всё нам подносят, всё это ужасно, я рассказываю небылицы о большевизме, расцвет, экспрессы, московская мануфактура, университеты, бесплатное питание, ревельская делегация, венец — рассказ о китайцах, и я увлекаю всех этих замученных людей. 9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит, что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лампочка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и мокром.

Беда с Грищуком — он в каком-то остолбенении, ходит, как сомнамбула, лошадей кормит слабо, о бедах заявляет post-factum[1], благоволит к мужикам и детям.

Приехали с позиции пулеметчики, останавливаются в нашем дворе, ночь, они в бурках. Прищепа ухаживает за еврейкой из Кременца, хорошенькая, полная, в гладком платье. Она нежно краснеет, кривой тесть сидит неподалеку, она цветет, с Прищепой можно поговорить, она цветет и жеманится, о чем они беседуют, потом — он спать, провести время, ей мучительно, кому ее душа понятнее, чем мне? Он — будем писать, я думаю с тоской — неужели она, говорит Прищепа — согласилась (у него все соглашаются). Вспоминаю, у него, вероятно, сифилис, вопрос — излечился.

---

[1] Задним числом *(лат.)*.

Девушка потом — я буду кричать. Описать их первые деликатные разговоры, о чем же вы думаете — она интеллигентный человек, служила в Ревкоме.

Боже, думаю я, женщины теперь слышат все ругательства, живут по-солдатски, где нежность?

Ночью гроза и дождь, бежим в хлев, грязно, темно, мокро, холодно, пулеметчиков на рассвете гонят на позиции, они собираются под проливным дождем, бурки и иззябшие лошади. Жалкая Демидовка.

25.7.20

Утром отъезд из Демидовки. Мучительные два часа, евреек разбудили в 4 часа утра и заставили варить русское мясо, и это 9 Аба. Девушки полуголые и встрепанные бегают по мокрым огородам, похоть владеет Прищепой неотступно, он нападает на невесту сына кривого старика, в это время забирают подводу, идет ругань невероятная, солдаты едят из котлов мясо, она — я буду кричать, ее лицо, он прижимает к стене, безобразная сцена. Она всячески отбивает подводу, они спрятали ее на чердаке, будет хорошая еврейка. Она препирается с комиссаром, говорящим о том, что евреи не хотят помогать Красной Армии.

Я потерял портфель, потом нашел его в штабе 14 дивизии в Лишня.

Едем на Остров — 15 верст, оттуда дорога на Лешнюв, там опасно, польские разъезды. Батюшка, его дочь, похожая на Плевицкую или на веселый скелет. Киевская курсистка, все истосковались по вежливости, я рассказываю небылицы, она не может оторваться. 15 опасных верст, скачут часовые, проезжаем границу, деревянный настил. Везде окопы.

Приезжаем в штаб. Лешнюв. Полуразрушенное местечко. Русские достаточно запаскудили. Костел, униатская церковь, синагога, красивые здания, несчастная жизнь, какие-то призрачные евреи, отвратительная хозяйка, галичанка, мухи и грязь, длинный, одичавший оболтус, славяне второго сорта. Передать дух разрушенного Лешнюва, худосочие и унылая полузаграничная грязь.

Сплю в клуне. Идет бой под Бродами и у переправы — Чуровице. Циркуляры о советской Галиции. Пасторы. Ночь в Лешнюве. Как все это невообразимо грустно, и эти одичалые и жалкие галичане, и разрушенные синагоги, и мелкая жизнь на фоне страшных событий, до нас доходят только отсветы.

26.7.20. Лешнюв

Украина в огне. Врангель не ликвидирован. Махно делает набеги в Екатеринославской и Полтавской губерниях. Появились новые банды, под Херсоном — восстание. Почему они восстают, короток коммунистический пиджак?

Что с Одессой, тоска.

Много работы, восстанавливаю прошлое. Сегодня утром взяты Броды, опять окруженный противник ушел, резкий приказ Буденного, 4 раза выпустили, умеем раскачать, но нет сил задержать.

Совещание в Козине, речь Буденного, перестали маневрировать, лобовые удары, теряем связь с противником, нет разведки, нет охранения, начдивы не имеют инициативы, мертвые действия.

Разговариваю с евреями, в первый раз — неинтересные евреи. Сбоку разрушенная синагога, рыженький из Броды, земляки из Одессы.

Переезжаю к безногому еврею, благоденствие, чистота, тишина, великолепный кофе, чистые дети, отец потерял обе ноги на ит. фронте, новый дом, строятся, жена корыстолюбива, но прилична, вежлива, маленькая тенистая комнатка, отдыхаю от галичан.

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу.

Жизнь нашей дивизии. О Бахтурове, о начдиве, о казаках, мародерство, авангард авангарда. Я чужой.

Вечером паника, противник потеснил нас из Чуровице, был в $1^1/_2$ верстах от Лешнюва. Начдив ускакал и прискакал. И начинается странствие, и снова ночь без сна, обозы, таинственный Грищук, лошади идут бесшумно, брань, леса, звезды, где-то стоим. На рассвете Броды, все это ужасно — везде проволока, обгоревшие трубы, малокровный город, пресные дома, говорят, здесь есть товары, наши не преминут, здесь были заводы, русское военное кладбище и поистине — безвестные одинокие кресты у могил — русские солдаты.

Белая совсем дорога, вырубленные леса, все исковеркано, галичане на дорогах, австрийская форма, босые с трубками, что в их лицах, какая тайна ничтожества, обыденщины, покорности.

Радзивилов — хуже Брод, проволока на столбах, красивы здания, рассвет, жалкие фигуры, оборванные фрукты, обтрепанные зевающие евреи, разбитые дороги, снесенные

распятия, бездарная земля, подбитые католические храмы, где ксендзы́ — а здесь были контрабандисты, и я вижу прежнюю жизнь.

Хотин. 27.7.20

От Радзивилова — бесконечные деревни, мчащиеся вперед всадники, тяжело после бессонной ночи.

Хотин — та самая деревня, где нас обстреляли. Квартира — ужасная — нищета, баня, мухи, степенный, кроткий, стройный мужик, прожженная баба, ничего не дает, достаю сало, картошку. Живут нелепо, дико, комнатенка и мириады мух, ужасная пища, и не надо ничего лучше — и жадность, и отвратительное неизменяющееся устройство жилища, и воняющие на солнце шкуры, грязь без конца раздражает.

Был помещик — Свешников, разбит завод, разбита усадьба, величественный остов завода, красное кирпичное здание, размещенные аллеи, уже нет следа, мужики равнодушны.

У нас хромает артснабжение, втягиваюсь в штабную работу — гнусная работа убийства. Вот заслуга коммунизма — нет хоть проповеди вражды к врагам, только, впрочем, к польским солдатам.

Привезли пленных, одного совершенно здорового ранил двумя выстрелами без всякой причины красноармеец. Поляк корчится и стонет, ему подкладывают подушку.

Убит Зиновьев, молоденький коммунист в красных штанах, хрипы в горле и синие веки.

Носятся поразительные слухи — 30-го начинают переговоры о перемирии.

Ночью в вонючей дыре, называемой двором. Не сплю поздно, захожу в штаб, дела с переправой не блестящи.

Поздняя ночь, красный флаг, тишина, жаждущие женщин красноармейцы.

28.7.20. Хотин

Бой за переправу у Чуровице. 2-я бригада в присутствии Буденного — истекает кровью. Весь пехотный батальон — ранен, избит почти весь. Поляки в старых блиндированных окопах. Наши не добились результата. Крепнет ли у поляков сопротивление?

Разложения перед миром — не видно.

Я живу в бедной хате, где сын с большой головой ирает на скрипке. Терроризирую хозяйку, она ничего не дает. Грищук, окаменелый, плохо ухаживает за конями, оказывается, он приучен голодом.

Разрушенная экономия, барин Свешников, разбитый величественный винный завод (символ русского барина?), когда выпустили спирт — все войска перепились.

Раздраженный — я не перестаю негодовать, грязь, апатия, безнадежность русской жизни невыносимы, здесь революция что-то сделает.

Хозяйка прячет свиней и корову, говорит быстро, елейно и с бессильной злобой, ленива, и я чувствую, что она разрушает хозяйство, муж верит в власть, очарователен, кроток, пассивен, похож на Строева.

Скучно в деревне, жить здесь — это ужасно. Втягиваюсь в штабную работу. Описать день — отражение боя, идущего в нескольких верстах от нас, ординарцы, у Лепина вспухла рука.

Красноармейцы ночуют с бабами.

История — как польский полк четыре раза клал оружие и защищался вновь, когда его начинали рубить.

Вечер, тихо, разговор с Матяж, он беспредельно ленив, томен, соплив и как-то приятно, ласково похотлив. Страшная правда — все солдаты больны сифилисом. У Матяж, выздоравливает (почти не лечась). У него был сифилис, вылечил за две недели, он с кумом заплатил бы в Ставрополе 10 коп. серебром, кум умер, у Миши есть много раз, у Сенечки, у Гераси сифилис, и все ходят к бабам, а дома невесты. Солдатская язва. Российская язва — страшно. Едят толченый хрусталь, пьют не то карболку, размолоченное стекло. Все бойцы — бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь.

Письмо Жене, тоска по ней и по дому.

Надо следить за особотделом и ревтрибуналом.

Неужели 30-го переговоры о мире?

Приказ Буденного. Мы в четвертый раз выпустили противника, под Бродами был совершенно окружен.

Описать Матяжа, Мишу. Мужики, в них хочется вникать.

Мы имеем силы маневрировать, окружать поляков, но хватка, в сущности, слабая, они пробиваются, Буденный сердится, выговор начдиву. Написать биографии начдива, военкома Книги и проч.

29.7.20. Лешнюв

Утром уезжаем в Лешнюв. Снова у прежнего хозяина — чернобородого, безногого Фроима. За время моего отсутствия его ограбили на 4 тысячи гульденов, забрали сапоги. Жена — льстивая сволочь, холоднее ко мне, видит, что поживиться трудно, как они жадны. Я разговариваю с ней по-немецки. Начинается дурная погода.

У Фроима — дети хромоногие, их много, я их не разбираю, корову и лошадь он прячет.

В Галиции невыносимо уныло, разбитые костелы и распятие, хмурое небо, прибитое, бездарное, незначительное население. Жалкое, приученное к убийству, солдатам, непорядку, степенные русские плачущие бабы, взрытые дороги, низкие хлеба, нет солнца, ксендзы в широких шляпах — без костелов. Гнетущая тоска от всех строящих жизнь.

Славяне — навоз истории?

День протекает тревожно. Поляки прорвали расположение 14-й дивизии правее нас, вновь заняли Берестечко. Сведений никаких, кадриль, они заходят нам в тыл.

Настроение в штабе. Константин Карлович молчит. Писаря — эта откормленная, наглая, венерическая шпанка — тревожится. После тяжкого однообразного дня — дождливая ночь, грязь — у меня туфли. Вот и начинается могущественный дождь, истинный победитель.

Шлепаем по грязи, пронизывающий мелкий дождь.

Стрельба орудийная и пулеметная все ближе. Меня клонит ко сну нестерпимо. Лошадям нечего дать. У меня новый кучер — поляк Говинский, высокий, проворный, говорливый, суетливый и, конечно, наглый парень.

Грищук идет домой, иногда он прорывается — я замученный, по-немецки он не мог научиться, потому что хозяин у него был серьезный, они только ссорились, но никогда не разговаривали.

Оказывается еще — он голодал семь месяцев, а я скупо давал ему пищу.

Совершенно босой, с впавшими губами, синими глазами — поляк. Говорлив и весел, перебежчик, мне он противен.

Клонит ко сну непреодолимо. Спать опасно. Ложусь одетый. Рядом со мною две ноги Фроима стоят на стуле. Светит лампочка, его черная борода, на полу валяются дети.

Десять раз встаю — Говинский и Грищук спят — злоба. Заснул к четырем часам, стук в дверь — ехать. Паника,

неприятель у местечка, стрельба из пулеметов, поляки приближаются. Все скачет. Лошадей не могут вывести, ломают ворота, Грищук со своим отвратительным отчаянием, нас четыре человека, лошади не кормлены, надо заехать за сестрой, Грищук и Говинский хотят ее бросать, я кричу не своим голосом — сестра? Я зол — сестра глупа, красива. Летим по шоссе на Броды, я покачиваюсь и сплю. Холодно, пронизывает ветер и дождь. Надо следить за лошадьми, сбруя ненадежна, поляк поет, дрожу от холода, сестра говорит глупости. Качаюсь и сплю. Новое ощущение — не могу раскрыть век. Описать — невыразимое желание спать.

Опять бежим от поляка. Вот она — кав. война. Просыпаюсь — мы стоим перед белыми зданиями. Деревня? Нет, Броды.

30.7. Броды

Унылый рассвет. Надоела сестра. Где-то бросили Грищука. Дай ему Бог.

Куда заехать? Усталость гнетет. 6 часов утра. Какой-то галичанин, к нему. Жена на полу с новорожденным. Он — тихий старичок, дети с голой женой, их трое, четверо.

Еще какая-то женщина. Пыль, прибитая дождем. Подвал. Распятие. Изображение святой Девы. Униаты действительно ни то ни другое. Сильный католический налет. Блаженство — тепло, какая-то горячая вонь от детей, женщин. Тишина и уныние. Сестра спит, я не могу, клопы. Нет сена, я кричу на Говинского. У хозяев нет хлеба, молока.

Город разрушен, ограблен. Город огромного интереса. Польская культура. Старинное, богатое, своеобразное еврейское поселение. Эти ужасные базары, карлики в капотах, капоты и пейсы, древние старики. Школьная улица, 9 синагог, все полуразрушено, осматриваю новую синагогу, архитектура ⟨нрзб⟩ кондьеш, шамес, бородатый и говорливый еврей — хоть бы мир, как будет торговля, рассказывает о разграблении города казаками, об унижениях, чинимых поляками. Прекрасная синагога, какое счастье, что у нас есть хотя бы старые камни. Это еврейский город — это Галиция, описать. Окопы, разбитые фабрики, Бристоль, кельнерши, «западноевропейская» культура и как жадно на это бросаешься. Эти жалкие зеркала, бледные австрийские евреи — хозяева. И рассказы — здесь были американские доллары, апельсины, сукно.

Шоссе, проволока, вырубленные леса и уныние, уныние без конца. Есть нечего, надеяться не на что, война, все одинаково плохи, одинаково чужие, враждебные, дикие, была тихая и, главное, исполненная традиций жизнь.

Буденновцы на улицах. В магазинах — только ситро, открыты еще парикмахерские. На базаре у мегер — морковь, все время идет дождь, беспрерывный, пронзительный, удушающий. Нестерпимая тоска, люди и души убиты.

В штабе — красные штаны, самоуверенность, важничают мелкие душонки, масса молодых людей, среди них и евреи, состоят в личном распоряжении командарма и заботятся о пище.

Нельзя забыть Броды и эти жалкие фигуры, и парикмахеров, и евреев, пришедших с того света, и казаков на улицах.

Беда с Говинским, лошадям совершенно нет корма. Одесская гостиница Гальперина, в городе голод, есть нечего, вечером хороший чай, утешаю хозяина, бледного и растревоженного, как мышь. Говинский нашел поляков, взял у них кепи, кто-то помог и Говинскому. Он нестерпим, лошадей не кормит, где-то шатается, болтает, ничего не может достать, боится, чтобы его не арестовали, а его пытались уже арестовать, приходили ко мне.

Ночь в гостинице, рядом супруги и разговоры, и слова и... в устах женщины, о русские люди, как отвратительно вы проводите ваши ночи и какие голоса стали у ваших женщин. Я слушаю затаив дыхание, и мне тяжко.

Ужасная ночь в этих замученных Бродах. Быть наготове. Я таскаю ночью сено лошадям. В штабе. Можно спать, противник наступает. Вернулся домой, спал крепко, с помертвевшим сердцем, разбудил Говинский.



31.7.20. Броды, Лешнюв

Утром перед отъездом на Золотой улице ждет тачанка, час в книжном магазине, немецкий магазин. Есть все великолепные неразрезанные книги, альбомы, Запад, вот он Запад, и рыцарская Польша, хрестоматия, история всех Болеславов, и почему-то мне кажется, что это красота,

Польша, на ветхое тело набросившая сверкающие одежды. Я роюсь, как сумасшедший, перебегаю, темно, идет поток и разграбление канцелярских принадлежностей, противные молодые люди из трофкомиссии архивоенного вида. Отрываюсь от магазина с отчаянием.

Хрестоматии, Тетмайер, новые переводы, масса новой национальной польской литературы, учебники.

Штаб в Станиславчике или Кожошкове. Сестра, она служила по Чрезвычайкам, очень русская, нежная и сломанная красота. Жила со всеми комиссарами, так я думаю, и вдруг — альбом Костромской гимназии, классные дамы, идеальные сердца, Романовский пансион, тетя Маня, коньки.

Снова Лешнюв, и мои хозяева, страшная грязь, налет гостеприимства, уважения к русским и по моей доброте сошел, неприветливо у разоряемых людей.

О лошадях, кормить нечем, худеют, тачанка рассыпается, из-за пустяков, я ненавижу Говинского, какой-то веселый, прожорливый неудачник. Кофе мне уже не дают.

Противник обошел нас, от переправы оттеснил, зловещие слухи о прорыве в расположении 14-й дивизии, скачут ординарцы. К вечеру — в Гржималовку (севернее Чуровице) — разоренная деревня, достали овес, беспрерывный дождь, короткая дорога в штаб для моих туфель непроходима, мучительное путешествие, позиция надвигается, пил великолепный чай, горячо, хозяйка притворилась сначала больной, деревня все время находилась в сфере боев за переправу. Тьма, тревога, поляк шевелится.

К вечеру приехал начдив, великолепная фигура, перчатки, всегда с позиции, ночь в штабе, работа Константина Карловича.

1.8.20. Гржималовка, Лешнюв

Боже, август, скоро умрем, неистребима людская жестокость. Дела на фронте ухудшаются. Выстрелы у самой деревни. Нас вытесняют с переправы. Все уехали, осталось несколько человек штабных, моя тачанка стоит у штаба, я слушаю бой, хорошо мне почему, нас немного, нет обозов, нет административного штаба, спокойно, легко, огромное самообладание Тимошенки. Книга апатичен, Тимошенко: если не выбьет — расстреляю, передай на словах, все же начдив усмехается. Перед нами дорога, разбухшая от дождя, пулемет вспыхивает в разных местах, невидимое присутствие неприятеля в этом сером и легком небе. Непри-

ятель подошел к деревне. Мы теряем переправу через Стырь. Едем в злополучный Лешнюв, в который раз?

Начдив к 1-й бригаде. В Лешнюве — ужасно, заезжаем на два часа, административный штаб утекает, стена неприятеля вырастает повсюду.

Бой под Лешнювом. Наша пешка в окопах, это замечательно, волынские босые, полуидиотические парни — русская деревня, и они действительно сражаются против поляков, против притеснявших панов. Нет ружей, патроны не подходят, эти мальчики слоняются по облитым зноем окопам, их перемещают с одной опушки на другую. Хата у опушки, мне делает чай услужливый галичанин, лошади стоят в лощинке.

Сходил на батарею, точная, неторопливая, техническая работа.

Под пулеметным обстрелом, визжание пуль, скверное ощущение, пробираемся по окопам, какой-то красноармеец в панике, и, конечно, мы окружены. Говинский был на дороге, хотел бросить лошадей, потом поехал, я нашел его у опушки, тачанка сломана, перипетии, ищу, куда бы сесть, пулеметчики сбрасывают, перевязывают раненого мальчика, нога в воздухе, он рычит, с ним приятель, у которого убили лошадь, подвязываем тачанку, едем, она скрипит, не вертится. Я чувствую, что Говинский меня погубит, это — судьба, его голый живот, дыры в башмаках, еврейский нос и вечные оправдания. Я пересаживаюсь в экипаж Михаила Карловича, какое облегчение, я дремлю, вечер, душа потрясена, обоз, стоим по дороге к Белавцам, потом мы по дороге, окаймленной лесом, вечер, прохлада, шоссе, закат — катимся к позициям, отвозим мясо Константину Карловичу.

Я жаден и жалок. Части в лесу, они отошли, обычная картина, эскадрон, Бахтуров читает сообщение о III Интернационале, о том, что съехались со всего мира, белая косынка сестры мелькает между деревьями, зачем она здесь? Едем обратно, что такое Михаил Карлович? Говинский удрал, лошадей нет. Ночь, сплю в экипаже рядом с Михаилом Карловичем. Мы под Белавцами.

Описать людей, воздух.

Прошел день, видел смерть, белые дороги, лошадей между деревьями, восход и закат. Главное — буденновцы, кони, передвижения и война, между житом ходят степенные, босые и призрачные галичане.

Ночь на экипаже.

(У леска стоял с тачанкой писарей).

2.8.20. Белавцы.

История с тачанкой. Говинский приближается к местечку, конечно, кузнеца не нашел. Мой скандал с кузнецом, толкнул женщину, визг и слезы. Галичане не хотят починять. Арсенал средств, убеждения, угрозы, просьбы, больше всего подействовало обещание сахару. Длинная история, один кузнец болен, тащу его к другому, плач, его тащут домой. Мне не хотят стирать белья, никакие меры воздействия не помогают.

Наконец починяют.

Устал. В штабе тревога. Уходим. Противник нажимает, бегу предупредить Говинского, зной, боюсь опоздать, бегу по песку, предупредил, догнал штаб за селом, никто не берет меня, уходят, тоска, еду несколько времени с Барсуковым, двигаемся на Броды.

Мне дают санитарную тачанку 2-го эскадрона, подъезжаем к лесу, стоим с Иваном повозочным. Приезжает Буденный, Ворошилов, будет решительный бой, ни шагу дальше. Дальше разворачиваются все три бригады, говорю с комендантом штаба. Атмосфера начала боя, большое поле, аэропланы, маневры кавалерии на поле, наша конница, вдали разрывы, начался бой, пулеметы, солнце, где-то сходятся, заглушенное «ура», мы с Иваном отходим, опасность смертельная, что я чувствую, это не страх, это пассивность, он, кажется, боится, куда ехать, группа с Корочаевым идет направо, мы почему-то налево, бой кипит, нас догоняют на лошади — раненые, смертельно бледный — братишка, возьми, штаны окрашены кровью, угрожает нам стрелять, если не возьмем, осаживаем, он стращен, куртку Ивана заливает кровь, казак, остановились, буду перевязывать, у того легкая рана, в живот, кость повреждена, везем еще одного, у которого лошадь убили. Описать раненого. Долго плутаем под огнем по полям, ничего не видать, эти равнодушные дороги и травка, посылаем верховых, выехали на шоссе — куда ехать, Радзивилов или Броды?

В Радзивилове должен быть административный штаб и все обозы, по моему мнению, в Броды ехать интереснее, бой идет за Броды. Победило мнение Ивана, одни обозники говорят, что в Бродах — поляки, обозы бегут, Штарм выехал, едем в Радзивилов. Приезжаем ночью. Все это время ели морковь и горох — сырые, пронзительный голод, грязные, не спали. Я выбрал хату на окраине Радзивилова. Угадал, нюх выработался. Старик, девушка. Кислое молоко великолепно, съели, готовится чай с молоком, Иван идет за

сахаром, пулеметная стрельба, грохот обозов, выскакиваем, лошадь захромала, так уж полагается, убегаем в панике, стреляют по нас, ничего не понимаем, сейчас поймает, мчимся на мост, столпотворение, провалились в болото, дикая паника, валяется убитый, брошенные подводы, снаряды, тачанки. Пробка, ночь, страх, обозы стоят бесконечные, двигаемся, поле, стали, спим, звезды. Во всей этой истории мне больше всего жаль погибшего чая, до странности жаль. Я об этом думаю всю ночь и ненавижу войну.

Какая тревожная жизнь.

3.8.20

Ночь в поле, двигаемся с линейкой в Броды. Город переходит из рук в руки. Та же ужасная картина, полуразрушено, город ждет снова. Питпункт, на окраине встречаюсь с Барсуковым. Еду в штаб. Пустынно, мертво, уныло. Зотов спит на стульях, как мертвец. Спят Бородулин и Поллак. Здание Пражского Банка, обобранное и разодранное, клозеты, эти банковские загородки, зеркальные стекла.

Говорят, что начдив в Клёкотове, пробыли в опустошенных, предчувствующих Бродах часа два, чай в парикмахерской. Иван стоит у штаба. Ехать или не ехать. Едем в Клёкотов, сворачиваем с Лешнювского шоссе, неизвестность, поляки или мы, едем на ощупь, лошади замучены, хромает все сильнее, едим в селе картошку, показываются бригады, неизъяснимая красота, грозная сила двигается, бесконечные ряды, фольварк, имение разрушенное, молотилка, локомобиль Клентона, трактор, локомобиль работал, жарко.

Поле сражения, встречаю начдива, где штаб, потеряли Жолнаркевича. Начинается бой, артиллерия кроет, недалеко разрывы, грозный час, решительный бой — остановим польское наступление или нет, Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю, они уходят бледные пешком.

До этого — страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите.

Впечатления больше воспринимаю умом. Начинается бой, мне дают лошадь. Вижу, как строятся колонны, цепи, идут в атаку, жалко этих несчастных, нет людей, есть колонны, огонь достигает высочайшей силы, в безмолвии

происходит рубка. Я двигаюсь, слухи об отозвании начдива?

Начало моих приключений, двигаюсь с обозами к шоссе, бой усиливается, нашел питпункт, на шоссе обстреляли, свист снарядов, разрывы в 20 шагах, чувство безнадежности, обозы скачут, я прибился к 20-му полку 4-й дивизии, раненые, вздорный командир, нет, говорит, не ранен, ударился, профессионалы, и все поля, солнце, трупы, сижу у кухни, голод, сырой горох, лошадь нечем кормить.

Кухня, разговоры, сидим на траве, полк вдруг выступает, мне нужно к Радзивилову, полк идет к Лешнюву, и я бессилен, боюсь оторваться. Бесконечное путешествие, пыльные дороги, я пересаживаюсь на телегу, Квазимодо, два ишака, жестокое зрелище — этот горбатый кучер, молчаливый, с лицом темным, как Муромские леса.

Едем, у меня ужасное чувство — я отдаляюсь от дивизии. Теплится надежда — потом можно будет проводить раненого в Радзивилов, у раненого еврейское бледное лицо.

Въезжаем в лес, обстрел, снаряды в 100 шагах, бесконечное кружение по опушкам.

Песок тяжелый, непролазный. Поэма о лошадях замученных.

Пасека, обыскиваем ульи, четыре хаты в лесу — ничего нет, все обобрано, я прошу хлеба у красноармейца, он мне отвечает — с евреями не имею дело, я чужой, в длинных штанах, не свой, я одинок, едем дальше, от усталости едва сижу на лошади, мне надо самому за ней ухаживать, въехали в Конюшков, крадем ячмень, мне говорят — ищите, берите, всё берите — я ищу сестру по деревне, истерика у баб, забирают через 5 минут после приезда, какие-то бабы бьются, причитают, рыдают невыносимо, тяжко от непрекращающихся ужасов, ищу сестру, у меня непреодолимая печаль, похитил кружку молока у командира полка, вырвал поляницу из рук сына крестьянки.

Через 10 минут выезжаем. Вот те и на! Поляки где-то близко. Опять назад, я думаю, что не выдержу, еще и рысью, сначала еду с командиром, потом пристаю к обозам, хочу пересесть на телегу, у всех один ответ — пристали кони, ну, скинь меня и садись сам, сядь, дорогой, только здесь убитые, я смотрю на рядно, под ним убитые.

Приезжаем в поле, там много обозов 4-й дивизии, батарея, опять кухня, ищу сестер, тяжелая ночь, хочу спать, надо кормить лошадь, я лежу, лошади поедают великолепную пшеницу, красноармейцы в пшенице — бледные,

совсем мертвые. Лошадь мучает, я гоняюсь за ней, пристал к сестре, спим на тачанке, сестра — старая, лысая, вероятно еврейка, мученица, эта невыносимая брань, повозочный ее сталкивает, лошади путаются, повозочного не разбудишь, он груб и ругается, она говорит — наши герои — ужасные люди. Она укрывает его, они спят обнявшись, несчастная, старая сестра, хорошо бы застрелить возницу, брань, ругань, сестра не от мира сего — засыпаем. Просыпаюсь через два часа — украли уздечку. Отчаяние. Рассвет. Мы в 7 верстах от Радзивилова. Еду на ура. Несчастная лошадь, все мы несчастные, полк пойдет дальше. Трогаюсь.

За этот день — главное — описать красноармейцев и воздух.

4.8.20

Двигаюсь один к Радзивилову. Тяжкая дорога. Никого по пути, лошадь пристала, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивилова никаких частей, в местечке — смутно, меня посылают на станцию, опустошенное и совершенно привыкшее к переменам население. Шеко на автомобиле. Я в квартире Буденного. Еврейская семья, барышни, группа из гимназии Бухтеевой, Одесса, сердце замерло.

О счастье, дают какао и хлеб. Новости — новый начдив — Апанасенко, новый наштадив — Шеко. Чудеса.

Приезжает Жолнаркевич с эскадроном, он жалок, Зотов объявляет, что он смещен, пойду торговать на Сухаревку лепешками, что же новая школа, вы, говорит, войска расставлять умеете, в старину умел, теперь без резервов не умею.

У него жар, он говорит то, чего говорить не следовало, перебранка с Шеко, тот сразу поднял тон, начальник штаба приказал вам явиться в штаб, мне сдавать нечего, я не мальчик, чтобы шляться по штабам, оставил эскадрон и уехал. Уезжает старая гвардия, все ломается, вот и нет Константина Карловича.

Еще впечатление — и тяжкое и незабываемое — приезд на белой лошади начдива с ординарцами. Вся штабная сволочь, бегущая с курицами для командарма, относятся покровительственно, хамски, Шеко — высокомерен, спрашивает об операциях, тот объясняет, улыбается, великолепная, статная фигура и отчаяние. Вчерашний бой — блестящий успех 6-й дивизии — 1000 лошадей, 3 полка загнаны в окопы, противник разгромлен, отброшен, штаб ди-

визии в Хотине. Чей это успех — Тимошенки или Апанасенки? Тов. Хмельницкий — еврей, жрун, трус, нахал, при командарме — курица, поросенок, кукуруза, его презирают ординарцы, нахальные ординарцы, единственная забота ординарцев — курицы, сало, жрут, жирные, шоферы жрут сало,— все на крылечке перед домом. Лошади есть нечего.

Настроение совсем другое, поляки отступают, Броды хотя ими заняты, снова бьем, вывез Буденный.

Хочу спать, не могу. Перемены в жизни дивизии будут иметь важное значение. Шеко на подводе. Я с эскадроном. Едем на Хотин, опять рысь, 15 верст сделали. Живу у Бахтурова. Он убит, нет начдива, чувствует, что и ему не быть. Дивизия потрясена, бойцы ходят тихие,— нарастает или нет. Наконец-то я поужинал — мясо, мед. Описать Бахтурова, Ивана Ивановича и Петро. Сплю в клуне, наконец-то покой.

5.8.20. Хотин

День покоя. Ем, шляюсь по залитой солнцем деревне, отдыхаем, обедал, ужинал — есть мед, молоко.

Главное — внутренние перемены, все перевернуто.

Начдива жалко до боли, казачество волнуется, разговоры из-под угла, интересное явление, собираются, шепчутся, Бахтуров подавлен, герой был начдив, теперь командир в комнату не пускает, из 600—6000, тяжкое унижение, в лицо бросили — вы предатель, Тимошенко засмеялся,— Апанасенко, новая и яркая фигура, некрасив, коряв, страстен, самолюбив, честолюбив, написал воззвание в Ставрополь и на Дон о непорядках тыла, для того, чтобы сообщить в родные места, что он начдив. Тимошенко был легче, веселее, шире и, может быть, хуже. Два человека, не любили они, верно, друг друга. Шеко разворачивается, невероятно корявые приказы, высокомерие. Совсем другая работа штаба. Обозов и административного штаба нету. Лепин поднял голову — он зол, туп и возражает Шеко.

Вечером музыка и пляска — Апанасенко ищет популярности, круг шире, Бахтурову выбирает лошадь из польских, нынче все ездят на польских, великолепные кони, узкогрудые, высокие, английские, рыжие кони, этого нельзя забыть. Апанасенко заставляет проводить лошадей.

Целый день — разговоры об интригах. Письмо в тыл.

Тоска по Одессе.

Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его

любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова.

Об ординарцах, связывающих свою судьбу с «господами». Что будет делать Михеев, хромой Сухоруков, все эти Гребушки, Тарасовы, Иван Иванович с Бахтуровым. Все идут следом.

О польских лошадях, об эскадронах, скачущих в пыли на высоких, золотистых, узкогрудых польских конях. Чубы, цепочки, костюмы из ковров.

В болоте завязли 600 коней, несчастные поляки.

6.8.20. Хотин

На том же месте. Приводимся в порядок, куем лошадей, едим, перерыв в операциях.

Моя хозяйка — маленькая, пугливая, хрупкая женщина с измученными и кроткими глазами. Боже, как ее мучают солдаты, это бесконечное варево, крадем мед. Приехал домой хозяин, бомбы с аэроплана угнали у него коней. Старик не ел 5 суток, теперь отправляется по белу свету искать своих коней, эпопея. Старый старик.

Знойный день, густая, белая тишина, душа радуется, кони стоят, им молотят овес, возле них целый день спят казаки, кони отдыхают — это на первом плане.

Изредка мелькает фигура Апанасенки, в отличие от замкнутого Тимошенки, он — свой, он — отец командир.

Утром уезжает Бахтуров, за ним свита, слежу за работой нового военкома, тупой, но обтесавшийся московский рабочий, вот в чем сила — шаблонные, но великие пути, три военкома — обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку, молодого 23-летнего юношу, скромный Ширяев, хитрый Гришин. Сидят в садку, военком выспрашивает, сплетничают, высокопарно говорят о мировой революции, хозяйка отряхивает яблоки, потому что все объели, секретарь военкома, длинный, с звонким голосом ходит, ищет пищу.

В штабе новые веяния — Шеко пишет особенные приказы, высокопарные и трескучие, но короткие и энергичные, подает свои мнения Реввоенсовету, действует по собственной инициативе.

Все грустят о Тимошенко, бунта не будет.

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде.

Иван Иванович — сидя на скамейке, говорит о днях, когда он тратил по 20 тысяч, по 30 тысяч. У всех есть золото, все набрали в Ростове, перекидывали через седло мешок с деньгами и пошел. Иван Иванович одевал и содержал женщин. Ночь, клуня, душистое сено, но воздух тяжелый, чем-то я придавлен, грустной бездумностью моей жизни.

7.8.20. Берестечко

Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят — красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, беспрерывная рвота, истекла. И главное у евреев — красавица, такой в местечке не было.

Памятный день. Утром — из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец — и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.

Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.

Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется — казаки против поляков, больше — хлоп против пана.

Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100—200 лет, население крепче, чем в других местах, главное — архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить — ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан — кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.

Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раска-

ленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера — идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.

Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич — я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича — вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня — книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще — он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки — умора. Это очень смешное существо.

Ужасное событие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное — эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.

Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару. Графский старинный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери,

французские письма 1820 года, notre petit héros acheve 7 semaines[1]. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать — графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?

8.8.20. Берестечко

Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно не существующими деньгами. Здесь жизнь била ключом — евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграницы.

Необыкновенные сараи, подземелья.

Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает «Журнал для всех» и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.

Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.

Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шамесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.

---

[1] Нашему маленькому герою исполняется 7 недель *(фр.)*.

Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом — мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ю дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.

Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.

Панихида тихого старика по внучке.

Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.

9.8.20. Лашков

Переезд из Берестечко в Лашков, Галиция. Экипаж начдива, ординарец начдива Лёвка — тот самый, что цыганит и гоняет лошадей. Рассказ о том, как он плетил соседа Степана, бывшего стражником при Деникине, обижавшего население, возвратившегося в село. «Зарезать» не дали, в тюрьме били, разрезали спину, прыгали по нему, танцевали, эпический разговор: хорошо тебе, Степан? Худо. А тем, кого ты обижал, хорошо было? Худо было. А думал ты, что и тебе худо будет? Нет, не думал. А надо было подумать, Степан, вот мы думаем, что ежели попадемся, то зарежете, ну да м. и., а теперь, Степан, будем тебя убивать. Оставили чуть теплого. Другой рассказ о сестре милосердия Шурке. Ночь, бой, полки строятся, Лёвка в фаэтоне, сожитель Шуркин тяжело ранен, отдает Лёвке лошадь, они отвозят раненого, возвращаются к бою. Ах, Шура, раз жить, раз помирать. Ну да ладно. Она была в заведении в Ростове, скачет в строю на лошади, может отпустить пятнадцать. А теперь, Шурка, поедем, отступаем, лошади запутались в проволоке, проскакал 4 версты, село, сидит, рубит проволоку, проходит полк, Шура выезжает из рядов, Лёвка готовит ужинать, жрать охота, поужинали, поговорили, идем, Шура, еще разок. Ну ладно. А где?

Ускакала за полком, пошел спать. Если жена приедет — убью.

Лашков — зеленое, солнечное, тихое, богатое галицийское село. Живу у дьякона. Жена только что родила.

Придавленные люди. Чистая, новая хата, а в хате ничего. Рядом типичные галицийские евреи. Думают — не еврей ли? Рассказ — ограбили, обрубил голову двум курицам, нашел вещи в клуне, выкопал из-под земли, согнал всех в хату, обычная история, запомнить мальчика с бакенбардами. Рассказывают мне, что главный раввин живет в Бельзе, поистребили раввинов.

Отдыхаем, в моем палисаднике 1-й эскадрон. Ночь, у меня на столе лампочка, тихо фыркают лошади, здесь все кубанцы, вместе едят, спят, варят, великолепное, молчаливое содружество. Все они мужиковаты, по вечерам полными голосами поют песни, похожие на церковные, преданность коням, небольшие кучки — седло, уздечка, расписная сабля, шинель, я сплю, окруженный ими.

Сплю днем на поле. Операций нет, какая это прекрасная и нужная вещь — отдых. Кавалерия, кони отходят от этой нечеловеческой работы, люди отходят от жестокости, вместе живут, поют песни тихими голосами, что-то друг дружке рассказывают.

Штаб в школе. Начдив у священника.

10.8.20. Лашков

Отдых продолжается. Разведка на Радзихов, Соколовку, Стоянов, всё к Львову. Получено известие, что взят Александровск, в международном положении гигантские осложнения, неужели будем воевать со всем светом?

Пожар в селе. Горит клуня священника. Две лошади, бившиеся что есть мочи, сгорели. Лошадь из огня не выведешь. Две коровы удрали, у одной потрескалась кожа, из трещин — кровь, трогательно и жалко.

Дым обволакивает все село, яркое пламя, черные пухлые клубы дыма, масса дерева, жарко лицу, все вещи из поповского дома, из церкви выбрасывают в палисадник. Апанасенко в красном казакине, в черной бурке, гладко выбритое лицо — страшное явление, атаман.

Наши казаки, тяжкое зрелище, тащут с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, странные раскрашенные бело-розовые, бело-голубые фигурки, уродливые, плосколицые, китайские или буддийские, масса бумажных цветов, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегает босичком, каждый садится у своей хаты с ведром. Они

апатичны, прибиты, нечувствительны — необычайно, они бросились бы даже тушить. С воровством удалось совладать — солдаты, как хищные, затрудненные звери ходят вокруг батюшкиных чемоданов, говорят, там золото, у попа можно взять, портрет графа Андрея Шептицкого, митрополита Галицкого. Мужественный магнат с черным перстнем на большой и породистой руке. У старого священника, 35 лет прослужившего в Лашкове, трепещет все время нижняя губа, он рассказывает мне о Шептицком, тот не «выхован» в польском духе, из русинских вельмож, «граф на Шептицах», потом ушли к полякам, брат — главнокомандующий польскими войсками, Андрей вернулся к русинам. Своя давняя культура, тихая и прочная. Хороший интеллигентный батюшка, припасший мучку, курицу, хочет поговорить об университетах, о русинах, несчастный, у него живет Апанасенко в красном казакине.

Ночью — необыкновенное зрелище, ярко догорает шоссе, моя комната освещена, я работаю, горит лампочка, покой, душевно поют кубанцы, их тонкие фигуры у костров, песни совсем украинские, лошади ложатся спать. Иду к начдиву. Мне о нем рассказывает Винокуров — партизан, атаман, бунтарь, казацкая вольница, дикое восстание, идеал — Думенко, сочащаяся рана, надо подчиняться организации, смертельная ненависть к аристократии, попам и, главное, к интеллигенции, которую он в армии не переваривает. Институт он кончит — Апанасенко, чем не времена Богдана Хмельницкого?

Глубокая ночь. 4 часа.

11.8.20. Лашков

День работы, сидение в штабе, пишу до усталости, день покоя. К вечеру дождь. У меня в комнате ночуют кубанцы, странно — смирные и воинственные, домовитые и немолодые крестьяне ясного украинского происхождения.

О кубанцах. Содружество, всегда своей компанией, под окном ночью и днем фыркают кони, великолепный запах навоза, солнца, спящих казаков, два раза в день варят огромные ведра похлебки и мясо. Ночью кубанцы в гостях. Беспрерывный дождь, они сушатся и ужинают у меня в комнате. Религиозный кубанец в мягкой шляпе, бледное лицо, светлые усы. Они истовы, дружественны, дики, но как-то более привлекательны, домовиты, меньше ругатели, спокойнее, чем донцы и ставропольцы.

Сестра приехала, как все ясно, это надо описать, она стерта, хочет уезжать, там все были — комендант, эти по крайней мере говорят, Яковлев, и ужас, Гусев. Она жалка, хочет уходить, грустна, говорит непонятно, хочет о чем-то со мною поговорить и смотрит на меня доверчивыми глазами, мол, я друг, а остальные, остальные слезни (?). Как быстро уничтожили человека, принизили, сделали некрасивым. Она наивна, глупа, восприимчива даже к революционной фразе, и чудачка много говорит о революции, служила в Культпросвете ЧК, сколько мужских влияний.

Интервью с Апанасенко. Это очень интересно. Это надо запомнить. Его тупое, страшное лицо, крепкая сбитая фигура, как у Уточкина.

Его ординарцы (Лёвка), статные золотистые кони, прихлебатели, экипажи, приемыш Володя — маленький казак со старческим лицом, ругается, как большой.

Апанасенко — жаден к славе, вот он — новый класс. Несмотря на все оперативные дела — отрывается и каждый раз возвращается снова, организатор отрядов, просто против офицерства, 4 Георгия, службист, унтер-офицер, прапорщик при Керенском, председатель полкового комитета, срывал погоны у офицеров, длинные месяцы в астраханских степях, непререкаемый авторитет, профессионал военный.

Об атаманах, их там много было, доставали пулеметы, дрались со Шкуро и Мамонтовым, влились в Красную Армию, героическая эпопея. Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть Апанасенки к богатым, к интеллигентам, неугасимая ненависть.

Ночь с кубанцами, дождь, душно, какая-то странная чесотка у меня.

12.8.20. Лашков

Четвертый день в Лашкове. Необычайно забитая галицийская деревня. Жили лучше русских, хорошие дома, много добропорядочности, уважение к священникам, честны, но обескровлены, сваренный ребенок у моих хозяев, как он родился и зачем он родился, в матери ни кровинки, где-то что-то беспрерывно скрывают, где-то хрюкают свиньи, где-то, вероятно, спрятано сукно.

Свободный день, хорошее дело — корреспондентство, ежели его не запускать.

Надо писать в газету и жизнеописание Апанасенки.

Дивизия отдыхает — какая-то тишина на сердце и люди лучше — песни, костры, огонь в ночи, шутки, счастливые, апатичные кони, кто-то читает газету, походка вразвалку, куют лошадей. Как все это выглядит. Уезжает в отпуск Соколов, даю ему письмо домой.

Пишу — все о трубках, о давно забытых вещах, Бог с ней, с революцией, туда и надо устремиться.

Не забыть бы священника в Лашкове, плохо бритый, добрый, образованный, может быть, корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка, дом его, хорошо жил, смешливые гравюрки.

Трения военкома с начдивом, тот встал и вышел с Книгой в то время, когда Яковлев, начподив, делал доклад, Апанасенко пришел к военкому.

Винокуров — типичный военком, гнет свою линию, хочет исправлять 6-ю дивизию, борьба с партизанщиной, тяжелодум, морит меня речами, иногда груб, всем на «ты».

13.8.20. Нивица

Ночью приказ — двигаться на Буск — 35 верст восточнее Львова.

Утром выступаем. Все три бригады сосредоточены в одном месте. Я на Мишиной лошади, научилась бежать, но шагом не идет, трусит ужасно. Целый день на коне с начдивом. Хутор Порады. В лесу 4 неприятельских аэроплана, пальба залпами. Три комбрига — Колесников, Корачаев, Книга. Василий Иванович хитрит, пошел на Топоров в обход (Чаныз), нигде не встретил неприятеля. Мы на хуторе Порады, разбитые хаты, извлекаю из люка старуху, голубцы. Вместе с наблюдателем на батарее. Наша атака у леска.

Беда — болото, каналы, негде развернуться кавалерии, атаки в пешем строю, вялость, падает ли мораль? Упорный бой и все же легкий (по сравнению с империалистической бойней) под Топоровом, берут с трех сторон, не могут взять, ураганный огонь нашей артиллерии из двух батарей.

Ночь. Все атаки не удались. На ночь — штаб переезжает в Нивица. Густой туман, пронзительный холод, лошадь, дорога лесами, костры и свечи, сестры на тачанках, тяжелый путь после дня тревог и конечной неудачи.

Целый день по полям и лесам. Интереснее всех — начдив, усмешка, ругань, короткие возгласы, хмыканья, пожимает плечами, нервничает, ответственность за все, страстность, если бы он там был, все было бы хорошо.

Что запомнилось? Езда ночью, визг баб в Порадах, когда у них начали (прервал писанье, в 100 шагах разорвались две бомбы, брошенные с аэроплана. Мы у опушки леса с запада ст. Майданы) брать белье, наша атака, что-то невидное, нестрашное издали, какие цепочки, всадники ездят по лугу, издалека все это совершается неизвестно для чего, все это не страшно.

Когда вплотную подошли к местечку, началась горячка, момент атаки, момент, когда берут город, тревожная, лихорадочная, возрастающая, доводящая до отчаяния безнадежности трескотня пулеметов, беспрерывные разрывы и над всем этим — тишина сверху и ничего не видно.

Работа штаба Апанасенко — каждый час донесения командарму, выслуживается.

Озябшие, усталые приехали в Нивицу. Теплая кухня. Школа.

Пленительная жена учителя, националистка, какое-то внутреннее веселье в ней, расспрашивает, варит нам чай, защищает свою мову, ваша мова хорошая и наша мова, и все смех в глазах. И это в Галиции, хорошо, давно я этого не слышал. Сплю в классе, на соломе рядом с Винокуровым.

Насморк.

14.8.20

Центр операций — взятие Буска и переправа через Буг. Целый день атака на Топоров, нет отставили. Опять нерешительный день. Опушка леса у ст. Майданы. Противником взят Лопатин.

К вечеру выбили. Снова Нивица. Ночевка у старухи, двор вместе со штабом.

15.8.20

Утром в Топорове. Бои у Буска. Штаб в Буске. Форсировать Буг. Пожар на той стороне. Буденный в Буске.

Ночевка в Яблоновке с Винокуровым.

16.8.20

К Ракобутам, бригада переправилась.

Еду опрашивать пленных.

Снова в Яблоновке. Выступаем на Н. Милатин, ст. Милатин, паника, ночевка в странноприимнице.

17.8.20

Бои у железной дороги, у Лисок. Рубка пленных. Ночевка в Задвурдзе.

18.8.20

Не имел времени писать. Выступили. Выступили 13.8. С тех пор передвижения, бесконечные дороги, флажок эскадрона, лошади Апанасенки, бои, фермы, трупы. Атака на Топоров в лоб, Колесников в атаку, болото, я на наблюдательном пункте, к вечеру ураганный огонь из двух батарей. Польская пехота сидит в окопах, наши идут, возвращаются, коноводы ведут раненых, не любят казаки в лоб, проклятый окоп дымится. Это было 13-го. День 14-го — дивизия двигается к Буску, должна достигнуть его во что бы то ни стало, к вечеру подошли верст на десять. Там надо произвести главную операцию — переправиться через Буг. Одновременно ищут брода.

Чешская ферма у Адамы, завтрак в экономии, картошка с молоком, Сухоруков, держащийся при всех режимах, ж — му, ему подпевает Суслов, всякие Лёвки. Главное — темные леса, обозы в лесах, свечи над сестрами, грохот, темпы передвижения. Мы на опушке леса, кони жуют, герои дня аэропланы, авдеятельность все усиливается, атака аэропланов, беспрерывно курсируют по 5—6 штук, бомбы в 100 шагах, у меня пепельный мерин, отвратительная лошадь. В лесу. Интрига с сестрой. Апанасенко сделал ей с места в карьер гнусное предложение, она, как говорят, ночевала, теперь говорит о нем с омерзением, но ей нравится Шеко, а она нравится военкомдиву, который маскирует свой интерес к ней тем, что она, мол, беззащитна, нет средств передвижения, нет защитников. Она рассказывает, как за ней ухаживал Константин Карлович, кормил, запрещал писать ей письма, а писали ей бесконечно. Яковлев ей страшно нравился, начальник регистрационного отдела, белокурый мальчик в красной фуражке, просил руку и сердце и рыдал, как дитя. Была еще какая-то история, но я об ней ничего не узнал. Эпопея с сестрой — и главное, о ней много говорят и ее все презирают, собственный кучер не разговаривает с ней, ее ботиночки, переднички, она оделяет, книжки Бебеля.

Женщина и социализм.

О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыль-

ные, толстогрудые, все б...., но товарищи, и б.... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащут сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи и у населения.

Нервность Апанасенки, его ругня, есть ли это сила воли?

Ночь снова в Нивице, сплю где-то на соломе, потому что ничего не помню, все на мне порвано, тело болит, СТО верст на лошади.

Ночую с Винокуровым. Его отношения к Иванову. Что такое этот прожорливый и жалкий высокий юноша с мягким голосом, увядшей душой, острым умом. Военком с ним невыносимо груб, беспрерывно матом, ко всему придирается, что же ты, и мат, не знаешь, не сделал, собирай манатки, выгоню я тебя.

Надо проникнуть в душу бойца, проникаю, все это ужасно, зверье с принципами.

За ночь 2-я бригада ночным налетом взяла Топоров. Незабываемое утро. Мы мчимся на рысях. Страшное, жуткое местечко, евреи у дверей как трупы, я думаю, что еще с вами будет, черные бороды, согбенные спины, разрушенные дома, тут же ⟨нрзб⟩, остатки немецкой благоустроенности, какое-то невыразимое привычное и горячее еврейское горе. Тут же монастырь. Апанасенко сияет. Проходит вторая бригада. Чубы, костюмы из ковров, красные кисеты, короткие карабины, начальники на статных лошадях, буденновская бригада. Смотр, оркестры, здравствуйте, сыны революции, Апанасенко сияет.

Из Топорова — леса, дороги, штаб у дороги, ординарцы, комбриги, мы влетаем на рысях в Буск, в его восточную половину. Какое очаровательное место (18-го летит аэроплан, сейчас будет бросать бомбы), чистые еврейки, сады, полные груш и слив, сияющий полдень, занавески, в домах остатки мещанской, чистой и, может быть, честной простоты, зеркала, мы у толстой галичанки, вдовы учителя, широкие диваны, много слив, усталость невыносимая от перенапряжения (снаряд пролетел, не разорвался), не мог уснуть, лежал у стены рядом с лошадьми и вспоминал пыль дороги и ужас обозной толкотни, пыль — величественное явление нашей войны.

Бой в Буске. Он на той стороне моста. Наши раненые. Красота — там горит местечко. Еду к переправе — острое ощущение боя, надо пробегать кусок дороги, потому что он обстреливает, ночь, пожар сияет, лошади стоят под

хатами, идет совещание с Буденным, выходит Реввоенсовет, чувство опасности, Буск в лоб не взяли, прощаемся с толстой галичанкой и едем в Яблоновку глубокой ночью, кони едва идут, ночуем в дыре, на соломе, начдив уехал, дальше у меня и военкома нету сил.

1-я бригада нашла брод и переправилась через Буг у Поборжаны. Утром с Винокуровым на переправу. Вот он Буг, мелкая речушка, штаб на холме, я измучен дорогой, меня отправляют обратно в Яблоновку допрашивать пленных. Беда. Описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать надо далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

Допрос пленных в Яблоновке. Люди в нижнем белье, есть евреи, белокурые полячки, истомленные, интеллигентный паренек, тупая ненависть к ним, залитое кровью белье раненого, воды не дают, один толстоморденький тычет мне документы. Счастливцы — думаю я,— как вы ушли. Они окружают меня, они рады звуку моего благожелательного голоса, несчастная пыль, какая разница между казаками и ими, жила тонка.

Из Яблоновки еду обратно на тачанке в штаб. Опять переправа, бесконечные переправляющиеся обозы (они не ждут ни минуты, вслед за наступающими частями) грузнут в реке, рвутся постромки, пыль душит, галицийские деревни, мне дают молоко, в одной деревне обед, только что оттуда ушли поляки, все спокойно, деревня замерла, зной, полуденная тишина, в деревне никого, изумительно то, что здесь такая ничем не возмутимая тишина, свет, покой — как будто фронта и в 100 верстах нету. Церкви в деревнях.

Дальше неприятель. Два голых зарезанных поляка с маленькими лицами порезанными сверкают во ржи на солнце.

Возвращаемся в Яблоновку, чай у Лепина, грязь, Черкашин унижает его и хочет бросить, если присмотреться, лицо у Черкашина страшное, в его прямой, высокой как палка фигуре угадывается мужик — и пьяница, и вор, и хитрец.

Лепин — грязен, туп, обидчив, непонятен.

Длинный нескончаемый рассказ красивого Базкунова, отец, Нижний Новгород, заведующий химотделом, Красная Армия, деникинский плен, биография русского юноши, отец — купец, был изобретателем, торговал с ресторанами московскими. В течение всего пути толковал с ним. Это мы едем на Милатин, по дороге — сливы. В ст. Милатине церковь, квартира ксендза, ксендз в роскошной квартире —

это незабываемо,— он ежеминутно жмет мне руку, отправляется хоронить мертвого поляка, приседает, спрашивает — хороший ли начальник, лицо типично иезуитское, бритое, серые глаза бегают и как это хорошо, плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули телку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски. Квартиру не забыть, какие-то безделушки, приятная темнота, иезуитская, католическая культура, чистые женщины и благовоннейший и растревоженный патер, против него монастырь. Мне хочется остаться. Ждем решения — где остаться — в старом или новом Милатине. Ночь. Паника. Какие-то обозы, где-то поляки прорвались, на дороге столпотворение вавилонское, обозы в три ряда, я в Милатинской школе, две красивые старые девы, мне стало страшно, как напомнили они мне сестер Шапиро из Николаева, две тихие интеллигентные галичанки, патриотки, своя культура, спальня, может быть, папильотки, в этом грохочущем, воюющем Милатине, за стенами обозы, пушки, отцы командиры рассказывают о подвигах, оранжевая пыль, клубы, монастырь ими заверчен. Сестры угощают меня папиросами, они вдыхают мои слова о том, что все будет великолепно — как бальзам, они расцвели, и мы по-интеллигентски заговорили о культуре.

Стук в дверь. Комендант зовет. Испуг. Едем в новый Милатин. *Н. Милатин.* С военкомом в странноприимнице, какое-то подворье, сараи, ночь, своды, прислужница ксендза, мрачно, грязно, мириады мух, усталость ни с чем не сравнимая, усталость фронта.

Рассвет, выезжаем, должны прорвать железную дорогу (все это происходит 17/VIII), железную дорогу Броды—Львов.

Мой первый бой, видел атаку, собираются у кустов, к Апанасенке ездят комбриги — осторожный Книга, хитрит, приезжает, забросает словами, тычут пальцами в бугры — по-под лесом, по-над лощиной, открыли неприятеля, полки несутся в атаку, шашки на солнце, бледные командиры, твердые ноги Апанасенко, ура.

Что было? Поле, пыль, штаб у равнины, неистово ругающийся Апанасенко, комбриг — уничтожить эту сволочь в ... бандяги.

Настроение перед боем, голод, жара, скачут в атаку, сестры.

Гремит ура, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво,

виляя, «мекая», ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты — я, мнется — вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу — Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.

Гонят пленных, их раздевают, странная картина — они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого «вроде» прапорщика, предательски убитого.

Впереди — вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился — рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко — не трать патронов, зарежь. Апанасенко говорит всегда — сестру зарезать, поляков зарезать.

Ночуем в Задвурдзе, плохая квартира, я у Шеко, хорошая пища, беспрерывные бои, я веду боевой образ жизни, совершенно измучен, мы стоим в лесах, кушать целый день нечего, приезжает экипаж Шеко, подвозит, часто на наблюдательном пункте, работа батарей, опушки, лощины, пулеметы косят, поляки главным образом защищаются аэропланами, они становятся грозными, описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета, паника в обозах, нервирует, беспрерывно планируют, скрываемся от них. Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитан Фонт-Ле-Ро во Львове, наши странствия по бригадам, Книга только в обход, Колесников в лоб, едем с Шеко в разведку, беспрерывные леса, смертельная опасность, на горках, перед атакой пули жужжат вокруг, жалкое лицо Сухорукова с саблей, мотаюсь за штабом, мы ждем донесений, а они двигаются, делают обходы.

Бои за Баршовице. После дня колебаний к вечеру поляки колоннами пробиваются к Львову. Апанасенко увидел и сошел с ума, он трепещет, бригады действуют всем, хотя

имеют дело с отступающими, и бригады вытягиваются нескончаемыми лентами, в атаку бросают 3 кавбригады, Апанасенко торжествует, хмыкает, пускает нового комбрига 3 Литовченко, взамен раненого Колесникова, видишь, вот они, иди и уничтожь, они бегут, корректирует действия артиллерии, вмешивается в приказания комбатарей, лихорадочное ожидание, думали повторить историю под Задвурдзе, не вышло. Болото с одной стороны, губительный огонь с другой. Движение на Остров, 6-я кавдивизия должна взять Львов с юго-восточной стороны.

Колоссальные потери в комсоставе: ранен тяжело Корочаев, убит его помощник — еврей убит, начальник 34-го полка ранен, весь комиссарский состав 31-го полка выбыл из строя, ранены все наштабриги, буденновские начальники впереди.

Раненые ползут на тачанках. Так мы берем Львов, донесения командарму пишутся на траве, бригады скачут, приказы ночью, снова леса, жужжат пули, нас сгоняет с места на место артогонь, тоскливая боязнь аэропланов, спеши тебя, будет разрыв, во рту скверное ощущение и бежишь. Лошадей нечем кормить.

Я понял — что такое лошадь для казака и кавалериста.

Спешенные всадники на пыльных горячих дорогах, седла в руках, спят как убитые на чужих подводах, везде гниют лошади, разговоры только о лошадях, обычай мены, азарт, лошади мученики, лошади страдальцы, об них — эпопея, сам проникся этим чувством — каждый переход больно за лошадь.

Визиты Апанасенко со свитой к Буденному. Буденный и Ворошилов на фольварке, сидят у стола. Рапорт Апанасенко, вытянувшись. Неудача особого полка — проектировали налет на Львов, вышли, в особом полку сторожевое охранение, как всегда, спало, его сняли, поляки подкатили пулемет на 100 шагов, изловили коней, поранили половину полка.

Праздник Спаса — 19 августа — в Баршовице, убиваемая, но еще дышащая деревня, покой, луга, масса гусей (с ними потом распорядились, Сидоренко или Егор рубят шашкой гусей на доске), мы едим вареного гуся, в тот день, белые, они украшают деревню, на зеленых (лугах), население праздничное, но хилое, призрачное, едва вылезшее из хижин, молчаливое, странное, изумленное и совсем согнутое.

В этом празднике есть что-то тихое и придавленное.

Униатский священник в Баршовице. Разрушенный, ис-

поганенный сад, здесь стоял штаб Буденного, и сломанный, сожженный улей, это ужасный варварский обычай — вспоминаю разломанные рамки, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья, их тревожные рои.

Священник объясняет мне разницу между униатством и православием. Шептицкий великий человек, ходит в парусиновой рясе. Толстенький человек, черное, пухлое лицо, бритые щеки, блестящие глазки с ячменем.

Продвижение к Львову. Батареи тянутся все ближе. Малоудачный бой под Островом, но все же поляки уходят. Сведения об обороне Львова — профессора, женщины, подростки. Апанасенко будет их резать — он ненавидит интеллигенцию, это глубоко, он хочет аристократического по-своему, мужицкого, казацкого государства.

Прошла неделя боев — 21 августа наши части в 4-х верстах у Львова.

Приказ — всей Конармии перейти в распоряжение запфронта. Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление. Снимают армию, стоящую в 4-х верстах от города, которого добивались столько времени. Нас заменит 14-я армия. Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией? 45-верстный переход из Баршовице в Адамы будет мне памятен всю жизнь. Я на своей пегой лошаденке, Шеко в экипаже, зной и пыль, пыль из Апокалипсиса, удушливые облака, бесконечные обозы, идут все бригады, облака пыли, от которых нет спасения, страшно задыхаешься, кругом грай, движение, уезжаю с эскадроном по полям, теряем Шеко, начинается самое страшное, езда на моем непоспевающем коньке, бесконечно едем и все рысью, я выматываюсь, эскадрон хочет обогнать обозы, обгоняем, боюсь отстать, лошадь идет как пух, по инерции, идут все бригады, вся артиллерия, оставили для заслона по одному полку, которые должны присоединиться к дивизии с наступлением темноты. Проезжаем ночью через мертвый, тихий Буск. Что особенного в галицийских городах? Смешение грязного и тяжелого Востока (Византии и евреев) с немецким пивным Западом. От Буска 15 км. Я не выдержу. Меняюсь лошадьми. Оказывается, нет покрышки на седле. Ехать мучительно. Каждый раз я принимаю другую позу. Привал в Козлове. Темная изба, хлеб с молоком. Какой-то крестьянин, мягкий и приветливый человек, был военнопленным в Одессе, я лежу на лавке, заснуть нельзя, на мне чужой френч, лошади во тьме, в избе душно, дети на полу. Приехали в Адамы в 4 часа ночи. Шеко спит. Я ставлю где-то лошадь, сено есть, и ложусь спать.



21.8.20. Адамы

Испуганные русины. Солнце. Хорошо. Я болен. Отдых. Днем всё в клуне, сплю, к вечеру лучше, ломит голова, болит. Я у Шеко живу. Холуй наштадива, Егор. Едим хорошо. Как мы добываем пищу. Воробьев принял 2-й эскадрон. Солдаты довольны. В Польше, куда мы идем, можно не стесняться, с галичанами, ни в чем не повинными, надо было осторожнее, отдыхаю, не сижу на седле.

Разговор с комартдивизионом Максимовым, наша армия идет зарабатывать, не революция, а восстание дикой вольницы.

Это просто средство, которым не брезгует партия.

Два одессита — Мануйлов и Богуславский, опрвоенком авиации, Париж, Лондон, красивый еврей, болтун, статья в европейском журнале, помнаштадив, евреи в Конармии, я ввожу их в корень. Одет во френч — излишки одесской буржуазии, тяжкие сведения об Одессе. Душат. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме.

Прихлебательствую.

Апанасенко написал письмо польским офицерам. Бандяги, прекратите войну, сдайтесь, а то всех порубим, паны. Письмо Апанасенки на Дон, Ставрополь, там чинят затруднения бойцам, сыны революции, мы герои, мы неустрашимые, идем вперед.

Описание отдыха эскадрона, визг свиней, тащут курей, агенты, туши на площади. Стирают белье, молотят овес, скачут со снопами, лошади, помахивая ушами, жрут овес. Лошадь это всё. Имена: Степан, Миша, братишка, старуха. Лошадь — спаситель, это чувствует каждую минуту, однако избить может нечеловечески. За моей лошадью никто не ухаживает. Слабо ухаживают.

22.8.20. Адамы

У Мануйлова — помнаштадив — болит живот. Конечно. Служил у Муравьева, чрезвычайка, что-то военно-следственное, буржуй, женщины, Париж, авиация, что-то с репута-

цией, и он коммунист. Секретарь Богуславский — испуганно молчит и ест.

Спокойный день. Движение дальше на север.

Живу с Шеко. Ничего не могу делать. Устал, разбит. Сплю и ем. Как мы едим. Система. Каптёры, фуражиры, ничего не дают. Прибытие красноармейцев в деревню, обшаривают, варят, всю ночь трещат печи, страдают хозяйские дочки, визг свиней, к военкому с квитанциями. Жалкие галичане.

Эпопея — как мы едим. Хорошо — свиньи, куры, гуси. «Барахольщики», «молошники» те, которые отстают.

23—24.8.20. Витков

Переезд в Витков на подводе. Институт обывательских подвод, несчастные обыватели, их мотают по две-три недели, отпускают, дают пропуск, другие солдаты перехватывают, снова мотают. Случай — при нас приехал мальчик из обоза. Ночь. Радость матери.

Идем в район Красностав — Люблин. Взяли армию, находившуюся в 4-х верстах от Львова. Кавалерия не могла взять.

Дорога в Витков. Солнце. Галицийские дороги, нескончаемые обозы, заводные лошади, разрушенная Галиция, евреи в местечках, уцелевшая ферма где-нибудь, чешская, предположим, налет на неспелые яблоки, на пасеки.

О пасеках подробно в другой раз.

В дороге, на телеге, думаю, тоскую о судьбах революции.

Местечко особенное, построенное после разрушения по одному плану, белые домики, деревянные высокие крыши, тоска.

Живем с помнаштадивами, Мануйлов ничего не понимает в штабном деле, муки с лошадьми, никто не дает, едем на обывательских подводах, у Богуславского сиреневые кальсоны, в Одессе успех у девочек.

Солдаты просят спектакля. Их кормят — «Денщик подвел».

Ночь наштадива — где 33-й полк, где пошла 2-я бригада, телефон, армприказ комбригу 1, 2, 3!

Дежурные ординарцы. Устройство эскадронов, командиры эскадронов — Матусевич и бывший комендант Воробьев, неизменно веселый и, кажется, глупый человек.

Ночь наштадива — Вас просят к начдиву.

25.8.20. Сокаль

Наконец город. Проезжаем местечко Тартакув, евреи, развалины, чистота еврейского типа, раса, лавчонки.

Я все еще болен, не могу опомниться от львовских боев. Какой спертый воздух в этих местечках. В Сокале была пехота, город нетронут, наштадив у евреев. Книги, я увидел книги. Я у галичанки, богатой к тому же, едим здорово, курицу в сметане.

Еду на лошади в центр города, чисто, красивые здания, все загажено войной, остатки чистоты и своеобразия.

Революционный комитет. Реквизиции и конфискации. Любопытно: крестьянство не трогают совершенно. Все земли в его распоряжении. Крестьянство в стороне.

Объявления революционного комитета.

Сын хозяина — сионист и ein angesprochener Nationalist[1]. Обычная еврейская жизнь. Они тяготеют к Вене, к Берлину, племянник, молодой юноша, занимается философией и хочет поступить в университет. Едим масло и шоколад. Конфеты.

У Мануйлова трения с наштадивом. Шеко посылает его к...

У меня самолюбие, ему не дают спать, нет лошади, вот тебе Конармия, здесь не отдохнешь. Книги — polnische, juden[2].

Вечером — начдив в новой куртке, упитанный, в разноцветных штанах, красный и тупой, развлекается — музыка ночью, дождь разогнал. Идет дождь, мучительный галицийский дождь, сыпет и сыпет, бесконечно, безнадежно.

Что делают в городе наши солдаты? Темные слухи.

Богуславский изменил Мануйлову. Богуславский раб.

26.8.20. Сокаль

Осмотр города с молодым сионистом. Синагоги — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет назад, бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет тому назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Белзского раввина, знаменитый Белзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики, Белзская

[1] Речистый националист *(нем.)*.
[2] Польские, еврейские *(нем.)*.

синагога — видение старины. Евреи просят воздействовать, чтобы их не разоряли, забирают пищу и товары.

Жиды всё прячут. Сапожник, сокальский сапожник, пролетарий. Фигура подмастерья, рыжий хасид — сапожник.

Сапожник ждал Советскую власть — он видит жидоедов и грабителей, и не будет заработку, он потрясен и смотрит недоверчиво. Неразбериха с деньгами. Собственно говоря, мы ничего не платим, 15—20 рублей. Еврейский квартал. Неописуемая бедность, грязь, замкнутость гетто.

Лавчонки, все открыты, мел и смола, солдаты рыщут, ругают жидов, шляются без толку, заходят в квартиры, залезают под стойки, жадные глаза, дрожащие руки, необыкновенная армия.

Организованное ограбление писчебумажной лавки, хозяин в слезах, всё рвут, какие-то требования, дочка с западно-европейской выдержкой, но жалкая и красная, отпускает, получает какие-то деньги и магазинной своей вежливостью хочет доказать, что все идет как следует, только слишком много покупателей. Хозяйка от отчаяния ничего не соображает.

Ночью будет грабеж города — это все знают.

Вечером музыка — начдив развлекается. Утром он писал письма на Дон и Ставрополь. Фронту невмоготу выносить безобразия тыла. Вот пристал!

Холуи начдива водят взад и вперед статных коней с нагрудниками и нахвостниками.

Военком и сестра. Русский человек — хитрый мужичок, грубый, иногда наглый и путаный. Он о сестре высокого мнения, выщупывает меня, выспрашивает, он влюблен.

Сестра идет прощаться к начдиву, это после всего, что было. С ней спали все. Хам Суслов в смежной комнате — начдив занят, чистит револьвер.

Получаю сапоги и белье. Сухоруков получал, сам распределял, это обер-холуй, описать.

Разговор с племянником, который хочет в университет.

Сокаль — маклера и ремесленники, коммунизм, говорят мне, вряд ли здесь привьется.

Какие раздерганные, замученные люди.

Несчастная Галиция, несчастные евреи.

У моего хозяина — 8 голубей.

У Мануйлова острый конфликт с Шеко, у него в прошлом много грехов. Киевский авантюрист. Приехал разжалованный из наштабригов 3.

Лепин. Темная, страшная душа.

Сестра — 26 и 1.

27.8.20

Бои у Знятыня, Длужнова. Едем на северо-запад. Полдня в обозе. Движение на Лащов, Комаров. Утром выехали из Сокаля. Обычный день — с эскадронами, начдивом мотаемся по лесам и полянам, приезжают комбриги, солнце, 5 часов не слезал с лошади, проходят бригады. Обозная паника. Оставил обозы у опушки леса, поехал к начдиву. Эскадроны на горе. Донесения командарму, канонада, аэропланов нет, переезжаем с места на место, обычный день. К ночи тяжкая усталость, ночуем в Василов. Назначенного пункта — Лащова не достигли.

В Василове или поблизости 11-я дивизия, столпотворение, Бахтуров — малюсенькая дивизия, он несколько поблек, 4-я дивизия ведет успешные бои.

28.8.20. Комаров

Из Василова выехал на 10 минут позже эскадронов. Еду с тремя всадниками. Бугры, поляны, разрушенные экономии, где-то в зелени красные колонны, сливы. Стрельба, не знаем, где противник, вокруг нас никого, пулеметы стучат совсем близко и с разных сторон, сердце сжимается, вот так каждый день отдельные всадники ищут штабы, возят донесения. К полудню нашел в опустошенной деревне, где в льохи[1] спрятались все жители, под деревьями, покрытыми сливами. Еду с эскадроном. Вступаем с начдивом, красный башлык, в Комаров. Недостроенный великолепный красный костел. До того, как вступили в Комаров, после стрельбы — ехал один — тишина, тепло, ясный день, какое-то странное прозрачное спокойствие, душа побаливает, один, никто не надоедает, поля, леса, волнистые долины, тенистые дороги.

Стоим против костела.

Приезд Ворошилова и Буденного. Ворошилов разносит при всех, недостаток энергии, горячится, горячий человек, бродило всей армии, ездит и кричит, Буденный молчит, улыбается, белые зубы. Апанасенко защищается, зайдем в квартиру, почему, кричит, выпускаем противника, нет соприкосновения, нет удара.

Апанасенко не годится?

Аптекарь, предлагающий комнату. Слух об ужасах. Иду в местечко. Невыразимый страх и отчаяние.

Мне рассказывают. Скрытно в хате, боятся, чтобы не

[1] Погреб, подвал *(укр.)*.

вернулись поляки. Здесь вчера были казаки есаула Яковлева. Погром. Семья Давида Зиса, в квартирах, голый, едва дышащий старик пророк, зарубленная старуха, ребенок с отрубленными пальцами, многие еще дышат, смрадный запах крови, все перевернуто, хаос, мать над зарубленным сыном, старуха, свернувшаяся калачиком, 4 человека в одной хижине, грязь, кровь под черной бородой, так в крови и лежат. Евреи на площади, измученный еврей, показывающий мне все, его сменяет высокий еврей. Раввин спрятался, у него все разворочено, до вечера не вылез из норы. Убито человек 15 — Хусид Ицка Галер — 70 лет, Давид Зис — прислужник в синагоге — 45 лет, жена и дочь — 15 лет, Давид Трост, жена — резник.

У изнасилованной.

Вечером — у хозяев, казенный дом, суббота вечером, не хотели варить, до тех пор пока не прошла суббота.

Ищу сестер, Суслов смеется. Еврейка докторша.

Мы в странном старинном доме, когда-то здесь все было — масло, молоко.

Ночью — обход местечка.

Луна, за дверьми, их жизнь ночью. Вой за стенами. Будут убирать. Испуг и ужас населения. Главное — наши ходят равнодушно и пограбливают где можно, сдирают с изрубленных.

Ненависть одинаковая, казаки те же, жестокость та же, армии разные, какая ерунда. Жизнь местечек. Спасения нет. Все губят — поляки не давали приюту. Все девушки и женщины едва ходят. Вечером — словоохотливый еврей с бороденкой, имел лавку, дочь бросилась от казака со второго этажа, переломала себе руки, таких много.

Какая мощная и прелестная жизнь нации здесь была. Судьба еврейства. У нас вечером, ужин, чай, я сижу и пью слова еврея с бороденкой, тоскливо спрашивающего — можно ли будет торговать.

Тяжкая, беспокойная ночь.

29.8.20. Комаров, Лабуне, Пневск

Выезд из Комарова. Ночью наши грабили, в синагоге выбросили свитки Торы и забрали бархатные мешки для седел. Ординарец военкома рассматривает тефилии, хочет забрать ремешки. Евреи угодливо улыбаются. Это — религия.

Все с жадностью смотрят на недобранное, ворошат кости и развалины. Они пришли для того, чтобы заработать.

Захромала моя лошадь, беру лошадь наштадива, хочу поменять, я слишком мягок, разговор с солтысом[1], ничего не выходит.

Лабуне. Водочный завод. 8 тысяч ведер спирта. Охрана. Идет дождь пронизывающий, беспрерывный. Осень, все к осени. Польская семья управляющего. Лошади под навесом, красноармейцы, несмотря на запрет, пьют. Лабуне — грозная опасность для армии.

Все таинственно и просто. Люди молчат, и ничего не заметно как будто. О, русский человек. Все дышит тайной и грозой. Смирившийся Сидоренко.

Операция на Замостье. Мы в 10 верстах от Замостье. Там спрошу об Р. Ю.

Операция, как всегда, несложна, обойти с запада и с севера и взять. Тревожные новости с запфронта. Поляки взяли Белосток.

Дальше едем. Разграбленное поместье Кулагковского у Лабуньки. Белые колонны. Пленительное, хоть и барское устройство. Разрушение невообразимое. Настоящая Польша — управляющие, старухи, белокурые дети, богатые, полуевропейские деревни с солтысом, войтом[2], все католики, красивые женщины. В имении тащут овес. Кони в гостиной, вороные кони. Что же — спрятать от дождя. Драгоценнейшие книги в сундуке, не успели вывезти — конституция, утвержденная сеймом в начале 18-го века, старинные фолианты Николая I, свод польских законов, драгоценные переплеты, польские манускрипты 16-го века, записки монахов, старинные французские романы.

Наверху не разрушение, а обыск, все стулья, стены, диваны распороты, пол выВернут, не разрушали, а искали. Тонкий хрусталь, спальня, дубовые кровати, пудреница, французские романы на столиках, много французских и польских книг о гигиене ребенка, интимные женские принадлежности разбиты, остатки масла в масленице, молодожены?

Отстоявшаяся жизнь, гимнастические принадлежности, хорошие книги, столы, банки с лекарствами — все исковеркано святотатственно. Невыносимое чувство, бежать от вандалов, а они ходят, ищут, передать их поступь, лица, шляпы, ругань — гад, в Бога мать, Спаса мать, по непролазной грязи тащут снопы с овсом.

---

[1] Сельский староста *(польск.)*.

[2] Староста, городской голова *(польск.)*.

Подходим к Замостью. Страшный день. Дождь — победитель не затихает ни на минуту. Лошади едва вытягивают. Описать этот непереносимый дождь. Мотаемся до глубокой ночи. Промокли до нитки, устали, красный башлык Апанасенки. Обходим Замостье, части в 3—4 верстах от него. Не подпускают бронепоезда, кроют нас артогнем. Мы сидим на полях, ждем донесений, несутся мутные потоки. Комбриг Книга в хижине, донесение. Отец командир. Ничего не можем сделать с бронепоездами. Выяснилось, что мы не знали, что здесь есть железная дорога, на карте не отмечена, конфуз, вот наша разведка.

Мотаемся, все ждем, что возьмут Замостье. Черта с два. Поляки дерутся все лучше. Лошади и люди дрожат. Ночуем в Пневске. Польская ладная крестьянская семья. Разница между русскими и поляками разительна. Поляки живут чище, веселее, играют с детьми, красивые иконы, красивые женщины.

30.8.20

Утром выезжаем из Пневска. Операция на Замостье продолжается. Погода по-прежнему ужасная, дождь, слякоть, дороги непроходимы, почти не спали, на полу, на соломе, в сапогах, будь готов.

Опять мотня. Едем с Шеко к 3-й бригаде. Он с револьвером в руках идет в наступление на станцию Завады. Сидим с Лепиным в лесу. Лепин корчится. Бой у станции. У Шеко обреченное лицо. Описать «частую перестрелку». Взяли станцию. Едем к полотну железной дороги. 10 пленных, одного не успеваем спасти. Револьверная рана? Офицер. Кровь идет изо рта. Густая красная кровь в комьях, заливает все лицо, оно ужасное, красное, покрыто густым слоем крови. Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное, офицер, надоедает всем, не может идти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязаной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо, гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время,

потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду.

Едем к начдиву, он при 1 и 2-й бригадах. Все время находимся в виду Замостья, видны его трубы, дома, пытаемся взять его со всех сторон. Подготовляется ночная атака. Мы в 3-х верстах от Замостья, ждем взятия города, будем там ночевать. Поле, ночь, дождь, пронизывающий холод, лежим на мокрой земле, лошадям нечего дать, темно, едут с донесениями. Наступление будет вести 1 и 3-я бригады. Обычный приезд Книги и Левды, комбрига 3, малограмотного хохла. Усталость, апатия, неистребимая жажда сна, почти отчаяние. В темноте идет цепь, спешена целая бригада. Возле нас — пушка. Через час — пошла пехота. Наша пушка стреляет беспрерывно, мягкий, лопающийся звук, огни в ночи, поляки пускают ракеты, ожесточенная стрельба, ружейная и пулеметная, ад, мы ждем, 3 часа ночи. Бой затихает. Ничего не вышло. Все чаще и чаще у нас ничего не выходит. Что это? Армия поддается?

Едем на ночлег верст за 10 в Ситанец. Дождь усиливается. Усталость непередаваемая. Одна мечта — квартира. Мечта осуществляется. Старый растерянный поляк со старухой. Солдаты, конечно, растаскивают его. Испуг чрезвычайный, все сидели в погребах. Масса молока, масла, лапша, блаженство. Я каждый раз вытаскиваю новую пищу. Замученная хорошая старушка. Восхитительное топленое масло. Вдруг обстрел, пули свистят у конюшен, у ног лошадей. Снимаемся. Отчаяние. Едем в другую окраину села. Три часа сна, прерываемого донесениями, расспросами, тревогой.

31.8.20. Чесники

Совещание с комбригами. Фольварк. Тенистая лужайка. Разрушение полное. Даже вещей не осталось. Овес растаскиваем до основания. Фруктовый сад, пасека, разрушение пчельника, страшно, пчелы жужжат в отчаянии, взрывают порохом, обматываются шинелями и идут в наступление на улей, вакханалия, тащут рамки на саблях, мед стекает на землю, пчелы жалят, их выкуривают смолистыми тряпками, зажженными тряпками. Черкашин. В пасеке — хаос и полное разрушение, дымятся развалины.

Я пишу в саду, лужайка, цветы, больно за все это.

Армприказ оставить Замостье, идти на выручку 14-й ди-

визии, теснимой со стороны Комарова. Местечко снова занято поляками. Несчастный Комаров. Езда по флангам и бригадам. Перед нами неприятельская кавалерия — раздолье, кого же рубить, как не их, казаки есаула Яковлева. Предстоит атака. Бригады накапливаются в лесу — версты 2 от Чесники.

Ворошилов и Буденный все время с нами. Ворошилов, коротенький, седеющий, в красных штанах с серебряными лампасами, все время торопит, нервирует, подгоняет Апанасенку, почему не подходит 2-я бригада. Ждем подхода 2-й бригады. Время тянется мучительно долго. Не торопить меня, товарищ Ворошилов. Ворошилов — все погибло к и. м.

Буденный молчит, иногда улыбается, показывая ослепительные белые зубы. Надо сначала пустить бригаду, потом полк. Ворошилову не терпится, он пускает в атаку всех, кто есть под рукой. Полк проходит перед Ворошиловым и Буденным. Ворошилов вытянул огромный револьвер, не давать панам пощады, возглас принимается с удовольствием. Полк вылетает нестройно, ура, даешь, один скачет, другой задерживает, третий рысью, кони не идут, котелки и ковры. Наш эскадрон идет в атаку. Скачем версты четыре. Они колоннами ждут нас на холме. Чудо — никто не пошевелился. Выдержка, дисциплина. Офицер с черной бородой. Я под пулями. Мои ощущения. Бегство. Военкомы заворачивают. Ничего не помогает. К счастью, они не преследуют, иначе была бы катастрофа. Стараются собрать бригаду для второй атаки, ничего не получается. Мануйлову угрожают наганами. Героини сестры.

Едем обратно. Лошадь Шеко ранена, он контужен, страшное окаменевшее его лицо. Он ничего не разбирает, плачет, мы ведем лошадь. Она истекает кровью.

Рассказ сестры — есть сестры, которые только симпатию устраивают, мы помогаем бойцу, все тяготы с ним, стреляла бы в таких, да чем стрелять будешь, х — м, да и того нет.

Комсостав подавлен, грозные призраки разложения армии. Веселый дураковатый Воробьев, рассказывает о своих подвигах, подскочил, 4 выстрела в упор. Апанасенко неожиданно оборачивается, ты сорвал атаку, мерзавец.

Апанасенко мрачен, Шеко жалок.

Разговоры о том, что армия не та, пора на отдых. Что дальше. Ночуем в Чесники — смерзли, устали, молчим, непролазная, засасывающая грязь, осень, дороги разбиты, тоска. Впереди мрачные перспективы.

1.9.20. Теребин

Выступаем из Чесники ночью. Постояли часа два. Ночь, холод, на конях. Трясемся. Армприказ — отступать, мы окружены, потеряли связь с 12-й армией, связи ни с кем. Шеко плачет, голова трясется, лицо обиженного ребенка, жалкий, разбитый. Люди — хамы. Ему Винокуров не дал прочитать армприказа — он не у дел. Апанасенко с неохотой дает экипаж, я им не извозчик.

Бесконечные разговоры о вчерашней атаке, вранье, искреннее сожаление, бойцы молчат. Дурак Воробьев звонит. Его оборвал начдив.

Начало конца 1-й Конной. Толки об отступлении.

Шеко — человек в несчастье.

У Мануйлова — 40, лихорадка, его все ненавидят, Шеко преследует, почему? Не умеет себя держать. Хитрый, вкрадчивый, себе на уме, ординарец Борисов, никто не жалеет — вот где ужас. Еврей?

Армию спасает 4-я дивизия. Вот и предатель — Тимошенко.

Приезжаем в Теребин, полуразрушенная деревня, холод. Осень, сплю днем в клуне, ночью вместе с Шеко.

Разговор с Арзамом Слягит. Рядом на лошадях. Говорили о Тифлисе, фруктах, солнце. Я думаю об Одессе, душа рвется.

Тащим кровоточащего коня Шеко за собой.

2.9.20. Теребин — Метелин

Жалкие деревни. Неотстроенные хижины. Полуголое население. Мы разоряем радикально. Начдив на позиции. Армприказ — сдерживать противника, стремящегося к Бугу, наступать на Вакиево — Гостиное. Толкаемся, но успехов не удерживаем. Толки об ослаблении боеспособности армии все увеличиваются. Бегство из армии. Массовые рапорты об отпусках, болезнях.

Главная болячка дивизии — отсутствие комсостава, все командиры из бойцов, Апанасенко ненавидит демократов, ничего не смыслят, некому вести полк в атаку.

Эскадронные командуют полками.

Дни апатии, Шеко поправляется, он угнетен. Тяжело жить в атмосфере армии, давшей трещину.

3,4,5,9. 20. Малице

Передвинулись вперед к Малице.

Новый помнаштадив — Орлов. Гоголевская фигура. Патологический враль, язык без костей, еврейское лицо,

главное — ужасная, если в нее вдуматься, легкость разговора, болтовни, вранья, боль (хромает), партизан, махновец, окончил реальное училище, командовал полком. От легкости этой страшно, что там внутри?

Мануйлов, наконец, хоть и со скандалом, сбежал, были угрозы арестом, какая бестолковость Шеко, направили его в 1-ю бригаду, идиотство, Штарм направил в авиацию. Аминь.

Живу с Шеко. Туп, добр, если уколоть в нужное место, бездарен, без постоянной воли. Пресмыкательствую, зато ем. Томный полуодессит Богуславский, мечтающий об одесских «девочках», нет, нет, а съездит ночью за армприказом. Богуславский на казачьем седле.

1-й взвод 1-го эскадрона. Кубанцы. Поют песни. Степенные. Улыбаются. Не шумят.

Левда подал рапорт о болезни. Хитрый хохол. «У меня ревматизм, не в силах работать». Три рапорта из бригад, сговорились; если не отвести на отдых — дивизия погибнет, нет задора, лошади стали, люди апатичны, 3-я бригада два дня в поле, холод, дождь.

Грустная страна, непролазная грязь, отсутствующие мужики, прячут лошадей в лесах, тихо плачущие бабы.

Рапорт Книги — не имея сил управляться без комсостава...

Все лошади в лесах, красноармейцы меняют, наука, спорт.

Барсуков разлагается. Хочет в учебное заведение.

Идут бои. Наши пытаются наступать на Вакиев — Тонятыги. Ничего не выходит. Странное бессилие.

Поляк медленно, но верно нас отжимает. Начдив не годится, ни инициативы, ни нужного упорства. Его гнойное честолюбие, женолюбие, чревоугодие и, вероятно, лихорадочная деятельность, если это нужно будет.

Образ жизни.

Книга пишет — нет прежнего задора, бойцы ходят вялые.

Все время погода, нагоняющая тоску, дороги разбиты, страшная российская деревенская грязь, не вытащишь сапог, солнца нет, дождь, пасмурно, проклятая страна.

Я болен, ангина, жар, едва передвигаюсь, страшные ночи в задымленных чадных избах на соломе, все тело растерзано, искусано, чешется, в крови, ничего не могу делать.

Операции протекают вяло, период равновесия с начинающимся преобладанием на стороне поляка.

Комсостав пассивен, да его и нет.

Я бегаю к сестре на перевязки, надо идти огородами, непролазная грязь. Сестра живет во взводе. Героиня, хотя и совокупляется. Изба, курят, ругаются, меняют портянки, солдатская жизнь, еще один человек — сестра. Кто брезгает из одной чашки — выбрасывается.

Противник наступает. Мы взяли Лотов, отдаем его, он нас отжимает, ни одно наше наступление не удается, отправляем обозы, я еду в Теребин на подводе Барсукова, дальше — дождь, слякоть, тоска, переезжаем Буг, Будятичи. Итак, решено отдать линию Буга.

6.9.20. Будятичи

Будятичи занято 44-й дивизией. Столкновения. Они поражены дикой ордой, накинувшейся на них. Орлов — даешь, катись.

Сестра гордая, туповатая, красивая сестра плачет, доктор возмущен тем, что кричат — бей жидов, спасай Россию. Они ошеломлены, начхоза избили нагайкой, лазарет выбрасывают, реквизируют и тянут свиней без всякого учета, а у них есть порядок, всякие уполномоченные с жалобами у Шеко. Вот и буденновцы.

Гордая сестра, каких мы никогда не видели,— в белых башмаках и чулках, стройная полная нога, у них организация, уважение человеческого достоинства, быстрая, тщательная работа.

Живем у евреев.

Мысль о доме все настойчивее. Впереди нет исхода.

7.9.20. Будятичи

Мы занимаем две комнаты. Кухня полна евреями. Есть беженцы из Крылова, жалкая кучка людей с лицами пророков. Спят вповалку. Целый день варят и пекут, еврейка работает как каторжная, шьет, стирает. Тут же молятся. Дети, барышни. Хамы — холуи жрут беспрерывно, пьют водку, хохочут, жиреют, икают от желания женщины.

Едим через каждые два часа.

Часть отведена за Буг, новая фаза операции.

Вот уже две недели, как все упорнее и упорнее говорят о том, что армию надо отвести на отдых. На отдых — боевой клич!

Наклевывается командировка — в гостях у начдива — всегда едят, его рассказы о Ставрополе, Суслов толстеет, густо хам посажен.

Ужасная бестактность — представлены к ордену Красного Знамени Шеко, Суслов, Сухоруков.

Противник пытается перейти на нашу сторону Буга, 14-я дивизия, спешившись, отбила его.

Пишу удостоверения.

Оглох на одно ухо. Последствия простуды? Тело расчесано, все в ранах, недомогаю. Осень, дождь, уныло, грязь тяжелая.

8.9.20. Владимир — Волынск

Утром на обывательской подводе в административный штаб. Аттестат, канитель с деньгами. Полутыловая гнусность — Гусев, Налетов, деньги в Ревтрибунале. Обед у Горбунова.

На тех же клячах в Владимир. Езда тяжелая, грязь непролазная, дороги непроходимы. Приезжаем ночью. Мотня с квартирой, холодная комната у вдовы. Евреи — лавочники. Папаша и мамаша — старики.

Горе ты, бабушка? Чернобородый, мягкий муж. Рыжая беременная еврейка моет ноги. У девочки понос. Теснота, но электричество, тепло.

Ужин — клецки с подсолнечным маслом — благодать. Вот она — густота еврейская. Думают, что я не понимаю по-еврейски, хитрые как мухи. Город — нищ.

Спим с Бородиным на перине.

9.9.20. Владимир-Волынский

Город нищ, грязен, голоден, за деньги ничего не купишь, конфеты по 20 рублей и папиросы. Тоска. Штарм. Уныло. Совет профессиональных союзов, еврейские молодые люди. Хождение по Совнархозам и профкомиссиям, тоска, военные требуют, озорничают. Дохлые молодые евреи.

Пышный обед — мясо, каша. Единственная утеха — пища.

Новый военком штаба — обезьянье лицо.

Хозяева хотят выменять мою шаль. Не дамся.

Мой возница — босой, с заплывшими глазами. Рассея.

Синагога. Молюсь, голые стены, какой-то солдат забирает электрические лампочки.

Баня. Будь проклята солдатчина, война, скопление молодых, замученных, одичавших, еще здоровых людей.

Внутренняя жизнь моих хозяев, какие-то дела делаются, завтра пятница, уже готовятся, хорошая старуха, старик с хитринкой, притворяются нищими. Говорят — лучше голодать при большевиках, чем есть булку при поляках.

10.9.20. Ковель

Полдня на разбитом, унылом, ужасном вокзале во Владимире-Волынском. Тоска. Чернобородый еврей работает. В Ковель приезжаем ночью. Неожиданная радость — поезд Поарма. Ужин у Зданевича, масло. Ночую в радиостанции. Ослепительный свет. Чудеса. Хелемская сожительствует. Лимфатические железы. Володя. Она обнажилась. Мое пророчество исполнилось.

11.9.20. Ковель

Город хранит следы европейско-еврейской культуры. Советских (денег) не берут, стакан кофе без сахару — 50 рублей, дрянной обедишка на вокзале — 600 рублей.

Солнце, хожу по докторам, лечу ухо, чесотка.

В гости к Яковлеву, тихие домики, луга, еврейские улички, тихая жизнь, ядреная, еврейские девушки, юноши, старики у синагоги, может быть парики, Соввласть, как будто, не возмутила поверхности, эти кварталы за мостом.

В поезде грязно и голодно. Все исхудали, обовшивели, пожелтели, все ненавидят друг друга, сидят, запершись в своих кабинках, даже повар исхудал. Разительная перемена. Живут в клетке. Хелемская грязная кухарит, контакт с кухней, она кормит Володю, еврейская жена «из хорошего дома».

Целый день ищу пищу.

Район расположения 12-й армии. Пышные учреждения — клубы, граммофоны, сознательные красноармейцы, весело, жизнь кипит ключом, газеты 12-й армии, Армупроста, командарм Кузьмин, пишущий статьи, с виду работа Политотдела поставлена хорошо.

Жизнь евреев, толпы на улице, главная улица Луцкая, хожу с разбитыми ногами, пью неисчислимое количество чаю и кофе. Мороженое — 500 р. Позволяют себе весьма. Суббота, все лавочки закрыты. Лекарство — 5 р.

Ночую в радиостанции. Ослепительный свет, умствующие радиотелеграфисты, один пытается играть на мандолине. Оба читают запоем.

12.9.20. Киверцы

Утром — паника на вокзале. Артстрельба. Поляки в городе. Невообразимое жалкое бегство, обозы в пять рядов, жалкая, грязная, задыхающаяся пехота, пещерные люди, бегут по лугам, бросают винтовки, ординарец Бородин

видит уже рубящих поляков. Поезд отправляется быстро, солдаты и обозы бегут, раненые с искаженными лицами скачут к нам в вагон, политработник, задыхающийся, у которого упали штаны, еврей с тонким просвечивающим лицом, может быть, хитрый еврей, вскакивают дезертиры с сломанными руками, больные из санлетучки.

Заведение, которое называется 12-й армией. На одного бойца — 4 тыловика, 2 дамы, 2 сундука с вещами, да и этот единственный боец не дерется. Двенадцатая армия губит фронт и Конармию, открывает наши фланги, заставляет затыкать собой все дыры. У них сдался в плен, открыли фронт, уральский полк или башкирская бригада. Паника позорная, армия небоеспособна. Типы солдат. Русский красноармеец пехотинец — босой, не только не модернизованный, совсем «убогая Русь», странники, распухшие, обовшивевшие, низкорослые, голодные мужики.

В Голобах выбрасывают всех больных и раненых и дезертиров. Слухи, а потом факты: захвачено, загнанное в Владимир-Волынский тупик, снабжение 1-й Конной, наш штаб перешел в Луцк, захвачено у 12-й армии масса пленных, имущества, армия бежит.

Вечером приезжаем в Киверцы.

Тяжкая жизнь в вагоне. Радиотелеграфисты все покушаются меня выжить, у одного по-прежнему расстроен желудок, он играет на мандолине, другой умничает, потому что он дурак.

Вагонная жизнь, грязная, злобная, голодная, враждебная друг к другу, нездоровая. Курящие и жрущие москвички, без обличья, много жалких людей, кашляющие москвичи, все хотят есть, все злы, у всех животы расстроены.

13.9.20. Киверцы

Ясное утро, лес. Еврейский Новый год. Голодно. Иду в местечко. Мальчики в белых воротничках. Ишас Хакл угощает меня хлебом с маслом. Она «сама» зарабатывает, бой-баба, шелковое платье, в доме прибрано. Я растроган до слез, тут помог только язык, мы разговариваем долго, муж в Америке, рассудительная и неторопливая еврейка.

Длинная стоянка на станции. Тоска по-прежнему. Берем из клуба книжки, читаем запоем.

14.9.20. Клевань

Стоим в Клевани сутки, всё на станции. Голод, тоска. Не принимает Ровно. Железнодорожный рабочий. Печем у него коржи, карточки. Железнодорожный сторож. Они обедают, говорят ласковые слова, нам ничего не дают. Я с Бородиным, его легкая походка. Целый день добываем пищу, от одной сторожки к другой. Ночевка в радиостанции при ослепительном освещении.

15.9.20. Клевань

Начинаются третьи сутки нашего томительного стояния в Клевани, то же хождение за пищей, утром богато пили чай с коржами. Вечером поехал в Ровно на подводе авиации 1-й Конной. Разговор об нашей авиации, ее нет, все аппараты сломаны, летчики не умеют летать, машины старые, латаные, никуда не годные. Больной горлом красноармеец — вот он тип. Едва говорит, там, вероятно, все заложено, воспалено, лезет пальцем соскребывать в глотке пленку, сказали, что помогает соль, сыплет соль, четыре дня не ел, пьет холодную воду, потому что никто не дает горячей. Говорит косноязычно о наступлении, о командире, о том, что они босые, одни идут, другие не идут, манит пальцем.

Ужин у Гасниковой.



ГРИЩУК

Вторая поездка в местечко окончилась худо. Мы отправились добывать фуражу, возвращались к полудню. Спина Грищука мирно тряслась перед моими глазами. Не доезжая до села, он аккуратно сложил вожжи, вздохнул и стал сползать с сиденья. Он сполз ко мне на колени и вытянулся поперек брички. Его стынущая голова покачивалась, лошади шли шагом, и желтеющая ткань покоя оседала на лице Грищука, как саван.

— Не емши,— вежливо ответил он на мой испуганный крик и утомленно опустил веки.

Так мы и въехали в село, с кучером, растянувшимся во всю длину экипажа.

Дома я накормил его хлебом и картошкой. Он ел вяло, задремывал и раскачивался. Потом вышел на середину двора и, разбросав руки, лег на землю — лицом кверху.

— Ты все молчишь, Грищук,— сказал я ему, задыхаясь,— как я пойму тебя, томительный Грищук?..

Он смолчал и отвернулся. И только ночью, когда мы, согревая друг друга, лежали на сене, я узнал одну главу из его немой повести.

Русские пленные работали по укреплению сооружений на берегу Северного моря. На время полевых работ их угнали в глубь Германии. Грищука взял к себе одинокий и умалишенный фермер. Безумие его состояло в том, что он молчал. Побоями и голодовкой он выучил Грищука объясняться с ним знаками. Четыре года они молчали и жили мирно. Грищук не выучился языку потому, что не слышал его. После германс[кой] революции он пошел в Россию. Хозяин проводил его до края деревни. У большой дороги они остановились. Немец показал на церковь, на свое сердце, на безграничную и пустую синеву горизонта. Он прислонился своей седой взъерошенной безумной головой к плечу Грищука. Они постояли так в безмолвном объятии. И потом немец, взмахнув руками, быстрым, немощным и путаным шагом побежал назад, к себе.



ИХ БЫЛО ДЕВЯТЬ

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба: «Пример взводного развращает бойцов. Надо составить сопроводительную записку на пленных и отправить их в штаб для опроса».

Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал Голова.

— Ты через очки смотришь на свет,— сказал он, глядя на меня с ненавистью.

— Через очки,— ответил я,— а ты как смотришь на свет, Голов?

— Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь,— сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного.

— Ты офицер,— сказал Голов, закрываясь рукой от солнца.

— Нет,— услышали мы твердый ответ.

— Наш брат таких не носит,— пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его белели и расширялись.

— Матка вязала,— сказал пленный с твердостью. Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его вились баки.

— Матка вязала,— повторил он и опустил глаза.

— Фабричная у тебя матка,— подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с умирающего поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к Голову, осторожно снял у него с руки мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и, легонько взмахнув плетью, отъехал от нас.

Солнце вылилось в это мгновение из-за туч. Оно ослепительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег,

беспечные качания ее куцего хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул: «Республика наша живая еще, Андрей. Рано дележку делать. Скидай барахло!»

Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью, и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена,— прошептал тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок, и цепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедля повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк,— закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса,— как бы я не стукнул тебя, взводный, к такой-то свет матери. Тебе десяток шляхты прибрать — ты вон каку суету поднял. По сотне прибирали, тебя в подмогу не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом. Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В самой первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия и в третьей наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежащими пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки, и на щербатой, оранжевой лысине Шульмейстера закипал сияющий на солнце пот.

— Вы Jude[1], пане,— шептал он, судорожно лаская мое стремя.— Вы — Jude,— визжал он, брызгая слюной и корчась от радости.

— Стать в ряды, Шульмейстер,— крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь: — Почем Вы знаете?

[1] Еврей *(нем.)*.

— Еврейский сладкий взгляд,— взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след,— сладкий взгляд Ваш, пане...

Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опоминался медленно, как после контузии.

Начальник штаба приказал мне распорядиться и уехал к частям.

Пулеметы втаскивали на пригорок, как телят, на веревках. Они двигались рядком, как дружное стадо, и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах. И я увидел радугу на железе. Поляк, юноша с вьющимися баками, смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к Голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на ученье. Медленным движением отдающейся женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на лице Голова. К нему легко вернулся румянец.

— Нашему брату матка таких исподников не вяжет,— сказал он мне лукаво.— Вымарай одного, давай записку на восемь штук...

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием:

— Ты за все ответишь, Голов.

— Я отвечу,— закричал он с невыразимым торжеством,— не тебе, очкастому, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберет...

Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В Конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум прервал меня тотчас. Черкашин, штабной холуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне.

КОММЕНТАРИИ



В настоящем издании литературное наследие И. Бабеля впервые представлено в максимально полном объеме. Кроме неоднократно издававшихся «Одесских рассказов» и «Конармии», в него включена ранняя очерковая проза писателя, киносценарии, конармейский дневник 1920 года, более двухсот писем и несколько рассказов, практически неизвестных широкому читателю. Расширены разделы «воспоминания, портреты» и «статьи и выступления».

Не все публикуемые произведения равноценны по своим художественным достоинствам. Некоторые — в частности, «дневник 1920 года» — явно не предназначались для печати, а такие рассказы, как «Их было девять», сам автор не предлагал для издания. Не на уровне лучших вещей И. Бабеля и часть сценариев. Тем не менее все они имеют огромное познавательное значение как документы эпохи, как зарисовки, сделанные большим мастером. Материал такого рода помещен в специальном разделе «Приложение».

Произведения в томах расположены по жанрово-хронологическому принципу, внутри томов по датам первых публикаций. И. Бабель не всегда ставил даты, а иногда, как, например, в «Конармии», они фиксируют скорее время дневниковых записей, нежели время работы над той или иной новеллой. Вся сохранившаяся авторская датировка приводится только в комментариях. Произведения печатаются по текстам последних прижизненных изданий. В иных случаях указывается источник. Тексты заново сверены, вызванные конъюнктурой купюры восстановлены. В комментариях приводятся, как правило, только первые публикации, специально это не оговаривается. Имена и реалии, встречающиеся в тексте неоднократно, комментируются при первом упоминании. В угловые скобки заключены те данные, которые при публикации с автографа отсутствовали у автора, в квадратные — дополненные составителем части слов.

«Он не допел своей песни в период культа личности,— сказал К. Федин на юбилейном вечере Бабеля в ноябре 1964 года,— в период, который, как теперь хорошо известно, тяжело отразился на нашей литературе, и мы знаем, как он отразился на жизни писателя» (Федин К. Слово о Бабеле.— Литературная газета, 1964, 17 ноября, № 136).

Автобиография (1924) — «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков под ред. Вл. Лидина». М., 1926. Печатается по тексту книги: «И. Э. Бабель, статьи и материалы», Academia, 1928. Датировано автором: *«Сергиев Посад. Ноябрь, 1924»*. Правленный автором в 1932 году машинописный экземпляр «Автобиографии» дополнен заключительным абзацем: «За два года были написаны «Конармия» и «Одесские рассказы». Потом снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы» (ЦГАЛИ СССР, ф. 1559, оп. 1, ед. хр. № 3).

На вечере, посвященном 70-летию со дня рождения писателя, в Центральном Доме литераторов им. А. Фадеева 11 ноября 1964 года, В. Лидин вспоминал: «В 1925 или 27 году я редактировал книгу «Автобиографии советских писателей». Для этой книги написал свою автобиографию по моей просьбе и Исаак Эммануилович. У меня долго хранилось письмо, к сожалению, ныне пропавшее, в котором он написал, что первый раз согрешил автобиографией и больше этого никогда не повторит. Эта автобиография явилась единственной опубликованной автобиографией Бабеля — очень краткой, но необыкновенно объемной по своей глубине и по своему жизнеописанию» (стенограмма вечера, архив А. Н. Пирожковой).

Новые материалы к биографии писателя см. в публикации У. Спектора «Молодой Бабель».— Вопросы литературы, 1982, № 7.

РАССКАЗЫ 1913—1924 гг.

В раздел включены ранние произведения писателя, значительная часть которых не включалась в прижизненные и посмертные издания. Рассказы печатаются по тексту первых публикаций, иные случаи оговариваются.

Старый Шлойме.— Журн. «Огни». Киев, 1913, № 6, 9 февраля.

Рассказ является литературным дебютом Бабеля.

Детство. У бабушки.— Литературное наследство («Из творческого наследия советских писателей»). М., Наука, 1965, т. 74, с. 483—486. Датировано: *Саратов, 12.11.15.*

Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна.— Журн. «Летопись». Пг., 1916, № 11.

Мама, Римма и Алла.— Журн. «Летопись». Пг., 1916, № 11.

Публичная библиотека.— Журнал журналов. СПб., 1916, № 48, в рубрике «Мои листки». Подпись: *Баб-Эль.*

Девять.— Журнал журналов. СПб., 1916, № 49, в рубрике «Мои листки». Подпись: *Баб-Эль.*

Стр. 61. *...истинный Агасфер.*— Агасфер — легендарный персонаж средневековых европейских сказаний. Согласно преданию, обречен богом на вечное скитальчество. В европейской литературе нового времени — «вечный жид».

О д е с с а.— Журнал журналов. СПб., 1916, № 51, в рубрике «Мои листки». Подпись: *Баб-Эль.*

Стр. 63. *...я говорю об Изе Кремер.*— Имеется в виду эстрадная певица, исполнительница популярных в те годы «песенок настроения». Уроженка Одессы.

Стр. 65 *...в дилижансе толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка.*— Здесь имеется в виду рассказ Мопассана «Признание» (см. «Гюи де Мопассан»).

В д о х н о в е н и е.— Журнал журналов. СПб., 1917, № 7, в рубрике «Мои листки». Подпись: *Баб-Эль.*

D o u d o u.— Свободные мысли. Пг., 1917, 13 марта в рубрике «Мои листки».

В щ е л о ч к у.— Журнал журналов. Пг., 1917, № 16, в рубрике «Мои листки» с подзаголовком «рассказ И. Бабеля». Вторично — в журнале «Силуэты» (Одесса), 1923, № 12 под шапкой «из книги «Офорты». Датировано: *1915.* В примечании указывалось, что рассказ «В щелочку» царская цензура вырезала из ноябрьской книжки журнала «Летопись» за 1916 г. В новой редакции рассказ напечатан в альманахе «Перевал», сб. 6. М.— Л., 1928. Печатается по этой публикации.

Ш а б о с - Н а х а м у.— Газ. «Вечерняя звезда». Пг., 1918, 16 марта с подзаголовком «Из цикла «Гершеле».

Шабос-нахаму — суббота утешения, еврейский религиозный праздник.

Н а п о л е ч е с т и.— Журн. «Лава». Одесса, 1920, № 1.

Цикл является вольной обработкой некоторых сюжетов из книги капитана французской армии Г. Видаля «Персонажи и анекдоты великой войны» (Париж, 1918). Подробнее о творческой истории цикла см.: С м и р и н И. У истоков военной темы в творчестве И. Бабеля. (И. Бабель и Гастон Видаль).— Русская литература, 1967, № 1. В статье «Критический романс» В. Шкловский ссылается на рассказ некоего одессита, от которого слышал, будто бы Бабель «не то переводит с французского, не то делает книгу рассказов из книги анекдотов».— Ш к л о в с к и й В. Гамбургский счет. Л., 1928, с. 79.

С п р а в е д л и в о с т ь в с к о б к а х.— «На помощь!». Одесса, 1921, 15 августа, однодневная газета, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

Стр.89 *...недоставало Сережки Уточкина.*— Уточкин Сергей Исаевич (1876—1916) — один из первых русских летчиков, уроженец Одессы.

В е ч е р у и м п е р а т р и ц ы.— Журн. «Силуэты». Одесса, 1922, № 1, с подзаголовком «Из петербургского дневника».

Х о д я.— Журн. «Силуэты». Одесса, 1923, № 6—7, с подзаголовком «Из книги «Петербург, 1918». Печатается по тексту: альманах «Перевал», сб. 6. М.— Л., 1928.

Сказка про бабу.— Журн. «Силуэты». Одесса, 1923, № 8—9. Печатается по тексту: журн. «Красная новь», 1924, № 4.

Баграт-оглы и глаза его быка.— Журн. «Силуэты». Одесса, 1923, № 12.

Линия и цвет.— Журнал «Красная новь», 1923, № 7, с подзаголовком «Истинное происшествие». Печатается по тексту: Бабель И. Рассказы (2-е изд.). М.— Л., Госиздат, 1927.

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — буржуазный политический деятель, в 1917 г. глава Временного правительства.

Стр.105 *...прекрасная, как Мария Антуанетта.*— Мария Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI.

Ты проморгал, капитан! — Газ. «Известия». Одесса, 1924, 9 февраля. Вечерний выпуск. Подпись: *Баб-Эль.* В текст последующих публикаций автором внесен ряд изменений. Печатается по тексту: Бабель И. Рассказы. М., Гослитиздат, 1936.

У батьки нашего Махно.— Журн. «Красная новь», 1924, № 4. Датировано: *1923.*

Конец св. Ипатия.— Правда, 1924, 3 августа, № 175, в рубрике «Из дневника». Печатается по тексту: Бабель И. Рассказы. М., Гослитиздат, 1936.

Стр.112 *...просить на царство Михаила Федоровича.*— Романов М. Ф. (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых.

Иисусов грех.— «На хлеб». Одесса, 1921, 29 августа. Однодневная газета Южного товарищества писателей в пользу голодающих. В текст последующих публикаций автором внесен ряд изменений. Рассказ высоко оценил Е. Замятин в статье «О сегодняшнем и о современном». Он писал, что «коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью» (Русский современник, 1924, № 2, с. 270). Печатается по тексту: Бабель И. Рассказы. М., Гослитиздат, 1936.

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

Цикл из четырех рассказов написан Бабелем в период 1921—1923 годов. Подзаголовок «Из одесских рассказов» имеют также «Справедливость в скобках» (1921) и «Конец богадельни» (окончен в 1930 г.), не включавшиеся автором в сложившийся в начале 20-х годов цикл. Экзотика легендарной Молдаванки чувствуется в киносценарии «Беня Крик», в рассказе и пьесе «Закат», в позднем рассказе «Фроим Грач». Печатаются по изданию: Бабель И. Рассказы. М., Гослитиздат, 1936.

Король.— Газ. «Моряк». Одесса, 1921, 23 июня, с подзаголовком «Из одесских рассказов». В текст последующих публикаций автором внесен ряд изменений.

Стр.123 *...Синагогальные шамесы, вскочив на столы...*— Шамесы— служки в синагоге.

К а к э т о д е л а л о с ь в О д е с с е.— Газ. «Известия». Одесса, 1923, 5 мая (литературное приложение к № 1025).

Стр.134 *...торговцев кошерной птицей...*— Кошерная птица — зарезанная резником.

О т е ц.— Журн. «Красная новь», 1924, № 5, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

Стр. 142 *...Держитесь вашей бранжи,— ответил Грач...*— Бранжа (у г о л.) — дело.

Стр. 143 *...Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка.*— Подробно эта коллизия разработана в рассказе и драме под названием «Закат».

Л ю б к а К а з а к.— Журн. «Красная иовь», 1924, № 5, с подзаголовком «Из одесских рассказов».

Стр. 148 *...читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема».*— В иудаизме словосочетание Баал-Шем Тоб означает буквально «добрый чудотворец» или «обладающий добрым именем».

ПУБЛИЦИСТИКА

Очерковая проза Бабеля создавалась в тот период, когда начинающий литератор по совету М. Горького «ушел в люди». С 1918 по 1924 год в различных русских газетах печатались его репортажи, миниатюры, статьи. Сотрудничество с газетой явилось школой мастерства для молодого писателя. В 1932 году Бабель так вспоминал это время: «Работа на репортаже дала мне необычайно много в смысле материала и столкнула с огромным количеством драгоценных для творчества фактов. Я также завел знакомства со сторожами морга, агентами угрозыска, служащими канцелярий. После, в период творчества, я, не раз возвращаясь к определенному, близкому мне «объекту», изучал обстановку, быт, «типаж». Репортерская работа полна романтики. Отталкиваясь от этого материала, я стал писать тогда очерки и поднял ряд тем, которые впоследствии стали ходовыми в газетном и журнальном очеркизме. Я писал о детских домах, о рабочих квартирах и окраинах» (Оль. Ник. «Я рад закрепить нашу дружбу». И. Бабель у комсомольцев.— Литературная газета, 1932, 5 сентября).

Многие публикации этого периода подписаны псевдонимами Баб-Эль, К. Лютов, инициалами К. Л. и Л. Подробнее о газетной работе писателя см.: С м и р и н. И. И. Бабель в истории советского очерка.— Искусство публицистики. Алма-Ата, 1966.

П е р в а я п о м о щ ь.— Новая жизнь, 1918, 9 марта. Под рубрикой «Дневник».

О л о ш а д я х.— Новая жизнь, 1918, 16 марта.

Н е д о н о с к и.— Новая жизнь, 1918, 26 марта.

Б и т ы е.— Новая жизнь, 1918, 29 марта. Под рубрикой «Дневник».

Д в о р е ц м а т е р и н с т в а.— Новая жизнь, 1918, 31 марта.

Стр. 162 *...дворцы Юсуповых и Строгановых.*— Юсуповы — династия русских князей XVI—XIX вв. Строгановы — династия русских купцов и промышленников. *Дворец принадлежал Разумовскому.*— Разумовский — один из представителей русской княжеской семьи, известной на рубеже XVIII—XIX вв.

Э в а к у и р о в а н н ы е.— Новая жизнь, 1918, 13 апреля.

М о з а и к а.— Новая жизнь, 1918, 21 апреля.

З а в е д е н ь и ц е.— Новая жизнь, 1918, 25 апреля.

О г р у з и н е, к е р е н к е и г е н е р а л ь с к о й д о ч к е.— Новая жизнь, 1918 4 мая.

С л е п ы е.— Новая жизнь, 1918, 19 мая.

В е ч е р.— Новая жизнь, 1918, 21 мая.

Стр. 179 *...вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона.*— Штраус — очевидно, Иоганн Штраус-сын (1825—1899) — австрийский композитор. Мендельсон-Бартольди Ф. (1809—1847) — немецкий композитор. «Песни без слов» — цикл его фортепианных пьес.

Я з а д н и м с т о я л.— Новая жизнь, 1918, 7 июня. Под рубрикой «Петербургский дневник».

З в е р ь м о л ч и т.— Новая жизнь, 1918, 9 июня. Под рубрикой «Дневник».

Ф и н н ы.— Новая жизнь, 1918, 11 июня. Под рубрикой «Дневник».

Н о в ы й б ы т.— Новая жизнь, 1918, 20 июня. Под рубрикой «Дневник».

С л у ч а й н а Н е в с к о м.— Новая жизнь, 1918, 27 июня. Под рубрикой «Дневник».

С в я т е й ш и й п а т р и а р х.— Новая жизнь, 1918, 2 июля. Под рубрикой «Дневник».

Стр. 194 *...Тихон, патриарх московский...*— Тихон (Белавин В. И., 1865—1925) — патриарх Московский и всея Руси (с 1917 г.). Был судим за антисоветскую деятельность. В 1923 г. раскаялся и признал Советскую власть.

Н а Д в о р ц о в о й п л о щ а д и.— Жизнь искусства. Пг., 1918, 11 ноября, в рубрике «Дневник».

К о н ц е р т в К а т е р и н е н ш т а д т е.— Жизнь искусства. Пг., 1918, 13 ноября, в рубрике «Дневник».

П о б о л ь ш е т а к и х Т р у н о в ы х! — Красный кавалерист, 1920, 13 августа. Подпись: *военный корреспондент 6 кавдивизии К. Лютов.* См. примечания к рассказу «Эскадронный Трунов». Подробнее о герое-буденновце см.: И в а н ь к о И. Константин Трунов.— Военно-исторический журнал, 1941, № 2.

Р ы ц а р и ц и в и л и з а ц и и.— Красный кавалерист, 1920, 14 августа. Подпись: *К. Л.*

Недобитые убийцы.— Красный кавалерист, 1920, 17 сентября. Подпись: *военный корреспондент 6 кавдивизии К. Лютов.*

Ее день.— Красный кавалерист, 1920, 18 сентября. Подпись: *К. Лютов.*

В доме отдыха.— Заря Востока, 1922, 24 июня. Подпись: *К. Лютов.*

«Камо» и «Шаумян».— Заря Востока, 1922, 31 августа, под рубрикой «Письмо из Батума». Подпись: *К. Лютов.*

Без родины.— Заря Востока, 1922, 14 сентября, под рубрикой «Письмо из Батума». Подпись: *К. Лютов.*

Медресе и школа.— Заря Востока, 1922, 14 сентября, под рубрикой «Письма из Аджарии». Подпись: *К. Лютов.*

Медресе — религиозная мусульманская школа.

Табак.— Заря Востока, 1922, 29 октября, под рубрикой «Письмо из Абхазии». Подпись: *К. Лютов.*

Гагры.— Заря Востока, 1922, 22 ноября, под рубрикой «Абхазские письма». Подпись: *К. Лютов.*

В Чакве.— Заря Востока, 1922, 3 декабря, под рубрикой «Из кавказского дневника».

Ремонт и чистка.— Заря Востока, 1922, 14 декабря.

«Паризот» и «Юлия».— Известия Одесского Губисполкома, Губкома КПбУ и Губпрофсовета, 1924, 17 марта. Подпись: *Баб-Эль.* Вечерний выпуск.

ПИСЬМА

Из всего сохранившегося эпистолярного наследия отобраны письма, представляющие общественный интерес, затрагивающие литературную и общественную проблематику. Это в первую очередь письма к М. Горькому, Фурманову, Никулину, другим писателям, переписка с редакторами журналов и издательств, деятелями культуры и искусства — Эйзенштейном, Михоэлсом и др. Часть из них (некоторые с незначительными сокращениями) печатались в «Литературном наследстве» (1963, т. 70; 1983, т. 93), журналах «Знамя» (1964, № 8; 1972, № 6) и «Вопросы литературы» (1974, № 4; 1976, № 8; 1979, № 4), в «Литературной газете» (1976, 7 апреля. Письма Бабеля к родным — сестре и матери — в СССР публикуются впервые. Автографы этих писем находятся за рубежом. В данном издании, кроме № 151—153, 157, 158, 161, 165, 168—170, 172, 174, 178, 191 (ксерокопии автографов), печатаются по тексту: альманах «Воздушные пути», книга третья, Нью-Йорк, 1963. В настоящее издание включено более двухсот писем писателя, охватывающих период с 1918 по 1939 г. Тексты писем сверены с автографами, хранящимися в ЦГАЛИ СССР, отделе рукописей ГБЛ, отделе рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького, в частных архивах. Письма, публикуемые впервые, кроме писем к сестре и ма-

тери, отмечены специально. Письма расположены в хронологическом порядке. Дата и место отправления, если они указаны автором, воспроизводятся в соответствии с оригиналом. В правом верхнем углу дается редакционная дата и место отправления письма. Письма печатаются полностью, купируется только сугубо личное, интимное.

1

Слоним Анна Григорьевна (1887—1954) и Слоним Лев Ильич (1883—1945) — друзья писателя. В 1916 г. Бабель жил в Петрограде на квартире Слонимов.

Сторицын (Коган) *П. И.* (ум. 1941) — поэт, журналист, театральный критик.

Илюша — Илья Львович Слоним (1906—1973), скульптор, сын Слонимов.

2

Впервые опубликовано в газете «Красный кавалерист», органе политического отдела 1-й Конармии, 1920, 11 сентября, № 231, под шапкой «Экспедиция, подтянись!».

В. Зданевич (псевд.: В. Дарский, Артем Кубанец, ум. в 1922 г.) — редактор «Красного кавалериста». В этом же номере напечатан его ответ Бабелю.

3

Лившиц Исаак Леопольдович (1892—1979) — товарищ Бабеля по одесскому коммерческому училищу, издательский работник.

Ингулов С. Б. (1893—1939) — партийный работник, журналист, критик. В 1920 г. секретарь Одесского губкома КП(б)У.

Полянский (наст. фам. Павел Иванович Лебедев; 1881—1948) — критик и латературовед. В 1918—1920 гг. председатель Пролеткульта.

Нарбут Владимир Иванович (1888—1944) — русский советский поэт, редактор, директор издательства «Зиф».

Генерал Дитятин — сатирический персонаж из рассказа русского писателя и актера И. Ф. Горбунова «Тост генерала Дитятина».

Мери — сестра писателя Мария Эммануиловна Шапошникова (1897—1987), с 1924 г. жила в Бельгии.

Женя — первая жена Бабеля, урожд. Гронфайн Евгения Борисовна (ум. 1957).

Гехт Семен Григорьевич (1903—1963) — советский писатель, уроженец Одессы.

Бондарин С. А. (1903—1978) — советский писатель, уроженец Одессы.

Печатается впервые.

Люся — Людмила Николаевна Лившиц, жена И. Л. Лившица.

6

Впервые опубликовано в журнале «Октябрь», 1924, № 4. Одновременно в газете «Красная звезда». М., 1924, 21 ноября, № 265, с. 4. Датировано: *19 ноября 1924 г.*

Письмо является ответом на статью С. Буденного «Бабизм Бабеля из «Красной новн» (Октябрь, 1924, № 3), заканчивающуюся упреком редактору журнала А. Воронскому: «Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале, не говорю уже о том, что т. Воронскому отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти». Отвечая оппонентам Бабеля, критик подчеркивал, что темой творчества писателя является «Человек с большой буквы».

7

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891—1926) — советский писатель, в то время редактор отдела художественной литературы в Госиздате.

8

Воронский Александр Константннович (1884—1943) — советский литературный критик и редактор. В 1921—1927 гг. редактор журнала «Красная новь».

Речь идет о корректуре рассказа «История моей голубятни».

9

...когда я хожу в генералах...— Как сообщал М. Горькому С. Григорьев в марте 1926 г., Бабель — «самый знаменитый писатель в Москве» (Литературное наследство, 1963, т. 70, с. 134).

10

Ответ на письмо Фурманова, где выражалась надежда, что Бабель напишет отзыв о романе «Чапаев».

11

Печатается впервые.

Евдокимов Иван Васильевич (1887—1941) — советский писатель, в то время заведующий отделом художественной литературы Госиздата.

13

Бабель имеет в виду киносценарий «Чапаев», написанный Фурмановым по предложению Пролеткино.

«1905 год» — первоначальное название фильма С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

Блиох Я. М. (1895—1957) — советский кинорежиссер, в годы гражданской войны военком 1-й Конной.

14

Печатается впервые.

15

«Сиверко» — повесть И. Евдокимова.

Анна Никитична — Анна Никитична Фурманова (1897—1941), жена Д. А. Фурманова.

17

Печатается впервые.

Вознесенский А. С. (1880—1939) — киносценарист, переводчик, поэт.

19

Печатается впервые.

20

Чагин (Болдовкин) Петр Иванович (1898—1967) — журналист, издательский работник, с 1926 по 1929 г. редактор «Красной газеты» в Ленинграде.

21

Бабель Фаня Ароновна (1864—1942) — мать писателя, с 1925 г. жила в Бельгии.

23

В марте 1926 г. в вечернем выпуске «Красной газеты» был опубликован рассказ Бабеля «Измена».

24

Печатается впервые.

В письме речь идет о фильмах «Блуждающие звезды», «Кафе Фанкони», «Беня Крик».

25

Печатается впервые.

Старик умер 7-го — тесть Бабеля.

26

Полонский Вячеслав Павлович (наст. фам. В. П. Гусин; 1886—1932) — советский литературный критик, с 1926 по 1931 г. редактор журнала «Новый мир».

27

Бабель выступал в Киеве на литературных вечерах с чтением новых произведений. В письме речь идет о пьесе «Закат» и рецензии С. Пакентрейгера «Вечер писателя И. Э. Бабеля. «Закат». (И. Э. Бабель)» в газете «Вечерний Киев» от 26 марта 1927 г.

28

Южные города — Одесса и Винница.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский писатель, философ, публицист.

29

Сопроводительное письмо к пьесе «Закат».

30

Печатается впервые.

Письма отца Бабеля не сохранились.

31

Густав Крклиц — известный хорватский поэт, член Югославской Академии наук и искусства, автор воспоминаний о Бабеле.

32

Сосинский Б. Б. (1900—1987) — в то время начинающий писатель-эмигрант, впоследствии участник французского Сопротивления.

33—34

Печатаются впервые.

35

Печатается впервые.

Бакунина Вы мне так и не прислали.— Вероятно, имеется в виду книга В. Полонского «Жизнь Михаила Бакунина» (1926).

Членов — сотрудник советского полпредства во Франции.

36—37

Печатаются впервые.

38

Возможно, Бабель откликается в письме на анонс альманаха «Перевал», в шестом сборнике которого появятся три его рассказа.

...являются частью большого целого.— Речь идет о книге рассказов «История моей голубятни».

39

Печатается впервые.

40

Зозуля Ефим Давидович (1891—1941) — советский писатель, один из старейших сотрудников журнала «Огонек».

41

Печатается впервые.

Ольшевец Макс Осипович — критик, журналист, редактор журнала «Шквал» и одесской газеты «Известия», позже сотрудник журнала «Новый мир».

42

«Прожектор» — иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал, издавался с 1923 по 1935 г.

Лорд А. Нортклиф (1865—1922) — один из крупнейших газетных «королей» Англии.

45

Отзыв Ваш о «Бронепоезде»...— Речь идет о спектакле МХАТ по пьесе Вс. Иванова.

Упоминаемые в письме книги американского летчика Ч. Линдберга (1902—1974) и французского врача-хирурга С. Воронова Бабель считал интересными для советского читателя.

46

Валери Поль (1871—1945) — французский поэт и эссеист.

Берсенев Иван Николаевич (1889—1951) — артист и режиссер, в то время помощник директора МХАТ-2. В спектакле «Закат» играл Беню Крика.

47

Печатается впервые.

Бескин О. М.— литературный критик.

«Круг» — книжное издательство «Артели писателей» в Москве.

Кокто Ж. (1889—1963) — французский поэт, художник и кинорежиссер.

48

Печатается впервые.

49

...не послала Вам книги Чармиан Лондон...— Биографическая книга «Джек Лондон», написанная женой писателя.

...и скандальную книгу Бруссона...— Возможно, Бабель имеет в виду записки бывшего литературного секретаря А. Франса Ж. Ж. Бруссона «Анатоль Франс в халате».

50

Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) — советский писатель.

Безыменский Александр Ильич (1898—1973) — советский поэт.

Жуткин — собирательный шутливый образ поэтов *Александра Алексеевича Жарова* (1904—1984) и *Иосифа Павловича Уткина* (1903—1944).

51

...надо думать — провалилась.— Спектакль «Закат» по пьесе Бабеля на сцене МХАТ-2 вызвал противоречивые отклики в печати.

52

Печатается впервые.

Поездка к Горькому в Италию не состоялась.

55

...Ваш прелестный, действительно прелестный очерк...— Речь идет об очерке Л. Никулина «Воображаемые прогулки».— Новый мир, 1928, № 3.

57

...по поводу Вашего юбилея...— 60-летие Горького отмечалось в марте 1928 г.

58

Карко Ф. (наст. фам. Ф. Каркопино-Тюзоли; 1886—1958) — французский писатель.

...с романом Бенуа? — По-видимому, Бабель спрашивает о переводе на русский язык одного из новых романов популярного французского писателя П. Бенуа (1886—1962).

60

...сборник статей обо мне.— И. Э. Бабель. Статьи и материалы. Л., «Academia», 1928.

...портретом работы Альтмана...— Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — советский живописец, скульптор, график. Заслуженный художник РСФСР.

61

...вышли мемуары Айседоры Дункан...— Дункан Айседора (1878—1927) — американская танцовщица. Автобиография Дункан «Моя жизнь» вышла в русском переводе в 1930 г.

62

Печатается впервые.

Как поживают Лазарь Шмидт и Кольцов...— Шмидт Л.— журналист, сотрудник журнала «Прожектор», Кольцов Михаил Ефимович (1898—1942) — советский писатель и журналист.

63

Печатается впервые.

65

Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — русский график и живописец. С 1924 г. жил во Франции. Автор воспоминаний о Бабеле.

67

Печатается впервые.

68

Трудно найти лучшую книгу для перевода.— Речь идет о книге английского разведчика на Ближнем и Среднем Востоке полковника Т. Э. Лоуренса «Семь столпов мудрости», 1926 г.

72

Видел Исаака Рабиновича, тут, говорят, был Никитин...— Рабинович Исаак Моисеевич (1894—1961) — советский театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — советский писатель.

...о смерти Лашевича...— Лашевич Михаил Михайлович (1884—1928) — старый большевик, в 1926—1928 гг. ответственный работник КВЖД.

73

Очень жалко Надежду Израилевну...— Верцнер Н. И.— мать жены Лившица.

74—76

Печатаются впервые.

77

...здешний писатель Дмитрий Урин...— Урин Дмитрий Эрихович (1905—1934) — советский писатель, жил на Украине.

78

Печатается впервые.

80

Печатается впервые.

Мне здесь с ВУФКУ кое-что причитается.— ВУФКУ — Всеукраинское фотокинообъединение.

81

Печатается впервые.

...читайте «Правду»! — Речь идет об «Открытом письме Максиму Горькому» С. Буденного в газете «Правда» от 26 октября 1928 г. Командарм отвечал на реплику Горького в брошюре «Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать», где давалась положительная оценка «Конармии» в противовес резкой критике этого произведения Буденным: «Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля,— мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» (Правда, 1928, 30 сентября). Буденный не соглашался. В письме к Горькому он настаивал на прежней оценке «Конармии»: «Бабель так «украсил изнутри» бойцов 1-й Конной армии, что я до сего времени получаю письма с самым категорическим протестом против явной, грубой, я бы сказал, сверхнахальной бабелевской клеветы на Конную армию». Это был, по существу, второй тур полемики о книге рассказов Бабеля.

84

Печатается впервые.

85

Анонс Ваш на 29 год будет выполнен.— Возможно, речь идет о рассказе Бабеля «Мария Антуанетта», анонсированном «Новым миром» еще в 1927 г. Рассказ не сохранился.

86

Печатается впервые.

Прочитайте ответ Горького.— «Читатель внимательный,— писал Горький задетому за живое Буденному,— я не нахожу в книге Бабеля ничего «карикатурно-пасквильного», наоборот: его книга возбудила у меня

к бойцам «Конармии» и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями,— бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы» (Правда, 1928, 27 ноября, № 275). Сохранились черновики письма, первоначально более острого. «Т. Буденный, разрешите сказать Вам, что резким и неоправданным тоном вашего письма Вы⟨нрзб.⟩ наносите оскорбление, не заслуженное им, но Вы можете физически уничтожить его, возбуждая ваших бойцов против человека, оружие которого только перо». Перечеркнув вторую часть абзаца, Горький сформулировал свою мысль применительно к задачам литературной критики: «Въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенной теории, а для правильной и полезной критики необходимо, чтоб критик был или культурно выше литератора или — по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним» (ИМЛИ, архив Горького, ПГ-рл-7-5-1). Члены редколлегии «Правды» А. Халатов и Г. Крумин обратились к Горькому с просьбой смягчить этот абзац, поскольку он мог быть воспринят «как личное оскорбление». В редакции газеты едва ли знали, что фактическим автором письма, подписанного Буденным, являлся бывший секретарь РВС 1-й Конной С. Орловский (1891—1935). Его критический этюд «На задворках «Конармии», сохранившийся в архиве В. А. Регинина, текстуально почти полностью совпадает с письмом командарма. Члены редколлегии писали Горькому: «Те товарищи, с которыми советовались, придерживаются такого же мнения. Поэтому мы задержали печатание Вашего письма на несколько дней с тем, чтобы просить Вас согласиться внести некоторые изменения редакционного, по преимуществу, порядка, касающиеся конца письма. Можно было бы сформулировать последнее предложение примерно так: «Критика полезна при том условии, если критик объективен и внимателен к молодым растущим силам» (ИМЛИ, КГП 83-а-1-27). Горький ответил согласием, и в такой редакции его «Ответ С. Буденному» появился на страницах «Правды». Называя ответ слишком мягким, Бабель, конечно, не подозревал о всех перипетиях, ему сопутствовавших.

87

Печатается впервые.

...неисповедимый Длигач...— О Л. М. Длигаче см. в «Воспоминаниях» Н. Мандельштам.— Юность, 1988, № 8, с. 57—58.

88

Печатается впервые.

Печатается впервые.

...письмо Сандомирскому...— Сандомирский Г. Б. (1882—1937) — заведующий литературно-художественным отделом ГИЗа.

90—91

Печатаются впервые.

92

...прет роман страниц на триста.— По свидетельству современнников, Бабель на протяжении многих лет писал роман о Чека.

93—97

Печатаются впервые.

98

Печатается впервые.

Я согласен...— Имеется в виду подписание договора на 4-е издание «Конармии» и книги рассказов «История моей голубятни» в ГИХЛе.

99

Печатается впервые.

Головкин Н. А.— заведующий редакцией литературно-художественного отдела издательства «ЗИФ».

Я написал Ионову...— Ионов (наст. фам. Бернштейн; 1887—1942) — видный издательский работник, возглавлял издательство «ЗИФ».

100—106

Печатаются впервые.

107

Печатается впервые.

...и с Тарасовым-Родионовым поговорить...— Тарасов-Родионов А. И. (1885—1938) — советский писатель.

109

...я все больше любуюсь Наташей...— Наталья Исааковна Бабель (р. 1929) — дочь Бабеля от первого брака.

110

Опубликовано в «Литературной газете» от 15 июля 1930 г. Письмо написано в связи с появившейся в «ЛГ» (1930, 10 июля, № 28) статьей Б. Ясенского «Наши на Ривьере», в которой сообщалось об интервью Бабеля, якобы данном поэту А. Дану для польского еженедельника «Литературные ведомости». На заседании секретариата ФОСП 13 июля Бабель разоблачил эту фальшивку.

Выступление Бабеля на секретариате ФОСП см. в т. 2 наст. изд.

111

...вещи, предназначенные для «Нового мира»...— После двухлетнего перерыва в журнале появились два новых рассказа — «В подвале» и «Гапа Гужва». Анонс «Нового мира» на 1932 г. обещал рассказы Бабеля «Иван-да-Марья», «У Троицы», «Медь», «Весна», «Адриан Маринец». Из них был напечатан только первый («30 дней», 1932, № 4), другие исчезли после ареста Бабеля вместе с его архивом.

113

Печатается впервые.

116

Печатается впервые.

Яшка Охотников — Охотников Яков Осипович, в то время начальник Гипроавиа. Большой друг Бабеля.

117

Печатается впервые.

119

Печатается впервые.

...заехал к Макотинским...— Макотинские — киевские друзья Бабеля.

120—125

Печатаются впервые.

126

...слова твоего Слонима...— Имеется в виду критик-эмигрант Марк Слоним, автор книги «Портреты советских писателей». Париж, 1933.

131

Печатается впервые.

Р е г и н и н В. А. (1883—1952) — русский советский журналист, один из создателей журнала «30 дней».

Немчинский — ответственный секретарь редакции журнала «30 дней».

Посылаю выправленную рукопись.— Рассказ «Дорога».

132

Печатается впервые.

134

Печатается впервые.

М и х о э л с С о л о м о н М и х а й л о в и ч (наст. фам. Вовси; 1890—1948) — советский актер и режиссер, народный артист СССР. С 1929 г. художественный руководитель ГОСЕТа.

Замерзшая пьеса лежит...— Пьеса Бабеля «Мария».

138

Печатается впервые.

139

Т э с с Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а (наст. фам. Сосюра; 1906—1983) — советская писательница, журналистка.

140—144

Печатаются впервые.

145

Печатается впервые.

Сосед мой Штайнер...— Штайнер Б. А. (ум. 1942) — австрийский инженер, сосед Бабеля по московской квартире.

148

...сделали предложение кинематографические фирмы...— По свидетельству секретаря А. М. Горького М. И. Будберг, французы предложили Бабелю написать сценарий по «Конармии». Замысел не был осуществлен.

Печатается впервые.

150

...не советуют посылать пьесу...— Имеется в виду «Мария».

154

...расскажу Вам и Яковлеву...— Яковлев В. Н. (1893—1953) — советский художник, в 1932—1933 гг. жил у Горького в Сорренто.

157

В газетах переврали...— См.: Бабель И. На Западе.— Вечерняя Москва, 1933, 16 сентября.

159

Печатается впервые.

Варковицкая Л. М.— жена однокашника Бабеля по Киевскому коммерческому институту.

160

...с Евдокимовым и Калмыковым.— Евдокимов — чекист, старый знакомый Бабеля; Калмыков Бетал Эдыкович (1893—1939) — участник гражданской войны на Северном Кавказе, позже первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома.

163

Печатается впервые.

164

Савич О. Г. (1896—1967) — советский писатель и переводчик.

171

Афиногенов Александр Николаевич (1904—1941) — советский драматург.

Предложение, конечно, принимаю.— По-видимому, Афиногенов, бывший тогда редактором журнала «Театр и драматургия», предложил опубликовать пьесу «Мария».

175

С т а х Т. О.— переводчица, живет в Киеве.

Работаю над сценарием по поэме Багрицкого...— Сценарий Бабеля не сохранился.

178

Б. Д., Лёва — мать и брат Е. Б. Гронфайн.

183

Международный конгресс в защиту культуры состоялся в Париже с 21 по 26 июня 1935 г.

...имела у французов успех.— О речи Бабеля на конгрессе И. Эренбург писал: «Люди смеялись, и в то же время они понимали, что все это очень серьезно и глубоко, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры» (Э р е н б у р г И. Письмо с конгресса. Последнее заседание.— Известия, 1935, 27 июня, № 149).

184

...достойно комической поэмы.— О совместной поездке Бабеля и Пастернака на конгресс см. в воспоминаниях А. Н. Пирожковой (Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 263).

185

Печатается впервые.

...один день 14 июля чего стоит.— 14 июля — день взятия Бастилии, национальный праздник французов.

186

Печатается впервые.

Б а г р и ц к а я Л и д и я Г у с т а в о в н а — жена поэта Э. Багрицкого.

Олеша Юрий Карлович (1899—1960) — советский писатель.

Сева — Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922—1942) — сын Багрицких, поэт.

Ольга Густавовна — сестра Л. Г. Багрицкой, жена Ю. Олеши.

187

Печатается впервые.

В а ш е н ц е в С. И.— советский писатель, в то время отв. секретарь редакции журнала «Знамя».

Стиль Жида в этой книге...— Роман французского писателя Андре Жида (1869—1951) «Новая пища» в переводе Б. Загорского опубликован в № 1 журн. «Знамя» за 1936 г. Автор романа просил Бабеля (через Эренбурга) отредактировать перевод.

Мунблит Георгий Николаевич (р. 1904) — советский писатель, автор воспоминаний о Бабеле.

192—194

Печатаются впервые.

195

Печатается впервые.

Поздравь Николая Романовича...— Семичев Н. Р.— наездник, приятель Бабеля.

196

Печатается впервые.

Э й з е н ш т е й н С е р г е й М и х а й л о в и ч (1898—1948) — советский режиссер и теоретик кино.

Антонина Николаевна — Антонина Николаевна Пирожкова — жена писателя.

Пера — Пера Моисеевна Аташева — первая жена Эйзенштейна.

197

Печатается впервые.

Письмо написано в период совместной работы с Эйзенштейном над вторым вариантом киносценария «Бежин луг». В основу сюжета фильма лег подлинный факт: убийство пионера П. Морозова родственниками в с. Герасимовка на Северном Урале. По просьбе Эйзенштейна Бабель кардинально переработал сценарий А. Г. Ржешевского (см.: ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 373). По приказу Главного управления кинематографии от 17 марта 1937 г. работа над фильмом была прекращена.

...и письмо Е. К.— письмо заместителя директора Мосфильма Е. К. Соколовской.

...по поводу новой Гришиной поэмы.— Фильм Григория Васильевича Александрова (1903—1983) «Цирк». Об участии Бабеля в работе над сценарием см. в кн.: А л е к с а н д р о в Г. В. Эпоха и кино. М., 1976, с. 190.

Тиссэ Эдуард Казимирович (1897—1961) — советский кинооператор, ближайший сотрудник Эйзенштейна.

Предлагаемые в письме Бабеля диалоги с незначительными изменениями вошли в текст режиссерского сценария.

200

Это письмо является ответом на вопрос читательницы о молчании Бабеля. Впервые опубликовано в многотиражной газете «Натиск» за 5 августа 1937 г. В том же номере С. Урицкий писал: «Когда тов. Новикова задавала Бабелю вопрос, почему он ничего не пишет, ее устами спрашивали тысячи людей нашей страны. И Бабель это понял, потому что, придя ко мне, он был очень взволнован. Он сказал мне, что вопрос Полины Новиковой его потряс».

201

Огнев Н. (наст. фам. Розанов Михаил Григорьевич; 1888—1938) — советский писатель.

202

Печатается впервые.

Работы здесь оказалось много...— Бабель работал над сценарием по роману Н. Островского «Как закалялась сталь» в квартире кинорежиссера Александра Петровича Довженко (1894—1956). Отрывки из сценария см. в журн. «Красноармеец», 1938, № 9—10, № 12.

203

Печатается впервые.

204

Печатается впервые по тексту фототелеграммы.

Большеменников А. П.— зам. директора Гослитиздата.

За долг «Академии»...— В январе 1936 г. издательство «Academia» предложило Бабелю и И. Феферу взять на себя перевод и редактуру сборника рассказов Шолом-Алейхема. В феврале того же года с Бабелем был заключен договор и выплачен аванс в размере двух тысяч рублей. 1-го января 1937 г. Бабель должен был сдать перевод, но представил издательству лишь план книги (см.: ЦГАЛИ, ф. 629, оп. 1, ед. хр. № 235). В мае 1937 г. издательство расторгло договор и потребовало возвращения выплаченной суммы.

...я сговаривался с М. А. Лифшицем... — Лифшиц М. А. (1905—1983) — советский философ, эстетик, в то время главный редактор издательства «Academia».

207

Печатается впервые.

209

...сочинил в двадцать дней сценарий. — «Старая площадь, 4».

ПРИЛОЖЕНИЕ

⟨Конармейский дневник 1920 года⟩

Тетрадь, в которой И. Бабель вел записи во время польской кампании, сохранили его киевские друзья: сначала М. Я. Овруцкая, затем Б. Е. и Т. О. Стах. Записи начинаются с 55-й страницы. Первая из них сделана в Житомире накануне прорыва конницей Буденного польского фронта и датирована 3 июня (помета сверху — «в поезде»); 15 сентября в Клевани записи обрываются. В тетради отсутствуют страницы, относящиеся к периоду между 6 июня и 11 июля 1920 года. Таким образом, уцелела лишь часть дневника, правда, охватывающая практически весь активный период действий 1-й Конной на Юго-Западном фронте. Первые упоминания о дневнике содержатся в предисловии И. Эренбурга к «Избранному» Бабеля 1957 года, а также в его мемуарной прозе «Люди, годы, жизнь», кн. 3. Ряд дневниковых фрагментов использован в публикации «Из планов и набросков в «Конармии» (Литературное наследство. М., 1965, т. 74, с. 497—498). Как произведение самостоятельное в жанровом отношении, дневник избирательно представлен в публикации А. Пирожковой и С. Поварцова «Первая Конная в боях и походах» (Литературная газета, 1971, 3 ноября, № 45) и более полно в журнале «Дружба народов», 1989, № 4,5.

Дневник является важным документом для научной биографии писателя. 6-я кавалерийская дивизия, в рядах которой находился Бабель, уже в начале кампании принимала участие в самых ответственных, авангардных боях с противником, неся значительные потери. Бабель разделял с конармейцами все тяготы боевого похода в знаменитом Житомирском прорыве, в Ровно-Дубенской операции, в боях за Броды и Львов. Читая дневник, лучше понимаешь «Конармию» и ее автора. Интересно высказывание Бабеля о связи дневника и книги: «Во время кампании я написал дневник, к сожалению, большая часть его погибла. В дальнейшем

я писал, пользуясь этим дневником,— уже больше по воспоминаниям, и отсутствие, может быть, единства или сюжета объясняется отсутствием этого дневника» (стенограмма конференции-курсов молодых писателей национальных республик. 30 декабря 1938 г.— Отдел рукописей ИМЛИ им. А. М. Горького, В 944 (2а—б).

В настоящем издании дневник печатается по рукописи, хранящейся у вдовы писателя А. Н. Пирожковой.

Житомир, 3 июня.

Сплю с Жуковым, Топольником...— Жуков Н., Топольник — сотрудники газеты «Красный кавалерист».

...пакеты в Югроста...— Югроста — украинское отделение РОСТА.

Маленький еврей-философ.—См. рассказ «Гедали».

...идем к цадику.— Цадик — хасидский святой, праведник.

Житомир, 4 июня.

Читаю Гамсуна.— Гамсун Кнут (наст. фам. Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель.

...Новая рукопись Иова...— Иов — праведник-страдалец, мифический персонаж «Книги Иова» в Ветхом завете.

Житомир, 5 июня.

...ешиве бохер в очках...— слушатель еврейской духовной семинарии (еврейск.).

Мчится Зотов со штабом...— Зотов С. А. (1882—1938) — начальник полевого штаба Конармии (начполештарм).

Ровно, 6 июня.

...одел жилет, талес...— Талес — молитвенная одежда, покрывало прихожанина в синагоге.

...вспоминаю польскую культуру, Сенкевича...— Сенкевич Генрих (1846—1916) — польский писатель, автор исторических романов.

Белёв, 11 июля.

...убит Дундич...— Дундич Олеко (1893—1920) — помощник командира 36 кавполка 6 кавдивизии, герой гражданской войны.

...я им рассказываю о ноте Вильсону...— Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг.

...если Брусилов пошел, чего же нам думать.— Брусилов Александр Александрович (1853—1926) — русский генерал, с 1920 г. на службе в Красной Армии.

Что такое Жолнаркевич? — Жолиаркевич Карл Карлович — начальник штаба 6 кавдивизии.

Белев, 14 июля.

...эх, Конан-Дойль...— Конан Дойл А. (1859—1930) — английский писатель, автор повестей о Шерлоке Холмсе.

...у меня повозочный 39-летний Грищук...— Гришук — повозочный в штабе 6 кавдивизии, герой рассказов «Учение о тачанке», «Смерть Долгушова». Неоднократно упоминается в планах и набросках в «Конармии».

Начдив Тимошенко в штабе.— Тимошенко Семен Константинович (1895—1970), с ноября 1919 по август 1920 года командир 6-й кавалерийской дивизии (начдив 6).

Белев, 15 июля.

Любопытный у нас комиссар Бахтуров...— Бахтуров П. В. (1889—1920) — военный комиссар 6 кавдивизии с ноября 1919-го по август 1920-го. Погиб на Врангелевском фронте.

Взяли воззвание Пилсудского.— Пилсудский Юзеф (1867—1935) — главнокомандующий польскими войсками в 1920 г. С 1926 по 1930 г.— премьер-министр Польши.

Новоселки, 16 июля.

...кондотьеры или будущие узурпаторы? — Кондотьеры (и т.) — предводители наемных отрядов.

М. Дорогостай—Смордва—Бережцы, 19 июля.

...и начдив 14...— Пархоменко Александр Яковлевич (1885—1921).

Прискакали Колесов и Книга...— Колесов Н. П.— командир одного из полков 6 кавдивизии; Книга В. И. (1882—1961) — командир 4-й бригады 6 кавдивизии (комбриг I). В рассказе «Комбриг два» Бабель называет его «прославленным».

...и Ворошилов.— Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — в то время член РВС 1-й Конной, член Военного Совета Южного фронта, командующий 10-й армией.

Боратин, 2 июля.

...доклад в Полештарм — полевой штаб армии.

В Вербе, 23 июля.

...штаб 45-й дивизии — 45-я стрелковая дивизия под командованием И. Э. Якира (1896—1937) с июня по август 1920 года входила в состав Первой Конной.

24 июля.

Утром — в Штарме.— Штарм — штаб армии.

...рассказывает, как собирал свое имущество по станице.— Эта подробность вошла в рассказ «Прищепа».

...читает Арцыбашева...— Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — русский писатель, автор нашумевшего романа «Санин».

9 Аба, и я молчу, потому что я русский.— 9 Аба — у евреев день поста и траура в память двукратного падения Иерусалима. Бабель прибыл в политотдел Конармии с документами на имя Кирилла Васильевича Лютова, выданными ему секретарем Одесского губкома С. Ингуловым.

...говорит по Платонову...— Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — известный русский историк, академик.

25 июля.

...дочь, похожая на Плевицкую...— Плевицкая Надежда Васильевна (1884—1941) — популярная певица, звезда русской эстрады. С 1920 г. в эмиграции.

...униатская церковь...— христианский союз православной и католической церквей на территории Западной Украины н Белоруссии. Существовал с 1596 по 1946 г.

Лешнюв, 26 июля.

Махно делает набеги... —Махно Нестор Иванович (1889—1934)— участник гражданской войны на Украине, буржуазный националист и анархист.

Хотнн, 28 июля.

Письмо Жене, тоска по ней...— Женя — первая жена Бабеля — Евгения Борисовна Гронфайн.

Лешнюв, 29 нюля.

У меня новый кучер — поляк Говинский...— Неоднократно упоминается в планах и набросках к «Конармии».

Броды, 30 июля.

Пейсы — бакенбарды у евреев.

Шамес — служка в синагоге.

Броды — Лешнюв, 31 июля.

...история всех Болеславов...— Болеславы — династия польских князей XII в., объединявших земли Польши.

Тетмайер Казимеж (1865—1940) — польскнй романист и поэт.

Гржималовка, Лешнюв, 1 августа.

Что такое Михаил Карлович? — Жолиаркевич М. К.— брат начальника штаба 6 кавднвизии К. К. Жолнаркевича.

Белавцы, 2 августа.

...группа с Корочаевым идет направо...— Коротчаев Д. Д.— во время болезни О. И. Городовикова временно исполнял обязанности начдива; Городовиков Ока Иванович (1879—1960) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза, в годы гражданской войны командир кавалерийского полка, бригады, дивизии 1-й Конной.

3 августа.

Буденный Колесникову и Гришину — расстреляю...— См. новеллу «Комбриг два».

4 августа.

Шеко на автомобиле.— Шеко Я. В.— с августа 1920 г. начальник штаба 6 кавдивизии при новом начдиве Апанасенко.

...или Апанасенки? — Апанасенко Иосиф Родионович (1890—1943) — в августе — октябре 1920 г. начдив 6, сменивший в этой должности С. К. Тимошенко.

Тов. Хмельницкий...— Хмельницкий Р. П.— адъютант у Ворошилова.

Хотин, 6 августа.

...три военкома...— В планах и набросках к «Конармии» сохранилась запись под названием «Три военкома» с перечислением фамилий конармейцев. Это Губанов, Ширяев, Винокуров (архив А. Н. Пирожковой).

...все набрали в Ростове...— На торжественном заседании Реввоенсовета, командиров и политкомиссаров Конармии, состоявшемся 14 января 1920 г. в Ростове, в выступлениях членов РВС К. Ворошилова и Е. Щаденко были сурово осуждены эксцессы некоторых конармейцев при взятии города. Коммунисты решительно выступили против бандитизма, грабежей и хулиганства в рядах армии. По приговору Ревтрибуиала наиболее злостные мародеры были приговорены к расстрелу. Примечательна одна из памяток того периода, обращенная к бойцам 1-й Конной: «Кто обижает мирное население, тот губит Советскую власть».— Красный кавалерист, 1920, 20 января, № 35 и 14 августа, № 209.

Берестечко, 7 августа.

Русский менаде.— Здесь в значении: русский брак, точнее — русская парочка.

...они губят себя.— Историю расправы над аптекарем см. в очерке Бабеля «Рыцари цивилизации».

...портреты папы Пия X...— Пий X (1835—1914) — римский папа с 1903 г.

Рембрандт X. ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец и рисовальщик.

...мадонна под Мурильо...— Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец.

...вспоминаю Гауптмана, Эльгу.— Гауптман Герхарт (1862—1946) — немецкий драматург, его пьеса «Эльга», написана по мотивам новеллы австрийского писателя Франца Грильпарцера (1791—1872) «Сендомирский монастырь».

Б е р е с т е ч к о, 8 а в г у с т а.

...читает «Журнал для всех»...— Ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал, издавался в Петербурге в 1896—1909 гг.

Открытие II конгресса III Интернационала...— Второй конгресс Коминтерна открылся 19 июля 1920 г. в Петрограде.

Л а ш к о в, 9 а в г у с т а

Степан, будем тебя убивать.— См. новеллу «Письмо».

Ну, ладно. А где? — Эта история получила разработку в новелле «Вдова».

Л а ш к о в, 10 а в г у с т а.

...старинные Четьи-Минеи.— Четьи-Минеи («чтения ежемесячные») — в древнерусской церковной литературе сборники житий святых, расположенных по месяцам и числам.

...портрет графа Андрея Шептицкого...— Шептицкий А.— глава униатской церкви в Западной Украине.

...идеал—Думенко...— Думенко Борис Мокеевич (1888—1920) — герой гражданской войны, командир 1-й Донской кавалерийской бригады, 4-й кавдивизии и 1-го сводного конного корпуса Южного и Юго-Восточного фронтов. По ложному обвинению расстрелян в мае 1920 г.

Л а ш к о в, 11 а в г у с т а.

...дрались с Шкуро и Мамонтовым...— Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) и Мамонтов Константин Константинович (1869—1920) — казачьи генералы-контрреволюционеры, командующие кавалерийскими корпусами «Вооруженных сил юга России».

Л а ш к о в, 12 а в г у с т а.

...борьба с партизанщиной...— По свидетельству секретаря РВС 1-й Конной С. Орловского, 6 кавдивизия была расформироваиа 10 октября 1920 г. в районе Ракитно. Причиной расформирования явились участившиеся в дивизии случаи бандитизма. Подробнее см.: О р л о в с к и й С. Великий год. Дневник конармейца. М.— Л., 1930, с. 114. Полный драматизма, этот эпизод под названием «У Ракитно» вошел в пьесу Вс. Вишневского «Первая Конная». М.— Л., 1931, с. 126—127.

18 августа.

...книжки Бебеля — «Женщина и социализм»...— Известное произведение немецкого социал-демократа Августа Бебеля (1840—1913).

...можно написать том.— См. очерк Бабеля «Ее день».

...умоляем не рубить пленных...— Одной из важнейших задач политотдела Конармии было воспитание бойцов в духе гуманизма, несмотря на ожесточенность боев с противником. Так, на общем собрании комячейки 83 кавполка 14 дивизии конармейцы приняли следующую резолюцию: «Считаясь с тем, что Красная Армия есть не национальная, а социальная армия и ее борьба есть борьба классовая, собрание коммунистов 83 кавполка призывает красных бойцов быть покровителями пленных, а не расстреливать их, ибо совесть каждого бойца должна быть незапятнанной».— Красный кавалерист, 1920, 19 июля, № 185.

Нас двигают на север — к Люблину. Там наступление.— В распоряжение Западного фронта, кроме 1-й Конной, были переданы 12 и 14 армии, но передача затянулась, и наступление не принесло успеха. О причинах поражения Красной Армии в походе на Варшаву см.: Иссерсон Г. Судьба полководца.— Дружба народов, 1988, № 5.

...пыль из Апокалипсиса...— Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова — последняя часть Нового завета.

Адамы, 22 августа.

Служил у Муравьева...— Муравьев Михаил Артемьевич (1880—1918) — в 1918 г. командующий Восточным фронтом, левый эсер, изменил Советской власти. Убит при аресте в июле 1918 г.

Сокаль, 26 августа.

Сестра — 26 и 1.— Ассоциация с рассказом М. Горького «Двадцать шесть и одна».

Комаров, 28 августа.

...казаки есаула Яковлева.— В составе казачьей бригады Яковлева, кроме деникинцев, находились белополяки. По свидетельству секретаря РВС 1-й Конной С. Орловского, «путь этой бригады знаменовался погромами еврейских местечек и глумлением над еврейскими женщинами. Так, в м. Комаров мы похоронили 30 еврейских семей, вырезанных этими «борцами». В этом же местечке ими было изнасиловано до 100 женщин и девушек».— Орловский С. Великий год. Дневник конармейца. М.— Л., 1930, с. 98.

30 августа.

«Их было девять».— Дневниковая запись послужила основой для рассказа под тем же названием, написанного в августе 1923 г.

...приезд Книги и Левды...— Левда Я. А.— комбриг 3 в 14 кавдивизии.

Т е р е б и н, 1 с е н т я б р я.

Начало конца 1-й Конной.— В конце сентября 1-я Конная перешла в резерв и подчинение Главкома вооруженных сил РККА.

К о в е л ь, 10 с е н т я б р я.

...поезд Поарма.— Поарм — политотдел армии.

Ужин у Зданевича.— Зданевич В.— редактор газеты «Красный кавалерист».

РАССКАЗЫ

Г р и щ у к.— Известия. Одесса, 1923, 23 февраля. Рассказ не включался автором ни в одно издание «Конармии».

И х б ы л о д е в я т ь.— Впервые в журн. «Огонек», 1989, № 4. Датировано: *4.8.23 г. Гликсталь.* В несколько измененном виде рассказ вошел как эпизод в рассказ «Эскадронный Трунов».



СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

ПИСЬМА

Бабель И. Э.

Б12 Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Рассказы 1913—1924 гг.; Публицистика; Письма/Вступ. статья Г. Белой; Сост. и подгот. текста А. Пирожковой; Коммент. С. Поварцова; Худож. В. Векслер.— М.: Худож. лит., 1990.— 478 с.

ISBN 5-280-02451-1 (Т. 1)

Двухтомник «Сочинений» включает практически все творческое наследие Бабеля. В первом томе помещены рассказы 1913—1924 гг., публицистика 20-х годов, письма. В «Приложении» к тому впервые публикуется «Дневник 1920 г. (конармейский)» и рассказы — «Грищук», «Их было девять».

Б $\frac{4702010206-458}{028(01)-91}$ без объявл. ББК 84Р7

Исаак Эммануилович
БАБЕЛЬ

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ
Том первый

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *О. Стародубцева, И. Шевякова*

ИБ № 7088
Сдано в набор 03.07.89. Подписано в печать 31.01.90. Формат 84x108 $^1/_{32}$. Бумага офсетная №1. Гарнитура „Тип Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 100,8. Уч.-изд. л. 26,51. Тираж 100000 экз. Изд. № III-4373. Заказ № 521. Цена договорная.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Художественная литература".
107882. ГСП. Москва Б-78, Ново-Басманная, 19.
Диапозитивы изготовлены в Можайском полиграфкомбинате В/О „Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200. Можайск, ул. Мира, 93. Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, Корженевского, 20.